СОЧИНЕНИЯ

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

А. АВЕРЧЕНКО · О МАЛЕНЬКИХ - ДЛЯ БОЛЬШИХ



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



собрание сочинений

О МАЛЕНЬКИХ — ДЛЯ БОЛЬШИХ

издательство



МОСКВА 2014

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)1
А19

Составление, подготовка текста и комментарии
С.С. Никоненко

На фронтисписе Аркадий Аверченко. Петербург, 1912.
Фотоателье Карла Буллы.

Аверченко А.Т.

А19 Собрание сочинений: В 13 т. Т. 6. О маленьких — для больших / Сост., подг. текста и комментарии С.С. Никоненко. — М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2014. — 480 с.

ISBN 978-5-904962-31-9

В шестой том сочинений А. Аверченко вошли два его знаменитых сборника рассказов о детях: «О маленьких — для больших», «Шалуны и ротозеи», а также несколько других, известных сборников. Впервые спустя столетие публикуются «Свинцовые сухари» и еще три выпуска «Дешёвой юмористической библиотеки “Нового Сатирикона”.

ISBN 978-5-904962-11-1 (Общ.)
978-5-904962-31-9 (Т. 6)

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)1



ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "САТИРИКОНА"

СВИНЦОВЫЕ СУХАРИ (1914)





ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА*

Один турецкий министр спросил другого турецкого министра:

— Все сделано?

— Все.

— Французские пароходы задерживали?

— Задерживали.

— И обыскивали?

— Ну, конечно. Как вы просили.

— И отобрали все припасы?

— А что ж, любоваться будем на эти припасы, что ли?

— К команде придирались?

— Придирались.

— Посланник ихний заявлял протест?

— А как же. Заявлял.

— Что ж вы?

— А я подмигнул, засмеялся и убежал.

— Прекрасно. И английские пароходы задерживали?

— Как вы велели, так и сделали.

— Обыскивали?

— Еще как. Живого места не оставили.

— Отобрали все припасы?

— Даже деньги.

— А к команде...

— Придирались! Конечно, придирались. Все, как было велено.

* Этот фельетон написан за 2 недели до начала войны с Турцией.

Министр, довольный, потер руки.

— Превосходно. Не может быть лучше. Значит, объявили войну?

— Кто?

— Да они же?

— Ничего подобного. Никто не объявлял войну.

— Позвольте... Да вы что же... их пароходы задерживали?

— Задерживал.

— Придирались? Обыскивали? Припасы отбирали?

— Придирались. Обыскивали. Отбирали.

— Ну, значит, война объявлена?

— Кем?

— Ими!!!

— Ничего подобного.

— Тьфу!! Почему ж они не объявляют войну?!

— А не хотят, вероятно.

— Как не хотят? Вы пароходы задерживали?

— Надоели вы мне с вашими пароходами!! Ну да, мы их пароходы задержали, обыскали, конфисковали, а они нам войны не объявляют. Понимаете? Не хотят и не объявляют.

— Какое же они имеют право не объявлять войны?! Ведь, вы пароходы...

— Да! Да! Все: и задержали, и обыскали, и придирались — а они все-таки войны не объявляют!

— Черт знает, что за дурацкое положение!! Не знаю, что теперь и делать?!.

— Да очень просто: объявите вы им войну!

— Мы? Турция? Им?

— Да!

— С ума вы сошли! Никак мы этого не можем. Поймите, что если всю историю затеем мы — на нас мусульмане всего мира плевать захотят. А если объявят войну нам другие — все встанут на нашу защиту, и загорится священная война всех мусульман против европейцев.

— Так бы вы и сказали. Тогда есть прекрасный выход!

— ?!?!

— Отмените капитуляции.

— Милый! Идея! Селям Алейкюм!

— Шалтай-балтай — не стоит!

* * *

— Получили?

— Что?

— Объявление войны союзными государствами.

— Ничего мы не получали.

— Тьфу! Да, ведь, вы капитуляции отменили?

— Неделю тому назад.

— Ни у кого об этом не спросившись?

— Ни у кого.

— И иностранные почтовые конторы упразднили?

— Целиком.

— Ну? Значит, вы ноту с объявлением войны должны получить?!

— Не получал.

— Подохнуть можно с такими делами. Знаете, что? Закройте проливы.

— Как — закрыть проливы? Да ведь мы по договору не имеем права?!

— Это-то и хорошо, что не имеем права. Союзники обидятся и объявят нам войну.

— Но ведь тогда повод будет с нашей стороны?

— Ничего подобного. Скажем, что войну объявили они, а что мы, дескать, закрыли проливы нечаянно, и что готовы даже извиниться.

— Хе-хе... Ну, и хитрая же вы голова.

— Турок я.

* * *

— Вы знаете новость? Союзная эскадра французов и англичан обстреливает наши берега.

— Чудесно! Добились мы таки своего. Значит, война объявлена?

— Кем?

— Да ими же, Господи!

— Никем она не объявлена.

— Но, ведь, они же в нас стреляют! Это нарушение мирных отношений!

— Я им говорил. Заявлял, что они нарушают мирные отношения.

— А они?

— А они говорят, что мы еще раньше нарушили мирные отношения, закрыв проливы!

— Но почему же вы не уговорили их объявить войну?

— Уговаривал. Именем Аллаха просил, умолял их. Не хотят.

— Никогда я не был в таком дурацком положении. Обстреливали, вы говорите, берега?

— Очень. Все побережье испортили.

— А что же посланник их?

— Сегодня и французский и английский посланники были у нас в министерстве... Уверяли в своем нейтралитете, что Франция и Англия очень миролюбиво настроены к Турции...

Министр горько улыбнулся.

— Настроены. А стреляют!

— Я им говорил. А они мне в ответ: а вы проливы не закрывайте!

Министр сдвинул феску на лоб и почесал затылок.

— А русские пароходы задерживали?

— Неоднократно.

— А отбирали...

— Все делали! Отбирали, конфисковывали, придирались.

— Не объявляют?

— Чего?

— Да войны же!

— Нет. Имеются слухи, что их флот потопил нашу канонерку.

— Ну? И что же их посланник?

— Да был сегодня у нас. Уверяет, что они держат в отношении нас нейтралитет... Что они миролюбиво настроены...

— В могилу они меня сведут! Вот что... сегодня же телеграфируйте, чтобы наши посланники в Петрограде, Париже и Лондоне явились в соответствующие министерства и энергично...

— Ну?
— Что «ну?»
— Что — энергично?
— И энергично, чтобы заявили представителям России, Франции и Англии, что...
— Ага! Что же заявить?
— Что Турция... по-прежнему соблюдает нейтралитет, и настроение по отношению к державам тройственного согласия очень миролюбиво.
— А как же насчет того, что их суда бомбардируют наши крепости?
— Позвольте, не перебивайте! Это я вам дал распоряжение по министерству иностранных дел. Теперь запишите другое, по военному министерству: двинуть завтра же два корпуса в Египет и пять корпусов на Кавказ!
— Ну, и голова мы с вами, я вам скажу!
— Турки мы. Иначе не проживешь.

* * *

— Дождались!
— А что?
— На Кавказе русские разбили три наших корпуса, а в Мраморном море англичане потопили два наших крейсера.
— Да что вы мне крейсерами да корпусами в нос тычете! Вы мне скажите: войну-то они объявили?!
— Войны не объявляли.
— Но ведь это же противоречит всяким международным правилам.
— Они согласны с этим. Однако, говорят, ежели Турция, которая первая всю кашу заварила, ничего нам не объявляет, — чего ж нам объявлять.
— В гроб они меня вгонят! Да посланники-то ихние, посланники — что говорят?
— Сегодня были у нас в министерстве...
— Ну, и что же?
— Заверяли в миролюбии. Говорили, что, по-прежнему, держат нейтралитет.
— Какое же они имели право говорить это?

— Говорят, что имеют. Говорят, что турецкие посланники то же самое говорят в неприятельских столицах.

— Боже мой! Что за положение! Топят наши крейсера, разбивают наши корпуса, — а о войне ни гу-гу.

— Они говорят: не нами такой порядок начат, не нами и кончится.

— Нет! Это нужно прекратить!! Пошлите сегодня же телеграммы нашим представителям в Петрограде, Париже и Лондоне, чтобы они...

— ...Объявили войну?

— С ума вы сошли?! Чтобы они заявили о турецкой лояльности, и что турки по-прежнему строго держат нейтралитет, устремляя все внимание на порядок, спокойствие... и... как это называется?

— Самоопределение?

— Ну, черт с ними, пишите — самоопределение...

— А по военному ведомству никаких приказаний не будет?

— Есть. Прикажите нашим судам попытаться высадить около Одессы десант, а в казначейство пошлите распоряжение, чтобы оно перевело 15 рублей на русский Красный Крест.

— Однако!

— Что же поделаешь — турок я.

— Не турок ты, — подумал министр, — а так только... немного притурковат.

* * *

Министр с искаженным лицом влетел в кабинет другого министра и вскричал:

— Допрыгались?!

У другого министра лицо тоже исказилось:

— Ну, что еще?

— А то, что русские уже идут на Константинополь, а англичане потопили весь наш флот!!

Даже феска на лице другого министра побледнела, а кисточка стала дыбом.

Долго он безмолвствовал, наконец, сказал:

— Пошлите телеграммы нашим представителям при союзных дворах... Пусть они явятся в министерства Петрогра-

да, Парижа и Лондона и заявят, что Турция, по-прежнему, мирно совершенствуется... этого, как его: самоопределяется, соблюдая нейтралитет, и что...

— Чепуха!!

— То есть, как это — чепуха?!

— То, что вы говорите — все чепуха!! Наши явятся к ним, ихние явятся к нам, будут друг друга уверять в миролюбии, в соблюдении нейтралитета, а через три дня русские и французы, все-таки, будут в Константинополе...

— Позвольте! Придумаем! Предложим им мир.

— Придумали...— горько рассмеялся рассудительный министр.Три копейки стоит эта ваша идея!

— ?!

— «Мир»! Мир можно предлагать тогда, если была война, а теперь они скажут: «да войны никакой и не было!». Мальчики они, что ли?

— Чем же это кончится?!

— Чем? А явятся они в Константинополь, погонят нас в Малую Азию, а в это время их посланники заявят о своем миролюбии и нейтралитете. Наша же система, ничего не поделаешь...

* * *

И долго сидели оба, похудевшие, бледные, осунувшиеся, на турецких диванах.

И перешли оба в эту тяжелую минуту с дипломатического французского на свой турецкий язык.

— Рахат-лукум, — тихо прошептал противник объявления войны.

— Шалтай-балтай, — согласился его рассудительный товарищ, повесив, пока что, собственную голову на грудь.

Смеркалось...

РУМЫНСКАЯ МУЗЫКА

Когда поведение Румынии окончательно вывело меня из терпения, я решил, что с Румынией нужно объясниться начистоту.

— Скажите, — обратился я к одному знакомому, — где можно найти какого-нибудь настоящего румына?

— Настоящего румына?

— Да.

— Живого?

— Ну, конечно. Какого же еще...

— Очень просто: пойдите в ресторан «Пальмира» и спросите там дирижера оркестра Туде-Сюдеску.

* * *

Найти Туде-Сюдеску не представляло никакого труда... Войдя в «Пальмиру», я увидел Туде-Сюдеску со скрипкой в руке, склоняющего свое ухо то в одну, то в другую сторону зала.

Туде-Сюдеску кланялся, улыбался и прижимал руку со смычком к груди.

Тут же я заметил, что между двумя противоположными группами гостей происходило своеобразное состязание:

— «Осень»! — кричала левая группа. — Играй «Осень», тебе говорят! Вальс «Осень»!

— К чер-р-рту «Осень», — надрывалась правая группа. — Не надо никакой «Осени»! Играй «Сон негра»!

— Дьявол его побери «Сон негра»! Провались он! «Осень» играй!

— Пусть-ка попробует! Я ему такую «осень» заиграю бутылкой по скрипке! Слышишь, чертова голова! «Сон негра» и больше никаких!

— Начни-ка, начни, попробуй, — гремели защитники «Осени». — Начни «Сон негра»! Как ты его окончишь?! Что от тебя останется!!

— «Сон негра»! Играй!!! «Сон»! Слышишь — «Сон»!!

Туде-Сюдеску кланялся, улыбался и, наконец, вхмахнув смычком, заиграл... Я прислушался.

Играл он не «Осень» и не «Сон негра», а нечто среднее: вальс «Осенний сон». Негр в этой комбинации куда-то затерялся, но публика понемногу стала успокаиваться.

— «Э, да ты человек видно сообразительный, — подумал я. — С тобой можно потолковать о политике».

В антракте я пригласил его за свой столик.

* * *

— Скажите, — спросил я, кому больше Румыния симпатизирует — немцам или русским?

— Да что ж... русский очень хороший народ.

— Значит, вы выступите против немцев?

— Нет, что вы! Немцы тоже народ ничего себе.

— А-а, понимаю, — кивнул я головой. — Значит, вы будете соблюдать нейтралитет?

— Нейтралитет? Ну, его, знаете, тоже опасно соблюдать...

— Почему же?

— Да ведь это понятно и просто: война ведь должна когда-нибудь кончиться?

— Должна.

— И кто-нибудь будет победителем?

— Будет.

Туде-Сюдеску с тоской посмотрел на меня.

— Ну, вот видите! Мы придем к победителю получить свой кусочек, а он скажет: «Кукиш вам с маслом! Не помогали мне, когда я воевал — ничего теперь и не получите!» Может это быть?

— Может.

— Так вот мы и не знаем, что нам делать?

— Что вам делать? Очень просто: выступите за союз культурных государств — России, Франции и Англии...

— За культурных, говорите? А вдруг некультурные нам так насыпят, что мы ног не унесем.

— Ну, если вы сомневаетесь, — выступите на защиту Австрии и Германии!

— Да, еще бы... как же! Выступишь тут, когда русские уже забрались в Трансильванию! Вот было бы хорошо, если бы они Трансильванию нам дали.

— За что?

— Положим, действительно, не за что. Ну, Бессарабию бы отдали.

— За что?

— Положим, и Бессарабию — не за что.

— Ну, вот видите — значит, заслужить надо.

— Вам легко сказать: заслужить... А как?

— Поддержите союзников!

— А вдруг Австрия вторгнется в Румынию и пойдет нас лупить...

— Ну, если вы этого боитесь — сделайте одолжение — поддерживайте вашу Австрию!

— А Россия, вы думаете, за это по головке погладит? Так нас размотает, что и костей не соберешь.

— Ну, в таком случае — держите нейтралитет!!

— Да... А что мы потом за это получим? Германия победит — Бессарабии нам не отдаст, Россия победит — Трансильвании и кончика не подарит. Прямо хоть вешайся.

Туде-Сюдеску схватился руками за голову и застонал.

— Ну, а вы лично, — спросил я. — Чью бы сторону вам было приятнее поддерживать?

— Америки.

— Эко, хватили! Да ведь Америка не воюющая страна.

— Ну, что ж. Это и хорошо.

— Ничего вы от нее не получите!

— Это и плохо. Прямо — куда ни кинь — везде клин.

— Неужели, нет выхода? — спросил я сочувственно.

— Между нами говоря — выход есть...

— Ну?

— Нам нужно сделать так: немцам, скажем, нужен хлеб, лошади, разные военные припасы — мы им продаем... Пожалуйста! Приезжайте потихоньку — и покупайте! Теперь сербам: нужен, скажем, хлеб, лошади, разные военные припасы — покупайте себе у нас потихоньку. Пожалуйста! Мы поддержим.

— Что же дальше?

— А очень просто: война окончится; и, если победят немцы — они скажут: «румыны хороший народ, они нам помогали — дадим им то-то». Если победят союзники, так тогда сербы нас поддержат: «Румыны, скажут они, прямо замечательно добрый народ, — потихоньку нам продавали хлеб и всякие военные припасы — дайте им что-нибудь за это, господа союзники...»

Изумленный такой комбинацией, я открыл рот, чтобы возразить, но ресторанная публика, наскучив молчанием, снова зашумела:

— Эй ты! Румынский человек! Играй «Куколку»!!

— Не надо «Куколку»! — взревели оппоненты слева. — Провались «Куколка»! Играй «Танец Анитры».

— Ко всем чертям «Танец»! Играй «Куколку»!

— Попробуй, «Куколку»! Давно провансалем не мазался?! Танец!! Анитру!!! Долой чертову «Куклу»!

— Затруднительное ваше положение, — заметил я. — Что вы выберете из двух?

Туде-Сюдеску подмигнул мне, направляясь к эстраде:

— Что выберу? Сыграю им балет «Танец Кукол...»!!

РЕДКОЕ ОТЛИЧИЕ

> В Германии свирепствует эпидемия наград орденом «Железного Креста». За последнее время Вильгельм наградил этим орденом 42000 человек.
>
> *Корресп. «Биржевых Ведомостей».*

Недавно Вильгельм строго заметил кронпринцу:

— Вот видишь, какой ты неблагодарный; я тебе пожаловал орден «Железного Креста», а ты так себя ведешь? Взял да и утащил из замка какой-то французской баронессы разные старинные вещи и коллекции. Разве так кавалеры ордена поступают?

Кронпринц пожал плечами и фыркнул:

— Подумаешь, важность какая — «Железный Крест». Небось, бриллиантового не дашь.

— Дело не в том материале, из которого сделан орден, — заметил Вильгельм, — а в самом знаке отличия.

— Однако, — заметил практичный кронпринц, — если бы этот орден был не железный, а бриллиантовый — ты бы его так щедро не раздавал...

— Я его и не раздаю щедро.

— Ну, да! На прошлой неделе раздал свыше трех тысяч орденов, да за сегодняшний день только раздал штук восемьсот.

— Что ж, — заметил Вильгельм. — Я не виноват, что немцы такие замечательные герои.

— Не немцы замечательные, а ордена тебе дешево стоят... Признайся, пфеннига по три за штуку обходится? Папаша, а? Как, вообще?

Вильгельм махнул рукой и сердито вышел из комнаты, но тут же про себя подумал:

— Кстати, что он напомнил — у меня уже весь запас вышел. Надо будет заказать новую партию.

* * *

— Ваше величество! Четырнадцатая рота Штутгардтского полка очень отличилась в бою — взяла в плен двух лошадей и сорок шинелей. Ходатайствую о награде им, ваше величество.

— Кто же из них особенно отличился?

— Да все.

— Ну, хорошо. Передайте им, что я жалую каждого из них орденом «Железного Креста».

— Я... а... хм! Гм...

— Что такое? В чем дело?

— Нет, ничего.

— Вы что-то сказали?

— Нет, я так. А скажите, ваше величество... другой орден никакой нельзя им дать?..

— Глупости! Это прекрасный орден. И я его имею, и кронпринц, и все принцы и офицеры его имеют. Орден, как орден. Вы не желаете ли?

— Два есть, ваше величество.

— Ну, чего там два — берите третий. А? Мне не жалко.

— Да нет, зачем же вас затруднять...

— А то дал бы.

* * *

— Замечательную атаку отбил, ваше величество, наш седьмой корпус!

— А кто его атаковывал?

— Положим, наши же, ваше величество. Но это все равно, — когда они отбивали атаку, они ведь не знали, что это наши. А атака отбита замечательно... По всем правилам стратегического искусства...

— Молодцы! И урон был небольшой?

— У нас? Почти никакого. Зато у них, ваше величество, у атакующих — гора трупов. Молодецки отбили атаку.

— Рад слышать. Жалую им за лихую атаку орден «Железного Креста».

— Кому, ваше величество?

— А? Всем.

— Да ведь их шестьдесят тысяч, ваше величество!

— Ничего... Я человек не прижимистый. Пусть себе получают и носят на здоровье. А тебе за приятное сообщение жалую пять штук.

— Ваше величество... За что же?

— Ничего, ничего, братец... Заслужил!

— Я, ваше величество... Извините... Никогда больше не буду...

— Чего не будешь? Что ты там лепечешь?

— Ваше величество... Я не виноват. Я уж, кажется, старался.

— Неужели, пяти мало? Хорошо. Получишь десять...

— Ваше величество! Не погубите... Я — человек старый, у меня грудь слабая... Где ж ей такую тяжесть вынести...

— Вздор! не благодари.

* * *

— Эй, эй, солдатик... А пойди-ка сюда...

— Здравия желаю, ваше величество!

— Нет, не здравие, брат, не здравие... А вот почему ты не по форме ходишь?

— Все, кажется, в исправности, ваше величество.

— Врешь ты, братец. А почему на груди ордена «Железного Креста» нет?

— Ей-Богу есть, ваше величество! Я его дома, чтоб мне лопнуть, ношу. А только, когда выхожу на улицу, то, конечно, снимаю. Неловко, знаете.

— Не врешь ли ты, братец. А, ну, дай я тебе его навешу.

— Э-эх!

* * *

— Ваше величество! Позвольте представить вам капитана фон-Шмерп, который сделал чрезвычайно важную разведку.

— А-а... Приятно, приятно!

— Его, ваше величество, по-моему мнению, нужно наградить как-нибудь особенно. Чем-нибудь этаким чрезвычайным отличить его...

— Конечно. Что бы ему такое сделать? А вот мы его самого сейчас спросим... Капитан! Что вы хотите? Какое отличие?

— Ваше величество! Я хочу многого. Я хочу получить единственное отличие на всю армию.

— Гм... Именно?

— Разрешите мне не носить ордена «Железного Креста».

— Большого вы просите, капитан... Многого вы просите... Но и подвиг ваш велик... Жалую вам это отличие...

* * *

И весь полк гордился бравым капитаном фон-Шмерп.

«СПЕЦИАЛИСТЫ»

...Склонив жалостливо на бок голову, генерал Лиман фон-Сандерс поглядел на турка.

— Жалко мне вас, турки, — печально прошептал Сандерс. — То есть, так жалко, что и сказать даже невозможно. Сердце разрывается, глядя на вас.

Он утер кулаком сухой глаз.

— Кровью сердце обливается, на вас глядючи. Все вас били, кому не лень.

— Ну, уж и все, — возразил Турок.

— Русские били?

— Ну, били.

— Итальянцы били?

— Предположим.

— Чего там предполагать? Предположение должно еще превратиться в уверенность. Болгары били?

— Тоже — народ нашли!

— А, все-таки, били. И сербы били. И вот — гляжу я на тебя Махмудка — и слезы жалости застилают мои глаза.

Сандерс вынул платок, потер им глаза, потом сделал вид, что выжимает мокрый платок. Развесив на трубке кальяна платок, якобы для просушки, Сандерс продолжал:

— Надо вам помочь, Махмудка. Мы не можем допустить, чтобы немецкое сердце разрывалось от ваших страданий.

Турок повел в воздухе длинным носом, будто учуяв еле уловимый аромат жареного, и согласился:

— И не допускайте. Еще сердечную болезнь наживете.

— Ну, вот видишь. Надо помочь. Согласись сам, что ты живешь на вулкане. Русские били — еще будут бить; болгары, итальянцы били — еще будут бить.

— Румыны... тоже...

— Что румыны?

— Тоже могут бить, — вздохнул турок.

— Могут. Еще как, братец ты мой, могут. Вот видишь! А у нас, у немцев, сердце болит.

— Невозможно этого допустить, чтобы у вас сердце болело, — воскликнул хитрый турок.

— Мы и не допустим. Возьмем — и прямо поможем! Господи! Нешто ж мы, немцы, звери какие, что ли, или что?..

— Аллах керим, — воскликнул Турок.

— Именно что керим. Не иначе. Первым долгом, должен вам сказать — ты меня извини, Махмудка, — но крепости у вас никуда не годятся.

— Иль-Алла, Россуль-алла! — вздохнул турок.

— Не знаю. По-вашему, может, россуль, а по-нашему, по-немецки, это хуже. Впрочем, как говорится: не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. Крепости мы вам выстроим новые. Потом пушки: ведь я тебе друг, Махмудка, но ты меня извини — я прямо должен сказать: пушки ваши дрянь. В такой пушке горох можно толочь, а не стрелять из нее.

— Да, — согласился турок, — для стрельбы они неудобны.

— А снаряды? Ведь вы, извините меня, кочнами капусты стреляете, а не снарядами.

— Уж вы скажете тоже — капуста... Капусту едят, а наших снарядов есть нельзя.

— Еще того хуже. Значит они уж решительно ни на что не годятся. Итак — мы присылаем своих инженеров для крепостей, присылаем пушки и снаряды.

— Аллах керим!

— Да уж все будет, как следует. Все, все дадим. И Керим будет, и все что нужно. Уж мы обо всем подумаем. Офицеров для команды над солдатами пришлем, броненосцы дадим. Потому нам очень вас жалко.

Сандерс взял платок, потер им где-то около уха, всхлипнув, сказал «хоть выжми!» и ушел.

Оставшись один турок потер руки и пробормотал:

— Ловко я немца обкрутил.

А Сандерс, шагая по стамбульской улице, думал:

— А ловко я обтяпал дельце. Обмишулил долгоносого. Ни сучка, ни задоринки.

* * *

Махмудка попытался спорить с Сандерсом.

— Я еще понимаю, что пушки наши. Но почему же все крепостные офицеры ваши! Пусть уж немножко будет и наших.

— Бог знает, что ты говоришь, Махмудка! Наши офицеры лучше ваших?..

— Лучше.

— Армия наша опытнее?

— Ну, опытнее.

— Так вам же лучше, если у вас будут офицеры первый сорт, а не второй.

Ну, да... я понимаю. А, все-таки, оно как-то неловко.

— Странно даже, — скривил губы Сандерс и в его голосе задрожала дежурная слеза обиды. — Для них же стараешься, хлопочешь, тратишься, а они...

— Ну, ладно, ладно... Пусть. Только, чтобы они получше крепости делали.

— Да уж будьте покойны. Собаку съели.

— Аллах керим!..

— Тонко изволили подметить. Керим самый настоящий. Без обману.

* * *

— Послушайте, Сандерс, это как будто и неудобно: ну то, что вы броненосцы дали — за это спасибо, но зачем же вся команда немецкая?..

— Чудак ты, Махмудка: да ведь мы на них фески наденем!

— Нет, это что — фески... А мы бы хотели, чтобы и турок немного на броненосцах было. Пусть поплавают.

— Да зачем же?

— Ну, что вам стоит покатать их немножко.

— Ладно. Так и быть: кок будет у нас турецкий и штук пять кочегаров тоже турецкие...

— Хорошо б если бы и командир...

— Что командир?

— Чтобы... наш...

— С ума ты сошел! Да ваш турок штирборта от бакборта не отличит. Ведь он кабестан с ватерлинией путает! Впрочем, конечно... Мы вам, может быть, не нужны?.. Так, так... Сделали доброе дело. Вооружили людей, облагодетельствовали, — а теперь и — вон?.. Где мой платок? Опять — хоть выжми...

Турку сделалось стыдно.

— Ну, ладно, ладно. Нет Бога, кроме Бога, а Магомет — пророк его!

— «А ты дурак»», — подумал Сандерс.

* * *

— Послушайте... Зачем же вы крепостные пушки наводите на султанский дворец? Это нельзя. Вдруг нечаянно выстрелит? Ведь защищать нужно здесь, а не здесь.

— Мы и броненосную артиллерию навели на султанский дворец, — пожал плечами Сандерс. — А часть пушек навели на Айя-Софию.

— Аллах керим! Зачем же?

— Ничего там не «керим». Раз не понимаешь, так молчи. Ведь если неприятель нападет на Константинополь и возьмет его — куда он первым долгом бросится? На самые драгоценные для турков здания!.. Ну, вот мы и защищаем их. Мы, немцы, все должны предусмотреть.

— Да ведь, вы же их, — здания эти, — можете разрушить!!

— Лучше разрушить, чем отдать неприятелю.

— Да, ведь, неприятеля пока нет?

— Нет — так будет! Нет дождя перед дождем. Послушай, не вертись тут, только мешаешь.

— Странно вы со мной стали разговаривать...

— Обожди, скоро иначе с тобой поговорю.

....

* * *

— Эй, Махмудка! Пойди-ка сюда!

— Послушайте... Нельзя ли повежливее...

— Я тебе покажу вежливость. Вот смотри: это что? Пушки?

— Пушки.

— Куда они наведены?

— На султанский дворец.

— И еще куда?

— На главные здания города.

— Так-с. Какие солдаты у пушек?

— Немецкие.

— Верно. Там в бухте что стоит?

— Броненосцы.

— Какие?

— Нем... Ту... Турецкие.

— Ты думаешь? Гм... Ну, ладно. Какая на них команда?

— Немецкая.

— Пушки там видишь?

— Вижу.

— Куда наведены?

— На султанский дворец и Айя-Софью.

— Правильно. Теперь слушай, Махмудка, своими длинными ушами: *если сегодня вы не нападете на русские черноморские города — я махну вот этим самым платком* — видишь?

— Вижу. Совсем сухой платок.

— Да, брат. Высох. Так вот: махну только этим платком — и моментально крепостная и корабельная артиллерия в кусочки размечет весь Константинополь с Айя-Софьей и султанским дворцом в придачу. Видал-миндал? Видишь, я тоже умею говорить по-турецки!!

— Аллах-керим!

— Это уж ваше дело. Вам видней. Я свое сказал.

Турок почесался.

— Эх-ма!

Кругом засмеялись.

* * *

Ввиду того, что сведения о вышеизложенном автор имеет из самых верных источников — рассказанная история может послужить первой главой для будущей «желтой», «зеленой» или «лиловой» книги — собрания официальных сообщений о причинах русско-турецкой войны.

КОНЕЦ

Официально была зарегистрирована эта болезнь только тогда — когда она достигла полного развития.

Официальное свидетельство это мы берем из газет, но тут же должны оговориться, что считаем этот источник очень достоверным: в настоящее время наши газеты не лгут.

Именно: «В Варшаве из уст в уста передается забавная версия, в основе которой будто бы лежат найденные германские официальные документы. Согласно этой версии, император Вильгельм обещал своей супруге, императрице Виктории-Августе, сделать ей ко дню рождения подарок из Варшавы. День рождения германской императрицы был 22-го октября. Должно быть эта версия содержит некоторую долю истины, так как одна из берлинских газет на днях поместила напыщенную статью, в которой стояло черным по белому, что германские офицеры в день рождения императрицы пришлют ей поздравление из Варшавы».

Начало болезни нужно отнести к более раннему времени: к началу операций на французском фронте.

— Через две недели, — сообщил своей жене Вильгельм, — я буду обедать в Париже.

Императрица в домашнем быту славилась своей рассудительностью.

— А вдруг не будешь? — призадумавшись, спросила она.

— То есть, как это так не буду? Это мне нравится! Не беспокойся, я так все рассчитал, что комар носу не подточит.

* * *

Комар подточил нос.

Через месяц после этого императрица пришла зачем-то к Вильгельму и, между прочим, спросила:

— Пообедал?

— Как... пообедал?

— Да вот, в Париже. Помнишь, ты обещал.

— Видишь ли, милая... я, собственно, конечно... Но тут вышла такая история, что наш фронт, скажем, тут, на реке Марне, Клук зашел сюда, а Жоффр предпринял движение налево и вот, понимаешь...

— Вот видишь, Вилли, как это нехорошо. Ведь ты все-таки король, а не школьный мальчишка, который обещает поколотить товарища. Гляди-ка: ты пообещал обедать в Париже, газеты раззвонили об этом — и что же теперь? Все над тобой смеются. Мне стыдно за тебя, Вилли.

— Да пойми же ты, чудачка, что если бы старик Жоффр не загнул левое крыло за Клука...

— Что ты все на Жоффра сваливаешь... Жоффр ничего никому не обещал и Жоффру не стыдно... А тебе стыдно. Болтаешь, что тебе взбредет на ум. Сколько уже лет ты императором, а все не научился держаться с достоинством. Ты погляди, что только русские газеты об этом пишут, как издеваются над тобой... Ты думаешь, мне не больно?

— Русские газеты!? Я им покажу!.. У нас сегодня которое число?

— Восьмое.

— Ну, так вот что: к двадцать девятому я буду поить свою лошадь в Фонтанке!

— В какой Фонтанке?

— А? Река такая есть. В Петрограде.

— Вилли! Опять?

— Что «опять»? Можешь записать даже: двадцать девятого — твой Вильгельм поит лошадей из Фонтанки!

— Да ведь опять солжешь...

— Я? Солгу? Не таковский я, братец ты мой, чтобы соврать. Пес врет. У меня все рассчитано до последнего винтика. Эй, кто там! Объявите в газетах, что Вильгельм обещал к двадцать девятому напоить свою лошадь из Фонтанки.

— Вилли! Опомнись.

— Отстань!

* * *

— Вилли... А какое у нас число?

— Что у тебя календаря нет, что ли? Третье.

— Третье? Так, так. Напоил?

— Чего?

— А лошадь-то. Из Фонтанки.

— Видишь ли. Тут вышла маленькая перемена: немного загнулся фронт, я, конечно, хотел наступить, ну, а там у них обход, я отступил, а они...

— Вилли! Какой позор... И тебе не стыдно мне в глаза смотреть? Ведь у тебя дети взрослые, Вилли...

— Что там «Вилли, да Вилли». Без тебя все знаю. Но я думал, что они оттянут фронт сюда, а они оттянули сюда. Ничего не смыслят в военном деле. А оттяни они фронт туда, я бы им показал! Я бы... Чего ты плачешь?..

— Вилли! Ведь над тобой вся Европа смеется. Мне вчера показали карикатуру в польском журнале...

— Поляки?! Они у меня узнают, эти поляки!.. Постой... Когда день твоего рождения?

— 22-го.

— Ну вот тебе мой такой сказ: 22-го я тебе пришлю из Варшавы такой подарок, что...

— Вилли!! Опять?!

— Чего там «опять»? Раз сказал, значит, так и будет.

— Эй, адъютант, — крикнула императрица в открытую дверь. — Забирайте вашего повелителя. Уведите его. С ним, кажется, припадок.

— Да уверяю тебя, милочка, что тут уж я не ошибусь, у меня все рассчитано. 15-го беру Осовец, 18-го...

— Иди, иди с Богом...

— Ну посмотрите вы на нее: не верит. 19-го я продвинусь...

— Да берите же его, адъютант. Что вы стоите, разиня!?

— 20-го я продвинусь до...

— Пожалуйте, ваше величество. Нехорошо...

— А? Это кто? Адъютант? Здравствуй, адъютант! Скажи, адъютант, что тебе из Пскова прислать?!6-го мы в Пскове и...

— Ладно, ладно... Идите уж. Там расскажете.

— Видите ли, 21-го я продвинусь до...

— Продвигайте его, адъютант. Пропихивайте в двери... Продвинули?

— Есть.

— Ф-фу!

* * *

...Немецкая артиллерия застряла в грязи. Солдаты, крича и надсаживаясь, старались вытащить тяжелые колеса, но постромки только впивались в плечи, а орудия не двигались ни на шаг.

— Над-дай еще!

— Навались! О, черр-рт!

Около пушки неожиданно вырос закутанный в плащ Вильгельм.

— Трудно, ребята? Ничего — 28-го мы, ребята, в Москве будем кушать русские щи.

— Над-дай еще!!

— А 12-го будем в Саратове пить Жигулевское пиво...

— Фриц! Что это тут за фигура бормочет?

— Ослеп, что ли? Это кайзер.

— Мешает только. Отведи его в сторону.

— Слушайте, вы... кайзер. Шли бы вы отсюда, а?

— 21-го в Астрахани я буду есть икру, ребята.

— Ладно, ладно. Слышали. Вот несчастный... Отведите его, ребята. И зачем его пускают сюда?!

— Эй, вы! Ступайте с Богом. Фриц! Сплавь его в третью батарею. Пусть там передадут дальше.

— Куда вы меня тащите?! Торжественно заверяю вас, что 37-го будем в Уфе есть знаменитые пельмени.

— Иди, иди, нечего тебе тут. Не проедайся............

....

— Эй, кто идет? Чей полк?

— 7-й уланский.

— Не возьмете ли кайзера от нас?

— Ну, его! Он нам с утра надоел.

Моросил дождик.

ПУГОВИЦА

Газеты сообщают о громадном патриотическом подъеме немцев и ликовании их; причины этого, по словам газет, следующие.

Берлин. Военное ведомство оповестило население, что на главных площадях города будут показываться публике трофеи немецких войск — взятые в плен казацкие лошади.

Вход по билетам.

Вена. Сюда прибыла казацкая одежда, как трофей победы. Франц-Иосиф с приближенными осмотрел одежду, после чего она была передана в музей для общего осмотра.

Дрезден. По улицам города носили казацкую пику, что дало толпе повод устроить восторженную манифестацию в честь немецких войск.

Мюнхен. Большое возбуждение и восторг толпы вызвали выставленные у входа в городскую ратушу военные трофеи — казацкая винтовка. Немцы кричали: «Долой казаков!! А что, будете знать, как воевать с немцами?!»

Нюрнберг. Все население находится в неописуемом восторге, любуясь военными трофеями, которые носились по улицам... Трофеи состояли из казацкого кисета с таба-

ком и трубки. Победа немецкого оружия вызвала взрыв энтузиазма.

Если вдуматься в приведенные сообщения, то приковывают внимание две странности:

1) Всех предметов имеется по одному экземпляру: одна лошадь, одна одежда, одна пика, одна винтовка, один кисет и, наконец, одна трубка...

2) Где же казак? О казаке ни в одном сообщении не говорится. Если бы он был жив — показывали бы пленного казака; если бы он был мертв — показывали бы мертвого казака.

В чем дело?

А в том:

Немецкий эскадрон поймал казака, который увлекшись разведкой, заполз слишком далеко от своей части. Защищаясь, казак заколол трех драгунов, но схваченный сзади и поваленный на землю, сдался.

Трагическая весть: казака поймали! — разнеслась по всему полку.

Собралось начальство. Долго осматривали казака.

— Надо его сохранить для императора, — сказал командир. — Накормить его! Постой... Вы его, тово... Разденьте! Я пошлю его оружие и одежду в генеральный штаб.

Казака раздели и одежду унесли.

— А что они едят? — спросил драгун, косо поглядывая на голого, связанного веревками, казака:

— Неужели, ты не читал? Людей едят.

— Ври больше.

— А вот попробуй: дай-ка ему свою руку. Увидишь, как тяпнет.

— Неужто, будет есть?

— Казак-то? А ему что! Тем только и живут.

— А мы попробуем. Нет ли у кого, господа, руки оторванной?

Рук у всех было достаточно, но оторванной — ни одной.

— Сбегай, Фриц, в госпиталь, спроси: не осталось ли там чего-нибудь после ампутации?

Фриц, сам заинтересованный опытом, сбегал. Принес руку.

— Свежая?

— Только сейчас с плеча.

— Ну, положи ему на колени, да развяжи руки, чертова голова! Как же он есть будет...

Казаку освободили руки, положили на колени принесенную пищу и, обступив пленника, стали с любопытством следить — что будет дальше?

— Смотри-ка — не ест.

— Может, зажарить нужно?

— Нет; писали, что сырое мясо жрут. Так и написано: «Казаки убивают женщин и детей и пожирают их сырыми».

— А почему ж этот не есть?

— Действительно, странно. Может, сыт?

— Нет; глядите-ка, господа: он что-то руками показывает... На ноги себе указывает!.. Чего это он?

— Братцы! Да ведь это он показывает, чтобы ему ноги развязали!!

— Зачем?

— Показывает, что иначе есть не может...

— Неужто они ногами едят?

— Дикари! С них все станется.

— А ну, развяжите ему ноги... Любопытно, как это он ногами есть будет...

Развязали...

Казак встал, потянулся, размял затекшие члены, помахал в воздухе данной ему рукой и вдруг сделал целый ряд неожиданных поступков: ударил близстоящего солдата отрезанной рукой по физиономии, другого сбил с ног ударом ноги в живот, вскочил на чью-то, стоящую вблизи, лошадь и, гикнув, ускакал так, что только засверкали лошадиные копыта...

Вдогонку ему дали несколько выстрелов, потом организовали целую планомерную погоню...

Увы — казак исчез.

* * *

— Ничего, — утешил себя командир. — Зато лошадь его, одежда и вооружение остались. Все-таки, это — что-нибудь.

— Куда же мы пошлем эти трофеи? — спросил адъютант. — В Берлин?

— Почему именно все в Берлин? Зачем обижать другие города?

— А как же сделать?

— Позвольте, мы сейчас рассчитаем... Что у нас есть?

— Лошадь, одежда, пика, ружье и кисет с табаком.

— Великолепно. Какие большие города у нас есть?

— Берлин, Мюнхен, Дрезден, Нюренберг, Лейпциг, Бремен, Гамбург, Штеттин, Кенигсберг...

— Ой-ой-ой!.. Не хватит! Городов больше, чем трофеев.

— Не разрезать ли лошадь?..

— Что вы! Пока доставим куски, — мясо испортится... Время теперь жаркое.

— Ну, если живую, то, конечно, нужно посылать в Берлин! Все-таки — столица.

— Да!.. Позвольте! А, ведь, мы Вену забыли. Неужели союзникам ничего не пошлем?

— Действительно! Одежду им послать бы... Пусть видят, что немцы казаков не боятся...

— Послушайте... А Будапешт?

— Что Будапешт? Чепуха Будапешт! Можно им из венской одежды один сапог послать. Городишко ведь не так, чтобы уж очень большой.

— Да, но как же мы в Вену с одеждой только один сапог пошлем?

— А мы совсем сапогов посылать в Вену не будем. Пусть там думают, что казаки босиком ходят.

— Чудесно! Тогда у нас и Кенигсберг устроен. Мы ему другой сапог пошлем.

— А Мюнхен?

— Гм... Мюнхен? Все-таки оно, знаете, столица Баварии — винтовку им послать бы...

— Значит, записывайте: Берлин — лошадь, Вена — одежда, Будапешт — сапог, Кенигсберг — сапог, Дрезден — пика, Нюренберг... Что там для Нюренберга остается?

— Кисет с табаком и трубка.

— Кисет Нюренбергу!

— А как же Штеттин? Как же Лейпциг? Бремен?

— Подождут. Поймаем другого казака, тогда пошлем.

— А не перепилить ли пику пополам?

— Выдумаете тоже! Что это мощи святого, что ли, что их по кусочкам рассылать?..

Вошел фельдфебель.

— Чего тебе?

— Господин полковник! Так что это мои люди казака захватили...

— Ну, так что же?

— А я сам из Шверина...

— Ну?

— Шверинские мы.

— Говори толком — чего хочешь?

— Хотели бы, г. полковник, и в Шверин чего-нибудь из казацкого послать. Все ж таки, мои люди захватили.

— Ага!.. Сапоги заняты, адъютант?

— Оба. Один — Будапештом, — другой — Кенигсбергом.

— Досадно... Ну, вот, что, братец...

Полковник долго шагал в задумчивости, бросая быстрые взгляды на расположенное на столе вооружение и казацкую одежду.

— Вот что, братец... Гм!.. Ну, на тебе! Отошли туда, на родину.

Он оторвал от казацкого мундира пуговицу и протянул ее фельдфебелю.

Телеграмма:

ШВЕРИН. Отсюда сообщают, что вчера восторженная толпа с энтузиазмом приветствовала полученные городом и взятые на поле битвы военные трофеи. Это — казацкая пуговица, фотография которой будет помещена в еженедельных изданиях. Город разукрашен флагами. Восторгу нет границ.

(*Аг. Вольфа*).

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Австрийцы умилялись:

— Наш-то, наш-то... А?

— Кто?

— Орел-то наш... Каково, а?

— Да кто?

— Сокол-то наш ясный... Главнокомандующий-то.

— Ну?

— Форменный орел.

— Почему?

— Вот глядите, что он с русскими сделает...

— А что?

— Да уж... будьте покойны. Тигр прямо. Пантера. Львиное сердце.

— Львиное, говорите?

— Не иначе. Орлиный полет и ничего больше.

— Действительно. Кому от Бога талан.

— И верно. Послал Господь. Тебе дураку, не пошлет.

— Скажете тоже такое. Слушать омерзительно.

— Ты на лоб-то его посмотри. Видал лоб?

— Лоб, действительно. Хороший лоб.

— Шкаф прямо, а не лоб. Таким лбом, черт его знает, чего удумать можно.

— Это уж как есть. Стену пробить этакой штукой можно.

— Ну, вот тут и говори с дураком. Не об этом я тебе говорю, а, вообще, как говорится — ума палата.

— Гляди-ко, гляди... Сидит за столом — и думает.

— Часто это он так?

— Все время. Сидит и думает; сидит и думает. Не поздоровится русским от этакого.

— Гляди, гляди: лоб-то ладошкой насколько усердно трет. Втыкнет в карту флажок и потрет лоб, втыкнет — и потрет.

— Действительно, лоб такое место, что трение любит. Это, брат, как колесо: не подмажешь — не поедешь.

— Страшно, брат, даже глядеть на него, ей-Богу!

— Нам-то что — он наш. А вот русский взглянет — прямо-таки в дрожь войдешь.

— Тут войдешь! Нешто не жутко: сидит человек и думает. И чего это он думает и зачем это он думает? — ничего такое неизвестно.

— Орлиная душа!

— Львиное сердце!

— Ястребиный взгляд!

— Пантера африканская и все тут.

— Сидит человек и думает; сидит — и думает.

— Задумаешься! Этакое дело на плечи взвалил!..

— Ну, и расчешет же он их.

— Русских-то? Да. Попомнят австрийскую прическу.

— Сидит человек и думает; сидит — и думает.

* * *

— Вам что нужно?

— Корреспондент я. В немецкие газеты пишу. Мне бы повидать главнокомандующего австрийской армией.

— Да уж не знаю — и можно ли. Сидит человек и думает; сидит — и думает. И когда он все, что нужно, удумает — того не могу сказать.

— Скажите — корреспондент немецких газет. Общественное мнение, сами понимаете. Единение с народом. Осветить нужно, сами понимаете.

— Мне что; я скажу ....

— Ну, что?

— Просит. Очень, говорит, рад принять представителя могущественной прессы. Рад поделиться, чем возможно.

Когда корреспондент вошел в кабинет главнокомандующего австрийской армией — он застал его глубоко задумавшимся над большой, разостланной на столе картой.

Увидев корреспондента, генерал очнулся.

— А! Здравствуйте. Чем могу служить?

— Я хотел бы, генерал, выяснить несколько вопросов. Например: мы, граждане, до сих пор не можем примириться с тем, что русские взяли Галич.

Генерал хитро поглядел на корреспондента, откинулся на спинку стула и закатился довольным торжествующим смехом.

— А что? Ловко мы это сделали? Никому и невдомек!
— Что вы сделали?!
— А Галич сдали.
— Разве вы сами сдали? Русские его взяли.
— Да как же, «взяли»! Держите карман шире... Если бы мы не захотели его сдать — сам черт бы его у нас не выцарапал...
— Значит, вы нарочно сдали его?
Главнокомандующий подмигнул и затрясся от еле сдерживаемого смеха.
— Конечно же! Неужели никто не догадывается?
— Решительно никто, — удивился корреспондент. — Тонко вы, значит, это сделали.
— Да уж... Военная наука, это — не бирюльки, молодой человек.
— Зачем же вы отдали Галич, все-таки?
Главнокомандующий выпрямил спину и со снисходительной улыбкой поглядел на корреспондента.
— А вы не догадываетесь? Дитя!
Отчеканил, причем глаза его сверкнули грозным, зловещим огнем:
— Из стратегических соображений!!
— Вот оно что-о-о. То-то я смотрю, что, вообще, по штатскому, его бы, Галич этот, и не следовало отдавать... Генерал!
— Ну?
— Еще один вопросец: если из стратегических соображений отдали Галич, то почему под Галичем такой упорный бой был? Взяли бы вы и отступили бы просто без боя — нате, мол! Подавитесь!
— Оригинал вы, как я на вас посмотрю! Совсем ребенок. «Бой, бой!» Приняли мы бой из стратегических соображений.
— ??!!??
— Очень просто: если бы мы отступили без боя, отдавая русским Галич, здорово живешь, — они бы сразу догадались: «э, мол — тут австрийцы хитрят. Подозрительно это. Брать ли уж Галич? Не отступить ли?...» Этого мы очень боялись. Так что и пришлось замаскировать боем этот стратегический план...
— Хитро!

— А вы, как бы думали! Мало ли мы учимся, изучаем это дело. Военная наука — штука сложная. Вот, видите — сижу тут — и думаю: сижу — и думаю. Все время так.

— В таком случае... Примите чувства моего живейшего восхищения.

— Это можно.

Корреспондент ушел, погруженный в чувство живейшего восхищения.

* * *

— А вы, все-таки, спросите: не примет ли? Скажите — корреспондент пришел.

— Уж и не знаю, — можно ли. Боязно и помешать. Сидит человек — и думает; сидит и думает. Впрочем, узнаю...

....

— Пожалуйте.

— Чем изволите заниматься, господин главнокомандующий?

— А вот: сижу все и думаю, сижу и думаю. Военное дело, ведь, это не то, что: «Фрейлен Эльза, позвольте вас просить на вальс!»

— А я к вам опять с вопросцем. Скажите, генерал, ведь, если не ошибаюсь — русские взяли Львов?

— Печально было бы, если бы вы ошиблись, — снисходительно улыбнулся главнокомандующий. — Конечно, они взяли Львов.

Корреспондент свесил голову.

— Какой ужас! Какое национальное несчастье!..

— Для русских? — иронически усмехнулся генерал. — Да... русским теперь придется жутковато... Тонко вы это сказали: национальное несчастье...

— Ка-ак?!! Для них несчастье? Неслыханно! А я думал — для нас.

— Ну, если бы для нас, мы бы не отдали, будьте покойны.

— Чудеса! Зачем же вы отдали?

Генерал довольный, широко улыбнулся и выпрямил плечи:

— Стратегический расчет!

— И вы ловко его замаскировали, — с восхищением заметил корреспондент. — Подумайте: отдали русским не-

сколько десятков тысяч пленных. Пойди-ка, догадайся, что это все — с целью.

— Браво, браво — зааплодировал генерал. — Я вижу, вы меня уже начали понимать, молодой человек. Ловкий ход, а?

— Замечательный ходец.

— Наполеоновский... Мне было, признаться, трудно... Все боялся, что русские вдруг возьмут, да и отступят. Нет, — пошли на удочку.

— Восхитительно! Я вижу, генерал, что вы распоряжаетесь ими, как водопад щепкой!

— Наука, батенька!

— Как девочка куклой!!

— На том стоим.

— Играете, как кошка мышью!

— А вы спросите — почему? Ночей не сплю, все придумываю — как лучше сделать. Сижу — и думаю; сижу и думаю.

— Поразительно, генерал. Нет, а самообладание какое: отдать из расчета добрую половину армии — и даже не поморщиться.

Генерал, довольный, смеялся будто его щекотали:

— А мне что морщиться?.. Пусть русские морщатся. Мы им, я думаю, и Пржемышль отдадим.

— Без боя?

— Зачем без боя. С боем. Стратегическое соображение. Без боя сдадим, — а они, гляди, и испугаются. Побегут назад.

— Талейран! Иезуиты! Хе-хе. Не хотел бы я теперь быть русским.

— Хорошего мало.

* * *

— Сидит и думает. Все вот этак сидит и думает. Пробормочет что-то, потрет лоб, втыкнет флаг и опять задумается.

— Мозги!

— Да уж голова настоящая. Дай Бог всякому. Веселый такой давеча ходил: ловко это я, говорит, русским Пржемышль и Краков сдал. И сами, говорит, не заметили. В бой полезли. Да если бы, говорит, ихний, говорит, командующий армией, пришел бы ко мне, да попросил бы, говорит, чтобы

я ему, говорит, не только говорит, Краков, а и Будапешт отдал — пожалуйста! Хоть сейчас.

— Те-ек-с. План, значит?

— И не говорите. Одно слово, стратегия.

— Войска-то наши где нынче?

— А под Веной. В сорока верстах.

— Ловко механику подвели.

— Тонкая механика. А русские, ровно ребята малые за нашими бегут. Никакой солидности.

— Наш-то не такой. Орел. Сидит все и думает. «Я говорит, могу русской армией, как кошка мышкой вертеть. Куда, говорит, хочу — туда они и бросятся. Я, говорит, этому делу во сколько лет учился. Не даром же, говорит, папенькой с маменькой деньги на меня трачены».

— Это что ж такое за человек!

— Ястреб форменный!

— А сердце львиное...

— А в душе христианин, — все отдает неприятелю. Последнюю рубашку готов отдать.

— Дурак ты, дурак! Нешто это он спроста делает?

— Стратегия?

— Не иначе. Он, гляди, им и Будапешт отдаст. Дьявольски тонок сей человек.

* * *

— Будапешт-то... слышали? Ау! Отдали.

— Эва! Хватился. Это когда было еще!.. Третьего дня! А нынче уже новая новость.

— Ну?

— Вену сдаем.

— Да неужто?!.

— Вот тебе и неужто. Стратегия, брат, это не в дурачки играть.

— А как же Франц-Иосиф?

— Сдали его.

— Да как же это так?

— Значит, нужно так. Стратегия. Не даром же человек сидел и думал, сидел и думал...

— Этот удумает! А, скажите, пожалуйста, чего ж мы теперь защищать будем, если Вену сдали и Франц-Иосифа сдали?

— А ничего. Нечего теперь и защищать. Никаких хлопот.

— Значит, война кончилась?

— Нешто не видишь?

— Ловко! И до чего же человек этот, — наш-то, орел, — умственный! Вертел, вертел русскими, — глядь, и войну кончил.

— Да... Сидел человек и думал, сидел и думал.

— Мозги! А где же они теперь-то?

— А в Вятке.

— Эко куда забрался! Чего же он там делает?

— А по своему делу, знаете, работает: сидит и думает, сидит и думает: как это, дескать, оно ловко вышло!..

. . . .



ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "НОВОГО САТИРИКОНА" ВЫПУСК 17 (1914)

о маленьких – для больших



СУФФРАЖИСТКИ

Их собралось на митинг около трех тысяч... Были здесь умная, глупая, молодая и старая.

Но все они имели один разум, одну логику.

На трибуну вскарабкалась ораторша и торжественно (если эти два понятия сочетаемы) —крикнула:

— Леди и джентльм... впрочем, к черту джентльменов! Одни леди, т.е. одни, я хотела сказать... Леди! Мужчины не хотят дать нам равноправия, не хотят уравнять нас с ними, — что мы должны сделать, чтобы убедить их?

Чей-то серебристый голосок посоветовал:

— Поджечь университет.

— Это, конечно, хорошо... но я не вижу логики...

— Тут только слепой не увидит логики: в университете преподают науки; мы его поджигаем, — пусть мужчинам будетъ наука, чтобы они к нам присоединялись.

— Браво! Верно! Выдать ей оружие из наших складов!

— Какое оружие?

— Коробку спичек.

Выдали.

* * *

И еще был митинг.

— Леди! Стойкая защитница наших прав мисс Броун, поджегшая университет, арестована! Она объявила голодовку, но тюремная администрация кормит ее насильно. В какой форме мы должны выразить протест?

— Взорвать железнодорожный вокзал!!

— Простите, но я не вижу логики...

— Это вы не видите. А другие видят. На всяком железнодорожном вокзале есть буфет: в буфете этом кормят публику. Нашу мисс Броун тоже кормят. Если же мы взорвем вокзал с буфетом, то тюремная администрация поймет, что...

— Браво! Принято!

— Брависсимо! Принятиссимо!!

* * *

— Леди! За взрыв железнодорожного вокзала мисс Дубблыон была арестована и обыскана. Вы слышите? Обыскана! Мы должны выразить протест против этого. Но какой?!

— Поколотить Аксвита!

— Виновата, но где же тут логика?

— Как где? Он ведь Асквит?

— Асквит.

— Министр?

— Министр.

— Мисс Дубблыон обыскали?

— Обыскали.

— И арестовали?

— Да.

— Ну, и вздуем Асквита.

— Да ведь он же не министр полиции?

— Сам виноват. Если бы был министром полиции, — он бы должен был не допускать такого варварского обращения с женщиной... Кто же виноват, что он не министр полиции!..

— Верно! Браво!

— Лупи его, Асквитишку! Выдать ей из наших складов оружие одну пощечину.

* * *

— Леди! Мисс Панкхерст за избиение Асквита арестована. Как мы должны протестовать против этого? В какой форме?

И тогда встала суффражистка Ричардсон и сказала:

— Я пойду в галерею и изрежу картину Веласкеза— «Венера с зеркалом».

— Простите, но я не вижу логического начала в этом поступке...

— Потому что вы, вообще, ничего не видите дальше своего носа... Арестована мисс Панкхерст — женщина редкой духовной красоты! А «Венера» Веласкеза— женщина редкой физической красоты... Что же я делаю? Я иду в галерею и в отместку за нашу женщину духовной красоты, уничтожаю ихнюю редкую женщину физической красоты*.

— Браво, мисс Ричардсон! Выдать ей из нашихъ складов и т.д.

* * *

Мисс Ричардсон сидела в тюрьме...

Какой-то холодный, замкнутый в себе англичанин долго добивался свидания с ней наедине...

Наконец, ему разрешили это свидание...

Мисс Ричардсон, увидев вошедшего гостя, встала, втянула длинную костлявую голову в острые плечи и, скрестив руки на впалой груди, как дикая кошка, приготовилась к прыжку.

— Мисс, — сказалъ гость. — Я мужчина.

— Весьма сожалею, — угрюмо ответила мисс Ричардсон, — но ничем не могу помочь, чтобы избавить вас от этого.

— Мисс! Я мужчина и горжусь этим.

— Порочным натурам свойственно гордиться своими пороками.

— Мисс! Я честный британец и уважаю нашу национальную славу, наши богатства, наши сокровища. Мисс! Зачем вы изрезали замечательную картину «Венера»?

— Я на следствии уже объясняла— зачем... Вы, мужчины, обращаетесь скверно с женщиной редкой духовной красоты — мисс Панкхерст, — я так же обошлась с вашей лучшей по физической красоте женщиной!

— Так. Значит, око за око... Мы изрезали вашу женщину, вы изрезали нашу.

— Кто изрезал нашу женщину?!!

---

* Аркадий Аверченко не выдумывал этих слов. Эти слова, как мотив преступления, были сказаны мисс Ричардсон на следствии (см. газетные отчеты).

— Вы же сами говорите...

— Нет, ее пока никто не резал. Она в тюрьме, и ее там насильно кормят...

— Так почему же вы изрезали нашу женщину, когда вашу никто не резал?

— Вот оригинал-то! А как же я могла протестовать иначе? Не могла же я начать насильно кормить Веласкезовскую «Венеру». Абсурд! Только и оставалось изрезать.

— Но это нелепо!! То, что делают с вашей женщиной, вы могли совершить с нашим мужчиной. Поймать, например, сэра Асквита и начать его насильно кормить.

— А ведь верно... Не догадались...

* * *

Гость подошел ближе и мрачно сказал:

— Вы — наши враги, мы — ваши враги. За то, что вы изрезали нашу самую красивую женщину, мы высечем вашу самую красивую женщину...

Худые руки мисс Ричардсон бессильно упали вдоль плоских бедер. Ее впалая грудь тяжело дышала.

— Вы не смеете меня высечь! Это— насилие...

— Мисс! Я сказал — самую красивую.

— Я буду бороться!

— Мы выберем самую красивую, и...

Мисс Ричардсон бросила на гостя косой взгляд:

— Садитесь, пожалуйста. Вот сюда. Тут удобнее. Итак, вы решили высечь суффражистку?

— Да, мисс.

— И самую красивую?

— Да, мисс.

Мисс Ричардсон встала, поправила перед зеркальцем волосы, попудрила нос и после некоторого колебания решительно, со вздохом, сказала:

— Я согласна. Только, чтобы не очень больно, и чтобы в платье. А то вы, мужчины, такие дон-жуаны...

....

ЗА КОФЕЕМ
(*Воспоминания салопницы*)

На председательском месте сидел Родзянко, в министерской ложе — министр внутренних дел, а на трибуну вышел депутат Пуришкевич и сказал:

— Вот здесь обсуждают смету министерства внутренних дел... Так-с, так-с. Ну, что ж... обсудим, обсудим. Вот я сейчас расскажу вам о некоторых губернаторах — ахнете, господа! Например, тульский губернатор Лопухин. Ужас, что это за человек!

— А что такое?—спросил из своей ложи министр, придвигаясь ближе. — Это любопытно.

— Да что... Представьте себе: купил он у мебельщика Исакзона мебель... репсовую такую, розовую на резных ножках... отделка с позолотой, гвоздики на...

— Прошу вас, Пуришкевич, держаться ближе к делу, — попросил заинтересованный Родзянко. — Плюньте на гвоздики, — говорите о мебели вообще.

— И говорить противно! — махнул рукой Пуришкевич, — Взял губернатор у Исакзона мебель, да потом, чтобы не платить за эту мебель, — взял и выслал Исакзона.

— Так ему, жиду, и нужно, — в сильном восхищении вскрикнул Марков седьмой.

— Помолчи, дядя, — отмахнулся Пуришкевич. — Ты ж ничего не понимаешь. А вот, господа, тоже, скажем... Смоленский губернатор Кобеко. Что делает! Что только делает!..

— Ну, ну?—поощрил сильно заинтересованный Родзянко, — Что-ж этот Кобеко?

— А-а, заинтересовались? — жеманно усмехнулся Пуришкевич.

— Ах, ты, Господи, — да не тяните! Страсть люблю послушать что-нибудь этакое... Не кокетничайте, Пуришкевич, рассказывайте!!..

— Так вот вам ваш Кобеко: разрешает лекцию Шингарева и других кадет, а лекции правого Еленева не разрешил!!

— Какие ты ужасы, Володя, разсказываешь, — охнул Марков седьмой. — Может ли это быть?!

Пуришкевич, молча, большими глотками, пил воду.

— Еще что-нибудь расскажите... такое... смешное, — попросил Родзянко. — И откуда вы все так хорошо знаете. И откуда все берется?..

— То-то. вот, расскажите, — отвернув лицо в сторону и застенчиво смеясь, говорил Пуришкевич. — Все я вам должен рассказывать!.. Сами бы попробовали вынюхать все, а потом и рассказывали бы...

— Ну, миленький, ну, пожалуйста!..

— Ну-с... О ком бы вам еще рассказать... Воронежский губернатор Голиков... Такую в Москве штуку устроил, что ему только и оставалось подать в отставку.

— Какую же? Какую штуку? — лихорадочно дрожа, поднялся со своего места Родзянко.

— Прямо невероятную штуку!—Вслух и сказать нельзя...

— Да скажите, чего там! Тут все свои — только депутаты.

— Ей-Богу, неудобно.

— Ну, господа, — сказал с места Милюков. — Если уж Пуришкевичу сказать неудобно, то тогда и просить неловко.

— Ну, на ухо скажите, — взмолился Родзянко. — Скажите, миленький.

— Ну, идите сюда, — поманил его пальцем Пуришкевич, — так и быть, скажу.

Родзянко вскочил, взбежал на депутатскую трибуну и нагнул ухо к губам Пуришкевича.

Близорукие депутаты поправили пенсне и впились глазами в лицо Родзянки, стараясь по выражению его прочесть, что шептал Пуришкевич.

Сначала лицо Родзянки было напряженно-сосредоточенное; брови нахмуренные... Потом постепенно морщины разглаживались, расплывались, и живейший интерес зажегся в родзянкиных глазах.

— Ну, ну?

— А она... сняла с ноги чулок, надела на шею подвяз...

— Тсс!.. — сказал Родзянко. — Не надо так громко! Слышно.

— А утром... лакей входит в номер, смотрит... под кроватью...

— Тсс! Осторожнее, — стенографистки слушают.

— Я тоже хочу знать, — заявил с места Крупенский. — Что же это такое: Родзянке можно слушать, а мне нельзя...

— Крупенский, прошу с места не разговаривать, — строго остановил его Родзянко. — Продолжайте, Владимир Митрофанович.

И снова изменилось родзянкино лицо после шепота Пуришкевича: громадное изумление, смешанное с иронией и страхом, виднелось на нем.

— Так ее в ванну одетой и посадили?

— Да нет же! Она, когда еще на столе танцевала, так разде...

— Тсс! — толкнулъ его локтем Родзянко. — Нас слушают.

Действительно, несколько депутатов, усевшись на ступеньках трибуны, вытягивали шеи, тщетно стараясь уловить отдельные слова...

— Володя!—крикнулъ Марков седьмой. — А мне расскажешь?

— После, после. — Не приставай.

— Не приставайте, Марков, — строго остановил его председатель. — Все?

— Все, — кивнул головой Пуришкевич.

— Однако!.. — усмехнулся в усы Родзянко, возвращаясь на председательское место. — Вот так история!.. Ай-да губернаторы наши... Ну-ну.

И, усевшись рядомъ с секретарем, стал что-то шептать ему на ухо.

— Продолжать?—спросилъ Пуришкевич.

— Да, да, конечно. Вы так мило рассказываете!

— Возьмем, например, Барановского, черноморского губернатора. — Человек этот, представьте себе, вмешался в драку гласных в думе, а потом получил приветственную телеграмму от евреев и стал после этого делать визиты господам Зильберманцам... Здорово, а?

— Скажите о Суковкине, — напомнил Замысловский.

— Это на закуску, — сказал Пуришкевич, — а пока я вам расскажу о некоторых других губернаторах, о которых я и министру внутренних дел доклад представил...*

* Нижеследующая характеристики буквально взяты из доклада Пуришкевича министру внутрен. дел о губернаторах.

«Архангельский губернатор С.Д. Бибиков больше занимается географией, чем губернией. Больше любит путешесвие, а «правымъ» делом не интересуется. Допустил в Думу левых. В переселенческом управлении Архангельской губернии к.-д. и с.-д.».

«Бессарабский губернатор М.Э. Гильхен, несмотря на неоднократные приглашения, ни разу на собрания правых организаций не призжал».

«Казанский губернатор П.М. Боярский «не сумел войти в хорошие отношения с местным дворянством» и, кроме того, уволил полицеймейстера Васильева, являвшегося «другом и оплотом монархических организаций». В Саратове и Гродно — в местах своего предшествующего служения — Боярский не проявил себя в смысле насаждения патриотизма».

«Могилевский губернатор А.И. Пильц... При нем выросла польская пропаганда, и он не видит многого из того, что, творится у него под носом».

«Воронежский губернатор Г.Б. Петкевич не подходит уже потому, что он поляк.

«Ставропольский губернатор Б.М. Янушкевич — поляк и, кроме того, он баллотировался во время дворянских выборов в Бессарабии вместе с левыми.

«Витебский губернатор М.В. Арцимович — недостаточно энергичный борец с «полонизмом».

«Ярославский губернатор гр. Д.И. Татищев «слишком слаб в еврейском вопросе»; «слабы в еврейском вопросе губернаторы: новгородский, уфимский, пермский, лифляндский, эстляндский и тобольский».

— Скучно, Володя!—крикнул с места Замысловский. — Ты лучше о Суковкине хвати. Помнишь, что давеча мне рассказывал.

— Да, да! О Суковкине, — кивнул головой заинтересованный Родзянко.

— Ну-с, — усмехнулся Пуришкевич. — Скажем теперь и о Суковкине... Господа! Кто не знает истории с гостиницей «Днепр», из которой Суковкина привезли в карете скорой помощи?!

— Я не знаю, — сказал Родзянко. — Не слышал, ей-Богу! Расскажите...

— Только на ухо могу, так неудобно. Идите сюда!

Снова взбежал Родзянко на депутатскую трибуну, и снова зашептал ему на ухо Пуришкевич.

...Депутаты снова поправили очки, пенсне, и впились глазами в лицо своего председателя.

Увидели они сначала в лице ту же напряженность, а потом истерическое любопытство, смешанное с лукавством и иронией.

— Господа, так же нельзя, — крикнул из ложи министр. — Это скучно. Я тоже хочу...

— Так идите сюда, — сказал гостеприимный Родзянко. — Здесь очень хорошо слышно.

— А мне можно?—спросил Марков седьмой.

— Ну, иди. Только смотри, ног не отдави его превосходительству! Ты ведь «медведь» известный.

— Прошу о Кассо не говорить, — мягко возразил Родзянко. — Сейчас обсуждается смета внутренних дел, а вовсе не народного просвещения. — Продолжайте, Пуришкевич о Суковкине...

— Так неудобно рассказывать, — взмолился Пуришкевич. — Что же это вы все, господа... навалились на меня, — так нельзя. Жарко.

— А вот мы это сейчас устроим, — засуетился гостеприимный Родзянко. — Пристав! Распорядитесь, чтобы принесли сюда какой-нибудь столик...

— Да и хорошо бы по чашке кофе выпить...

— Великолепно! Пусть из буфета принесут кофейник, кофе и четыре чашки. Только, скажите, чтобы без цикория... Вот так... Садитесь, господа, за столик. Милости прошу! Ну-с, Пуришкевич... на чем вы остановились?

....

— И вот, мать моя, — говорит Пуришкевич, опрокидывая пустую чашку и кладя на ее донышко обгрызенный кусочек сахара, — когда я, допрежь того, жила у господ Карякиных (сам-то сморгонским губернахтором о ту пору был) —насмотрелась я у них на всякое: губернаторша-то все чиновнику особых порученией шуры-муры строила, бегала

за ним, как девчонка, а он, понимаешь, тогда с французинкой одной из «Бухва» перепутался... А сам губернахтор все марки собирал и наклеивал, собирал и наклеивал. Нешто ему за то жалованье плотют, чтобы он марки собирал?! А намедни зашла я на кухню за коклетами, и что же я, сахарныя вы мои, вижу? Стоит этот губернахтор, облапил горничную Дуняшку, да в щеку ее: чмок-чмок, чмок-чмок!... Стыдобушка! И как это — благородные господа, а такое себе допускают... Стою эт-то я, обомлемши, рукам-ногам пошевельнуть не могу. А один раз сынишка евонный забрался в кусты, на женскую купальню в подозрительную трубу так и вызверился, так и вызверился... Нешто губернахторское дите должно так поступать!?..

— Еще, милая, чашечку, — предложилъ Родзянко.

— Ой, нет, нет... Чивой-то нынче меня на кофий и не тянет. Когда я у Стронцына генерала — тоже губернахтор — в судомойках служила, — такого я тоже, родненькие вы мои, у него насмотрелась, что и ужасти подобно.

Пуришкевич поправил темный головной платок, сбившийся на сторону, сделал рукой движение, будто вправляя на место выбившийся из-под платка клок волос, и продолжал монотонно, полузакрыв глаза:

— И что это был за такой губернахтор Стронцын — вам, болезныя мои, и не снилось... День и ночь он с женой ругался, день и ночь ругался, а как выпьет лишнее, — чичас ко мне: Митрофаньевна, говорит, хочешь, жену прогоню — вместе с тобой жить буду. Будешь ты у меня заместо барыни, — в шелках-бархатах водить буду. Что вы, говорю, судырь, нешто ж этакое возможно? Потом пить он зачал... Ходит грязный, нечесаный... Веришь, милая, по три месяца в баню не ходил!..

— Это что ж такое!.. — сочувственно покачал головой Родзянка.

— Так вот, не ходил и не ходил. А то, жила я еще в няньках у киевского губернахтора Суковкина. И сделал он, милаи вы мои, такое, такое...

— Вы бы еще, матушка, чашечку...

— Благодарствуйте. Чивой-то нынче под сердце подкатывать стало и в ногу стреляет. Поясница вот тоже...

— Не к дождю ли, — высказал предположение Родзянко. — Кушайте, матушка!

Смеркалось...

Многие депутаты уже разошлись по домам, сторожа стали подметать полы, а на трибуне все еще продолжалось обсуждение сметы министерства внутренних дел...

. . . .

УЛИТА ЕДЕТ

(Новые, еще нигде ненапечатанные, отрывки из произведений Гоголя)

Впервые опубликовываются Аркадием Аверченко

Важный чиновник (*лежа на диване*). Вот так лежишь, лежишь, да и самому скучно станет. Эй, Степан!

Степан. Чего изволите?

Чиновник. Никто из членов Думы не приходил?

Степан. Никто.

Чиновник. А у жестянника был?

Степан. Был.

Чиновник. Что ж, он делает значки для филаретовского общества?

Степан. Делает.

Чиновник. И много уж наработал?

Степан. Да уж довольно, начал уж крючки припаивать.

Чиновник. Что ты говоришь?

Степанъ. Говорю: припаивать.

Чиновник. А не спрашивал он на что, мол, барину понадобилось это филаретовское общество?

Степан. Нет, не спрашивал.

Чиновник. Может быть, он говорил: не хочет ли, мол, барин выдвинуться?

Степан. Нет, ничего не говорил. Да и зачем говорить-то — и так ясно.

Чиновник. Ты видел, однако ж, у него и другие значки?

Степан. Да значков нынче он много делает: академический, союза русского народа, двуглавцев, Архангела. Прямо ужас.

Чиновник. Однако, наше-то филаретовское общество получше будет?

Степан. Да оно, как будто с виду поприглядистее.

Чиновник. Хорошо. Ну, а не спрашивал он — для чего, мол, барину было такое странное общество выдумывать?

Степан. Нет.

Чиновник. Не говорил ничего о том, что вот, мол, барин свинью союзу подложить хочет?

Степан. Не говорил. Оно и так все видят — зачем и что...

Чиновник. Ну, ступай. (*Степан уходит.*) Я того мнения, что по моему положению мне филаретовское общество как будто больше к лицу, чем союз русского народа. Это больше мелюзге идет — купчишкам разным, да пропойцам... Да, батюшка, а я действительный тайный это тоже не шутка. Эй, Степан!

Степан. Что угодно?

Чиновник. Редактора, как я давеча велел, оштрафовал?

Степан. Оштрафовал.

Чиновник. А какого оштрафовал? Того самого, что давеча непочтительно обо мне отозвался?

Степан. Того самого.

Чиновник. Ну, что ж он... пищит?

Степан. Пищать-то он пищит хорошо.

Чиновник. А когда он платил штраф, не спрашивал — для чего, мол, барину его штрафовать понадобилось?

Степан. Нет, молча платил.

Чиновник. Может быть, не говорил ли: не думает ли, дескать, барин, на мне выдвинуться как следует?

Степан. Не говорил.

Чиновник. Ну, ступай. (*Степан уходит.*) Кажется, пустая вещь газета, а если дурно отзывается да критикует — уж в хороших кругах и нет того уважения.

Степан. Там депутат пришел. Октябрист.

Чиновник. Зови. А-а, сваха пришла! Ну, здравствуй, здравствуй. Бери стул, садись, рассказывай. Все с пострадавшими от урагана возишься? Ну, как они? Расскажи-ка мне, расскажи, старуха.

Октябрист. Да что ж тебе, батюшка, рассказывать!.. Прямо я с ног сбился. Давеча был у тебя на счет правитель-

ственной помощи — ты меня к своему помощнику послал, тот к директору департамента, директор к вице, вице к делопроизводителю, тот к столоначальнику, столоначальник к писцу Нифантьеву, а писец Нифантьев прямо мне так и отчекрыжил: «убирайся, говорит, к черту, старая дура, это меня не касается». Того не касается, этого не касается — кого же оно касается?!..

Чиновник. Ну, ладно. Я вот тут полежу на диване, покурю трубку, а ты расскажи мне: что и как? Большой ли был ураган? Отчего он произошел и нет ли тут какого-нибудь злоумышления?

Октябрист. Да помилуй, отец! Что ж так зря разговаривать? Уж второй месяц хожу к тебе, а проку-то ни на сколько: все лежит, да дым пущает.

Чиновник. А ты думаешь, правительственная помощь, это все равно, что: «эй, Степан, подай сапоги»? Нужно порассмотреть, поговорить...

Октябрист. Да что ж тут порассмотреть, коли люди голодают. Ведь почнет народ помирать— тебе же стыдно. Вон уже пишут, что вы только тормозить мастера, к чтобы уступили вы место лучше общественным организациям...

Чиновник. Где пишут? Что ты врешь? Да я вот сам посмотрю в газету, где тут это? Вот еще, Боже сохрани, это хуже, чем оспа!..

Трудовик (*влетая*). Ну, что? Готова правительственная помощь? Есть ассигновка?

Чиновник. Ух, напугал как! И что это у тебя за привычка, как бомба влетать... Ну, о чем ты говоришь? Что тебе надо?

Трудовик. Да помощь нужна пострадавшим от урагана. Нельзя же тянуть до сих пор. Едем!

Чиновник. Куда едем?!

Трудовик. Да в казначейство. Насчет ассигновки.

Чиновник. Что ты, милый... Расскакался, как петух. Будто уж завтра сразу и помогать им.

Трудовик. Да за чем же дело стало? Ведь помочь мы обязаны?

Чиновник. Положим, что обязаны. Но, все-таки, так это странно. Не было пострадавших от урагана, а теперь вдруг пострадавшие. Может, и урагана никакого не было. Мы еще от нашего ведомства и сообщения не получали...

Трудовик. Ну-да! Это если от вашего ведомства чего-нибудь ждать так и год протянется. А тут ты подумай: даете вы пострадавшим помощь, — они устраиваются, обзаводятся хозяйством, и все снова по-хорошему. Ты вообрази только: новые будут чистенькие домики, садики, огородики... Лошадки у всех, коровки... Молочко снова детишкам будет. Детишки ихние будут этакие пухленькие ребяченки, канальченки этакие...

Чиновник (*колеблясь*). Оно-то правда, да ведь только они шалуны большие, хулиганить будут: выстроишь им дома, а они сейчас же и школу потребуют. А каково мне это, ежели я в филаретовское общество записан!..

Входит Степан.

Степан. Там ходок пришел. говорить, от пострадавших через ураган.

Чиновник. Пусть он лучше после зайдет.

Трудовик. Нет, уж зачем же после... Прими его сейчас.

Чиновник. Да нет, лучше пусть завтра или на будущей неделе. Там видно будет.

Трудовик. Поехала! Зови его, Степан. (*Входит ходок*).

Чиновник. Ну, уж ладно, коли пришел. Я тут лягу на диван, покурю, а ты расскажи мне: как у вас и что? Большой ли ураган был? Не еврейские ли это штуки?

Ходок. Да, ураган большой был. Явите божескую милость — помогите! Прямо пить-есть нечего.

Чиновник. Это нехорошо. Небось скучно теперь у вас?

Ходок. Да уж скука у нас большая.

Чиновник. Ишь ты! А еще Дума законопроект о балалайках провалила. Играли бы себе сейчас, и скуки как не бывало. Что ж ты теперь хочешь?

Ходок. Да что пожалуете нам, то и хорошо. Хлеба у нас там нет, даже для посева.

Чиновник. Гм! Значит вам нужен хлеб?

Ходок. Как не нужен? Еще как нужен!

Чиновник. Гм! так вам там, может, и мяса хочется?

Ходок. Да все, что ваша милость даст — всем будем довольны.

Чиновник. Гм! Разве мясо лучше хлеба?

Ходок. Где уж, голодному разбирать. Все, что пожалуете — все будет хорошо.

Чиновник. Ведь вам, поди, и рыба нужна?

Ходок. Да ежели дадите на сети, то и рыба у нас будет.

Чиновник. А разве рыба лучше мяса?

Ходок. Да уж мы и не разбираем. Быть бы сыту. Значит, как же мне там передать?

Чиновник. А? Ну, ступай себе с Богом, ступай. Ведь я же тебя не бью, чего ж ты стоишь?

Трудовик. Да ведь он тебя спрашивает: будет от вас что-нибудь?.. Ну, слушай... Ну, будь другом — едем в казначейство!..

Чиновник. Ну, ладно, сейчас. Вы идите вперед, а я на минуту, оправлюсь — штрипка расстегнулась.

(*Все, кроме Чиновника, уходят; он ходит в нерешительности по комнате... Открывает окно. Становится на подоконник. Прыгает*). — Ну, Господи благослови!..

Голос Трудовика (*из передней*). Скоро ты там? Да торопись же!!!

«РУССКАЯ ЛЕНТА»

Работа кинематографического ателье Аркадия Аверченко

I

Тайна Таврического замка, или Двадцать мертвецов

(*Потрясающая комедия в 300 метр.*)

— Это что у вас в руках-то?

— Бюджет. Не видите, что ли?

— Видим. А что надоть?

— Пропустить надо.

— Это бы можно... да... гм...

Председатель опасливо указал налево.

— Эти вот... Видите, какие? Прямо, жуть берет. Как бы чего-нибудь не не вышло.

— Действительно! Послушайте...

Говоривший это наклонился, цепляясь золотым шитьем о сукно фрака председателя, и шепнул:

— А нельзя их... тово?

— Тово? Можно. А вот мы сейчас. Пссть! Господин пристав!

Председатель, в свою очередь, наклонился к уху пристава и что-то быстро и долго шептал ему.

— Поверят ли?—усумнился пристав.

— Пверят. Они ребята, в сущности, добрые, доверчивые.

— Ну, попробуем...

Пристав приблизился к левым скамьям и громко сказал:

— Господа эс-деки! Там в передней стоит какая-то женщина, просит, чтобы вы вышли к ней.

— Чтобы кто вышел?—переспросил Скобелев.

— Всех вас просит, эсдеков. У нее там несчастье какое-то случилось с сыном. Машиной его убило, что ли. Очень убивается женщина.

— Хорошенькая?—насторожился Пуришкевич.

— Товарищи, пойдем, — встал Чхеидзе. — Может быть, что-нибудь и нужно.

— Ладно. Господа кадеты! Присмотрите за нашими местами. А то правые наплюют или чернилами вымажут.

Едва простодушные эсдеки вышли из дверей, как председатель захлопал в ладоши и закричал:

— Ж-живо! Господа пристава!! Запирайте двери! Не впускайте их!! Держи плечом! Марков навались! Завалите двери Марковым!..

Быстро, энергично, как капитан на мостике корабля в шторм, распоряжался председатель...

— Готово? Завалили Марковым? Заклиньте Пуришкевичем! Ну, а теперь, господа, — вот бюджет! Пропускайте поскорее, пока те не влезли.

— Пустите!! —стучали кулаками в дверь эсдеки. — Вы не имеете права...

— Скорее, господа!—кричал председатель. — Пропускайте скорее! Навалитесь плечом на дверь!! Голосуйте!..

— А как голосовать?—осведомились закономерные кадеты. — Проходить в двери, или как...

— Куда ж там к черту в двери, если за дверьми эсдеки... Того и гляди, ворвутся. Кто за бюджет, поднимите руки.

Один застоявшийся националист насупился и сказал обиженно:

— Что это такое, все руки, да руки... Почему ноги никогда не поднимаем. Надо ж и им моцион дать.

— Принимаешь! Браво. Итак...

— Итак, кто несогласен с бюджетом — пусть опускает руки, кто согласен, — пусть поднимет ноги. Есть? Приставь, сосчитайте.

— Сосчитано. Поднято шестьсот ног и сто рук...

— Это значить... Гм! Шестьсот, деленное на два. Выходит — триста за бюджет и пятьдесят...

— Нет, господин председатель. За бюджет всего полтораста!

— Да позвольте! Ведь если шестьсот ног, разделить не полтораста... ага! Понимаю... Гм!.. так, так... Ну, все равно. Секретарь! Каковы результаты голосования?

— Большинством ног бюджет прошел!..

II

Одесская рахуба
или
А слон Ямбо не хочет себе издыхать
(*Великолепная натура*)

Послушайте... Я только одного не понимаю: на кой черт они привозят к нам в Одессу слонов. Мало им было Толмачева, так на тебе Ямбо!

Он, видите ли, сошел с ума. Зачем? По газетным рецензиям так это было так: укротитель ударил его по хоботу, а он укротителя трахнул ногой — это и все. Ну, как говорится: милые дерутся, только чешутся. Но, однако, укротитель поднял крик, говорить — полюбуйтесь, как этот дурак сошел с ума.

Вы знаете? Слон, может быть, умнее нас с вами, а они все: сошел с ума, сошел с ума!

Даже представим себе так. Хорошо! Слон сошел с ума. Ну? Что было бы с таким слоном в другом городе? Его бы посадили в сумасшедший дом, и кончено. Ша. Тихо.

А у нас? Это ж Одесса!

Сейчас кричать: собирайте слоновую комиссию, пускай посмотрят, да или нет?

По моему — нет. По-ихнему — да.

Один комиссионер из слоновой комиссии говорит:

— Ударьте его палкой по хоботу; если он закричит, значит, сумасшедший.

Представьте, бьют! Представьте, кричит!

И тут вам собирается новая комиссия, и приезжает градоначальник Сосновский, и полицеймейстер, и разные археологи, сидят перед клеткой, смотрят. Они смотрят на него, а он на них.

Слушайте! От такого зрелища здоровый слон с ума сойдет, а не то что этот несчастный Ямбо.

Понятно, что животное было не прочь убежать, от этой компании!..

Но они уже подняли крик:

— Ой, он вырвется! Ой, он убежит! Ой, Одесса погибнет, Одессе угрожает опасность!!.

Что такое, спрошу я вас: — слон? Это Везувий, или землетрясение, или что?

Такой большой город, и броненосцы есть, пушки, весь военный округ, — так Одесса слона испугалась!

И, представьте, такой большой город вступил в войну с маленьким слоном. Связался черт с младенцем!

Мирное население покидает свои дома, на бирже ценности летят вниз, а «Одесские Новости» делают себе тираж, сколько у меня волос на голове.

Крик, плач, на вокзале билеты берут за неделю.

Зверинец Лорбербаума окружен войсками, пристава назначили комендантом зверинца, а Кунцендорф ходит и под шумок бьет евреев по морде.

Лорбербаум плачет, как дите:

— Слушайте! Убейте мне этого слона, ну его к черту, мне его уже не жалко.

Потом другой комиссионер говорит:

— Как его убьешь сразу, это же не цыпленок, а слон... Его, может быть, месяц убивать надо. Давайте, отравим его.

Я спрошу вас: кто из них умный, если, когда они дали слону апельсин, набитый стрихнином, так слон понюхал и размазал ногой по полу.

Другой умник кричит:

— Дадим ему стрихнин на водке; слоны водку любят.

Мало им людей спаивать, так за слонов взялись.

Ну-с... Сделали они целое ведро стрихниновки, дали слону... Опять же я вас спрашиваю: кто же умный, а кто же сумасшедший?

Может — я? Может — вы?

Слон взял хоботом ведро и вылил на комиссионеров.

Так уже была, после этого, новая идея: давайте, его усыпим.

Попробовали...

Этот замечательный слон съел, может быть, сто порошков — и ничего. Пошевелит ушами, скушает и опять смотрит глазами на комиссию.

Один грек предложил городской управе подкопать под слоном яму и ссыпать туда слона.

Городская управа говорит:

— Мы не можем, потому у нас нет на слонов кредитов.

А слон стоит и смотрит, стоит и смотрит.

Уже солдатам скоро в лагери нужно переходить, а он стоит и смотрит на комиссионеров.

Это продолжалось, может быть, год бы или два, но явился уже еще один комиссионер, не из комиссии, а настоящий — от Робина.

Такой умный, что прямо прелесть.

Что? Ну, да, еврей, а то кто.

Пришел и говорит:

— Черт с ним, что вы к нему пристали. Слон здоровый, а вы ему только на нервы действуете. Оставьте его в покое.

— А вы разве в слонах понимаете?

— Комиссионер должен во всем понимать.

У него, может быть, все понятие о слонах было такое, что на палке ручка слоновой кости, больше ничего.

Но, однако, попробовали. Отозвали войско и оставили слона в покое.

И знаете результат?

Слон тоже успокоился!

И сразу все вернулись к своим занятиям: Сосновский стал штрафовать газеты, полиция выселять евреев, евреи— выселяться, бумаги поднялись, и одесситы стали возвращаться.

— Почему же, — вы меня спросите, — все так кричали?

— Одесса!

Если Одессе попадется муха, она из нее сделает слона, а если попадется, не дай Бог, слон, — это будет целая мексиканская война!*

III

Адель нашли в Америке
или
Адель, так делать не модель

(*Роскошная драма в натуральных красках*)

— Имею честь явиться, ваше-ство!

— А вы кто?

— Как же! Я — Красовский.

— А-а-а! Всенижайшее! Юскевич-Красковский! Садитесь, милости прошу.

— Виноват, ваше пр-во... Не Красковский, а Красовский. Пристав.

— Без «к»?

— Так точно.

— Ага... Как это называется в грамматике — «к беглое». Вы какой Красовский?

— Вы меня должны помнить, ваше пр-во. Я вам скажу только два слова, и вы меня сразу вспомните: я нашел

---

* Когда одессит говорил это — он не знал, что инцидент с Ямбо, кончится настоящей мексиканской войной: слона раздразнили и потом выпустили в него двести пуль.

в Америке Адель Равич! К вам к первому с этой радостной вестью...

— Какая Адель? Зачем Адель?

— Боже, ты мой! Ведь, Адель Равич же! Главный винт в деле Ющинского. Знает настоящих убийц.

— Каких убийц? Что вы такое говорите... странное...

— Да убийц Ющинского.

— Ющинского? Виноват, это имеет отношение к американской войне?

— Никак нет, Ющинский, который в Киеве был убит.

— Что вы говорите! И давно?

— Господи помилуй! Да неужели вы не помните?.. Ну, я вам скажу иначе: вспомните дело Бейлиса.

— Какого Бейлиса?

— Еврея.

— Кто же его убил?

— Не его убили, а наоборот, он был обвинен в убийстве.

— Кто? Брандес?

— Не Брандес, а Бейлис.

— Разве его обвиняли? Он, кажется только свидетелем был в деле Панченко.

— Кто?

— Бранделяс.

— Ф-фу! Не Бранделяс, а Бейлис! Мендель Бейлис! И вот теперь я выяснил, что он окончательно не виноват.

— Что за оказия! Где, вы говорите, это дело было?

— В Киеве же, Господи!

— В каком Киеве?

— В Киеве! Город... Мать русских городов.

— Чья, вы говорите, мать?

— Русских городов.

— Не слышал, не слышал.

— На Днепре стоит.

— Кто?

— Киев.

— Ну?

— Стоит.

— Какой Днепр?

— Река.

— Первый раз слышу. Где?

— Странно... Не слышал. Что ж этот Брандес...

— В России.

— В какой?!

— Знаете, я пойду, ваше пр-во.

— Всего хорошего. Только, знаете, что? Плюньте вы на все это, а? Охота вам поднимать дело, о котором ни одна душа никогда и не слышала. Степан, проводи!!.



ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРЫСЫ (1915)

о маленьких – для больших



САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Недавно я решил открыть в столице собственный театр: нанял помещение, пригласил хороших актеров и умных режиссеров.

— Я думаю, можно и начинать, — сказал я старшему режиссеру. — Для открытия мне бы хотелось поставить «Отелло» Шекспира.

Режиссер согласился со мною.

— Прекрасно! На ближайшем заседании мы это и обговорим.

— Разве нужно заседание?

— А как же! Это очень сложная и трудная вещь — постановка пьесы.

— Да, да — это верно. Пока раздашь роли, начнешь репетиции, напишешь декорации...

Режиссер в ужасе взглянул на меня и отшатнулся...

— Создатель! Да имеете ли вы какое-нибудь представление о театре? Не полагаете ли вы, что, для того чтобы построить дом, достаточно навалить груду кирпичей?

— Простите... я...

— Ничего, ничего. На заседании вы увидите, как это делается.

* * *

Было заседание.

Когда все собрались, главный режиссер встал, откашлялся и сказал:

— Милостивые государи! Прежде всего, мы должны бросить беглый, ретроспективный взгляд на Бэкона. Шекспиро-бэконовский вопрос прошел два фазиса. До 1889 года бэкониада ограничивалась одними теоретическими домыслами в своем походе против Шекспира. Но шекспирологи не обращали внимания на новый фазис бэкономии. В этом смысле высказалось, напр., немецкое Шекспировское общество в 20-м «Jahrbuch'e»*. Но уже в 24-м «Jahrbuch'e» известный профессор Лео выступил с очень резкой статьей против американца Донелля, изобретателя бэконовского шифра. Странно, однако, что среди всех обличительных статей против Донелля в «Jahrbuch» нет ни одной, в которой было бы обращено внимание на язык будто бы раскрытого шифра...

— Действительно, странно! — подхватил я. — Изумительно прямо. Ну, кому же мы поручим роль Отелло?

Все странно взглянули на меня, а режиссер сказал:

— Теперь бросим беглый взгляд на мнение по этому поводу графа Фитцум фон Экигтедт...

Режиссер говорил долго. Он бросал беглые взгляды налево, направо, назад и вперед.

— Впрочем, — закончил он, — я не буду теперь об этом распространяться. Мною приглашены профессора Марачек и Палачек, которые осветят вам этот вопрос в специальной лекции. Я же подойду прямо к постановке «Отелло». Завтра я уезжаю в Стратфорд.

— Как уезжаете?! — испугался я. — Ведь вы же только что сказали, что... подойдете прямо к постановке пьесы.

— Ну, да! Вы, ей-Богу, точно ребенок... Я для этого и еду в Стратфорд. Вы ведь знаете, что Шекспир был крещен в церкви Holy Trinity**?

— Неужели? Вот не думал!

— Да, конечно! Я сделаю несколько снимков на месте, затем обследую точно улицу Генли (Henley Street); дело в том, что место рождения Шекспира колеблется на этой

* Ежегодник (*нем.*).
** Святой Троицы (*англ.*).

улице — между двумя смежными домами, и я постараюсь выяснить...

— А вдруг вам не удастся выяснить? — опасливо сказал кто-то.

— Это было бы большим ударом, но ничего. Постараюсь сделать, что можно, сфотографирую фасады, расспрошу жителей. Поброжу по берегу Авона... Надо многое продумать.

— Кто же будет играть Отелло? — переспросил я.

Премьер Кораллов встал и заметил, разглядывая свои руки:

— Я думаю — я.

Режиссер закрыл глаза ладонью и сказал сосредоточенно:

— Позвольте, позвольте! Сейчас, сейчас. Дайте вдуматься, дайте осознать это... — И, отняв ладонь от глаз, воскликнул: — Да! Вы!

— В таком случае, — согласился Кораллов, — если я — сегодня же мне придется выехать.

— Куда? — встревожился я.

— В Абиссинию!

— Значит, вы отказываетесь от роли?

— С чего вы это взяли? Дело в следующем: вам, вероятно, известно, что население Северной Африки отличается многообразной помесью рас. Мы наблюдаем различные комбинации рас семитической (арабы), древнеегипетской (копты), белой (туареги, в которых видят потомков древних гиксов), эфиопской (абиссинцы) и чисто негритянской. Я объеду Каир, Александрию, Луксор...

— Позвольте, — сказал я, — а Дездемона? Кто играет Дездемону?

— Я, — ответила премьерша. — Это ничего, что я не знаю итальянского языка?

— А зачем вам? Пьеса уже переведена с английского.

— Много вы понимаете. Как же я буду играть, не побывав во дворце дожей, не проникнувшись запахом Canale Grande* и величавой красотой божественного палаццо на Пьяцетте.

— Ничего! — сказал ей декоратор. — Мы поедем вместе. Съездим сначала в Кипр, потом в Венецию, потом...

---

* Большого канала (*ит.*).

— И прекрасно, — вскричал бутафор. — Втроем веселее. Выедем через недельку...

— А вам зачем? — обернулся я к нему.

— Это очень даже странно — ваш вопрос; вы, кажется, забыли эпизод с платком Дездемоны...

— Ну?!

— В Венеции есть специальные мастерские кружев: в Мурано, Бурано, Турано, Дурано...

— Изучать будете? — прищурился я.

— Да-с, изучать! Не думаете ли вы, что мы можем делать все на авось? Ох уж эти мне антрепренеры, — все авось, небось и как-нибудь... Вы, может быть, скажете, что мне не нужно поехать и в Лондон для снятия копии со знаменитого «кинжала Отелло», хранящегося в Западном отделе Британского музея.

— Или мне для роли Кассио не нужно изучать караульную службу на месте, среди кипрских регулярных военных частей?! — подхватил второй любовник.

Я встал и, сделав знак, что желаю говорить, торжественно начал:

— Я приветствую ту любовь к нашему прекрасному делу, ту любовь, о которой говорите вы. Для того чтобы пьеса была обставлена и сделана, как следует, — все это насущно важно и чрезвычайно необходимо. Я пойду еще дальше: по пьесе сказано, что в ней участвуют «послы, музыканты, матросы и прочие». Я думаю, не мешало бы актеров, играющих послов, отправить в итальянское посольство — пусть изучают! Музыканты пусть возьмут несколько уроков у профессора консерватории, а матросам устроим особый бассейн с моделью корабля, для того чтобы они, плавая, могли проникнуться своими ролями... Остаются «и прочие» — устроим и им курсы. Если за сценой будут выстрелы — возьмем несколько уроков орудийной стрельбы у артиллеристов, или, еще лучше, отправим помощника режиссера на заводы Крезо... В первом акте Брабанцио кричит: «Огня!» Не мешало бы запросить по этому поводу мнение спичечных фабрик: «Соло», «Вулкан» и других. Мы все это сделаем. И я даю вам слово, что и я сам, я, антрепренер, приму участие в общем творчестве!

— А что же вы... будете делать? — усмехнулся режиссер, пожимая талантливым проникновенным плечом.

— Я? Да ведь на то, чтобы поставить, как следует, эту штуку, нужны большие деньги?

Режиссер снисходительно улыбнулся.

— Да... не маленькие.

— Ну, то-то же! Так что же делаю я? С завтрашнего же дня поступлю простым рабочим в экспедицию заготовления государственных бумаг и начну с самого начала изучать быт служащих, рабочих и способ изготовления кредитных бумажек. Все это нужно прочувствовать, во все вникнуть. Постановка — так постановка! И вот, господа, когда я изучу это дело, тогда и можно приступить к дальнейшей постановке «Отелло»... Года через два-три и займемся. Вот что-с!..

Расходились опечаленные.

АКТЕРЫ

Самое красивое в женщине (когда смотришь на нее со стороны) — это ее осень... Пышная, золотая, иногда спокойно-элегическая, иногда бурная, пламенная, она является для всякого, кто глядит на такую женщину, сладким и страшным memento mori...

Самое красивое в мужчине — это его весна: 21–22 года, когда взор задумчив и робок, а сердце бьется и замирает при одном взгляде на женщину. Чуткость, рыцарство и бескорыстная влюбленность свойственны этому возрасту...

Однажды я долго любовался этим чудесным сочетанием зрелой пышной осени и молодой, розовой весны.

Осень — актриса Донецкая.

Весна — актер Рокотов.

Я сидел в ее уютной квартирке и мирно беседовал об искусстве, когда появился Рокотов, молодой красавец, с бритым нервным лицом и задумчивыми, немного печальными глазами.

— Здравствуй, Женя, — сказал он, целуя ее в щеку и здороваясь со мной.

«На «ты», — подумал я. — Очевидно, ее муж».

— Ты откуда? — спросила Донецкая.

— На бильярде с твоим мужем играл.

«Не муж, значит, — догадался я. — Значит, брат».

Вслух заметил:

— А вы совсем не похожи друг на друга лицом.

— Да? — удивилась она. — А я где-то читала, что люди, которые долго живут друг с другом, делаются похожими друг на друга. Мы живем вместе уже полтора месяца, а вот, оказывается, не похожи.

«Вот оказия, — призадумался я. — Живут вместе полтора месяца, а он с ее мужем на бильярде играет. Как же он ей приходится? Впрочем, «вместе» — это, может быть, в одном театре...»

— Вы в одном и том же театре играете? — спросил я.

— Да, — отвечала Донецкая. — В театре его только и видишь. Домой он является в пять часов утра и имеет пренеприятную привычку будить меня...

Рокотов мелодично засмеялся, поцеловал Донецкой руку и, присев около на низенький пуф, детским движением доверчиво положил ей голову на колени.

— Ах ты мой милый мальчик, — ласково и нежно прошептала она, гладя его волосы.

...И продолжала начатый разговор:

— Да! В те времена я служила еще в Саратове. Еще, как говорится, не расправила крылья. И бедствовали же мы! Комическая старуха варила похлебку из картофеля, и этим питалась вся труппа. Боже мой! Какой контраст с тем, что было потом! Струи золота! Горы бумажек! Ах, дорогой друг мой... Если бы я сейчас имела одну десятую того, что прошло через мои руки, — я была бы миллионершей!

— Неужели в театре платят такие большие оклады?! — удивился я.

— В театре? Я бы сто раз уже протянула ноги — если бы рассчитывала на свое жалованье...

Она склонила благородный профиль к голове любимого человека и, отдаваясь вся во власть воспоминаний, тихо, ни к кому не обращаясь, заговорила:

— О, Боже... Что это было... Например, в Москве... Генерал Штифель... Понравилась мне золотистая лошадь у одного

рыбника... Генерал мигнул, лошадь эта очутилась у меня, но я хотела иметь пару... Что ж вы думаете? Всю Россию изъездил его секретарь и нашел-таки в каком-то не то Устюге, не то еще где-то... Восемь тысяч ему это стоило...

Сердце мое болезненно сжалось.

«Зачем она это говорит, — подумал я. — Ведь любимому и любящему человеку больно слушать о том, как ее любил другой, как он окружал ее королевской роскошью, которой он, бедный артист, не в силах дать ей...»

— А дровяник Супов, — прошептала Донецкая, еще ниже склоняя чистый, не успевший измяться профиль к голове любимого человека. — Вспомню я об этом Супове — и даже теперь смешно... К чему были все эти глупости... Делал мне ванну из воды пополам с духами; а духи французские, уж и название не припомню... Флакон 28 рублей... За кровать заплатил семь тысяч... Бывало, приезжаешь к Яру, подойдешь к аквариуму (огромный там аквариум был), выберешь этакую рыбку, рублей за полтораста... подадут ее, ну, и что же? Ковырнешь эту махину вилкой — уберите, не нравится! А цыгане! Как цыгане запоют, так этот Супов плакать начинает: «Женя! Хочешь, жену отравлю, а на тебе женюсь». Такой смешной. «Зачем же, говорю, Ваня. Разве я и так не твоя?..» — «Без закона, говорит, это не считается». Такой юморист, что ужас. До ста тысяч я ему в полтора года стоила...

Тупая боль сжала мое сердце, когда я поглядел на Рокотова.

Бедняга будто замер в своем мучении, уткнув голову в колени женщины, которая так терзала и топтала без всякой жалости его молодое чувство, а она, будто не замечая нависшего над нами ужаса и боли, продолжала:

— А в Киеве! Был у меня сахарозаводчик Тирунин, старик, существо испорченное до мозга костей. Но надо отдать справедливость — денег не жалел. В мой бенефис однажды выкинул штуку: сто корзин поднес. Так вы знаете: я потерялась на сцене!.. Лес! Не знаю, куда идти! Вместо того чтобы в публику, я в кулису кланялась. А за ужином в огромном тазу крюшон делали, в который входило шампанское, коньяк, мараскин, персики и я. Это у него уж традиция была. В три недели шестьдесят тысяч растаяли...

Я уже открыл рот, чтобы намекнуть ей на все неприличие и жестокость ее слов но отношению к тому, кто был у ее ног, но в это время он сам поднял голову и, бросив на нее угрюмый, тяжелый взгляд, пытался что-то сказать, однако, не замечая его порыва, вся погруженная в воспоминания, тихо прошелестела Донецкая:

— В том же Киеве был такой подрядчик, Акулькин... Что он выделывал! Забирал всю труппу, вез ее на Труханов остров, дня на три, а антрепренеру платил неустойку. И все потому, что в городе ему мешал остаться со мной полковник Подпругов... Один месяц был у меня этот Акулькин, а обошлось ему это... дай Бог память... Да! 82 тысячи ему это обошлось.

Давно уже хотевший что-то сказать Рокотов теперь не выдержал... Поднял голову энергичным взмахом и ревниво сказал:

— Постой, постой... 82 тысячи! Но ведь это не считая бриллиантов. А ты на сколько получила бриллиантов? Тысяч на двадцать? Вот, брат, оно и за сто перевалило.

— Ах, и верно ведь, — улыбнулась Донецкая, снова укладывая голову любимого человека на колени. — Тогда выйдет больше ста тысяч.

И снова зашелестела тихо и задумчиво пышная осень золотыми листьями, и снова замерла у ее ног розовая весна, очарованная, завороженная волшебной сказкой.

....

ДАННЫЕ ДЛЯ УСПЕХА

Недавно на премьере в одном из театров (случайно в этот день шла моя пьеса) я встретился в первом антракте у буфета с рецензентом газеты «Голос Эртелева переулка».

— Ну, как вы? — осторожно осведомился я.

— Я ничего, — пожал он плечами. — Вы как?

— Что нам делается, — неопределенно заметил я.

— Такое дело уж наше драматическое, — рассеянно покачал он головой. — Как говорится: и не довернешься — бьют, и перевернешься — бьют.

— То есть?

— Вообще.

— Гм!

— Вот вам и — гм!

Мы скосили глаза и посмотрели друг на друга.

— Как вам нравится моя пьеса?

— Пьеска! Как вам сказать... Я не имею никаких данных утверждать, что пьеса хороша.

— То есть, значит, пьеса плоха? — огорченно вздохнул я.

— Я этого не говорю, но у меня нет данных утверждать, что пьеса хороша.

— Понимаю! Вы просто находите пьесу средней.

Он пронзительно взглянул на меня.

— Я не имею даже данных находить ее средней. Понимаете: не имею данных.

— А если бы вы имели данные?

— О, тогда другое дело! Вы сами понимаете: если я имею данные находить вашу пьесу хорошей, то с моей стороны было бы недобросовестно ругать ее.

— Я бы хотел, чтобы вы имели данные.

— Поверьте — я не менее.

Мы помолчали.

— Кстати, о Чехове, — спохватился я. — Вы ведь знали покойника?

— Знал...

— Представьте, какая досада: несколько лет тому назад я одолжил у него пятьдесят рублей и все не мог собраться отдать. Теперь у меня и деньги есть, и желание отдать...

— Хорошо, — с безыскусственной простотой согласился рецензент, — я передам ему.

— Ну вот и прекрасно. С моей души камень снимите. Вот-с... ровно пятьдесят.

— Позвольте, позвольте, — призадумался он. — Помнится мне, покойник Антон Павлович часто говаривал, что вы ему задолжали сто рублей.

— Ах, ведь и верно, — всплеснул я руками. — Только видите ли... хотя я и брал у него сто, но однажды двадцать пять ему вернул. Он, вероятно, это запамятовал.

— Ну, ладно, — махнул рукой рецензент. — Передам 75.

— Очень обяжете.

Он уселся на диванчик, поболтал ногой и сказал, рассматривая потолок:

— А то у нас и «Вечерняя газета» есть. Тоже газета.

— Ну, какая же это газета. Ведь ее никто не читает, — улыбнулся я.

— Кому надо — прочтут.

— Надеюсь, что эта газета найдет мою пьесу сносной.

— Газета не имеет для этого данных!

— Ну много ли нужно для этой газеты данных?

— Да, положим, немного. Газетка маленькая — короче воробьиного носа. И данные, чтобы найти пьесу хорошей, соответственные.

— Ох, печать, печать! — вздохнул я.

Он подтвердил:

— Да-с. Шестая часть света. Пресса.

— Да-с. Именно — пресса. Недаром в последнем слоге две буквы «с» рядом.

Он отодвинулся.

— Что вы хотите этим сказать?

— Не обижайтесь, ничего. Я пошутил.

— Я еще не имею данных, чтобы выслушивать такие шутки!

Он отвернулся и замолчал.

Я засунул руку в боковой карман, вынул из бумажника красную бумажку и положил ее на пол.

Он нагнулся.

— Что это такое?

— Собачка. Не правда ли, премиленькая?

— Ничего. Мала только очень. Какой породы?

— Борзой щенок. Хотите подарю?

— Я не большой охотник до маленьких собак. По-моему, если собака — так чтобы она была друг человека. Большая, сильная.

— Ну, знаете... Нынче и маленькие собачки ценятся. В Англии, например.

— Ну, что Англия... Переведите-ка вашу пьесу на английский язык, может быть, они и найдут достаточно данных, чтобы прийти в восхищение.

Я пожал плечами.

— Все-таки, фунт.

— Чего фунт?

— Да в собачке моей. Собачка фунт весит.

— Да ведь не русский же фунт!

— Еще чего захотели! Я говорю об английском фунте. Право, возьмите собачку, а?

— Пусть подрастет.

— До?

— До двух с половиной фунтов.

— Тяжела будет! Кто там ее читает, вашу «Вечернюю».

— Кому надо — прочтут.

— Гм! Ну, и ежели мой пес два фунта потянет?

— Эх! Ну, ладно. Сделано.

Собака поднялась на задние лапы и прыгнула в рецензентову будку, устроенную в жилетном кармане.

— Куш! — сказал рецензент, хлопнув себя по карману.

Я вздохнул.

— А вы знаете, я ведь и в заграничные газеты корреспондирую.

— Ну-с?

— Так вот я хотел сказать: с нашей российской точки зрения я имею вполне достаточные данные быть довольным вашей пьесой. Но за границей... сами знаете... другие условия... иной уклад жизни.

— Другие условия? Понимаю. Ну, что ж. На том свете тоже другие условия, — деликатно возразил я.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да то: вот теперь я, скажем, драматург, а на том свете, может быть, углем буду торговать.

Рецензент был очень догадлив.

— Так-так! Значит, вам на том свете угольки понадобятся?

— Я думаю.

— Хорошо-с. Так вы дайте мне рублей сто авансом, а я вам там верну — самыми лучшими, высшего сорта угольками.

— Ну что вы! Куда мне столько! Я ведь в розницу торговать буду. Если на 25 поставите — и то за глаза хватит. Тем более что у меня много и других поставщиков.

Он добродушно засмеялся.

— Ну что с вами делать! Поставщиков всегда утесняют. Согласен!

Отошел он от меня довольный.

Из настоящей статьи видно, что успех пьесы зависит не только от критиков, но и от:

1) личных друзей Чехова;

2) любителей собак;

3) поставщиков угля.

И, кончая свою статью, скажу я свое последнее слово:

— Аминь!

Что значит в перводе:

Истинно так.

В ЛЕТНИХ САДАХ

Перед открытой сценой в толпе я вижу двух людей...

Один — личность совершенно ординарная, зато другой сразу приковывает к себе внимание вдумчивого человека. По виду он приказчик обувного или писчебумажного магазина, а на лице у него написано, что он раз и навсегда решил все жизненные вопросы и на этом почил. Отупелый взгляд и срезанная задняя часть головы подчеркивают, что этого человека не собьешь с занятой им позиции.

И действительно:

— Ну, скажи же, скажи ты мне, — нудится и юлит около него ординарный человек. — А вот как ты это поймешь, — я в Вилла-Родэ видел: выходит человек с куклой, бросает ее об земь, топчет, снимает ей голову, опять приставляет, а напоследок, оказывается, что кукла-то эта — настоящий человек, с живой головой. Это каким путем?

— Электричество, — веско отвечает приказчик, разрешивший все жизненные вопросы.

— Да-с? Электричество? Ну а как вы объясните сей факт, милостивый государь, что этот велосипедист влезает

на одно-одинешенькое колесо и на нем с лестницы скатывается? Тоже электричество?

Непонятно, почему ординарная личность так волнуется; вероятно, потому, что это — столкновение двух мировоззрений и характеров: пытливой, мятущейся, ищущей разрешения мировых загадок души, — и души, уже все постигшей, все себе объяснившей.

— Как ты об этом колесе поймешь?

— Электричество.

— Электричество? Да-с? Вы так думаете? Где же тогда проволока, соединенная со станцией?

— Беспроволочное. Воздушные волны.

— Воздушные волны? А то, что человек давеча на кровати аршин на пять подпрыгивал — и это электричество?

— Электричество.

— Ну, так я после этого с тобой и разговаривать не желаю.

— И не надо. Раз ты не можешь рассуждать научно — не разговаривай.

Но незначительный человек не может успокоиться. Его сердце раздирают обида и сомнение.

— Ну, допустим даже влияние системы электричества на механические предметы обихода, но живой организм?! Изволили видеть, тут же на открытой сцене тюленей? Этакий дурак, да носом шар перебрасывает. Да ведь как! Не в обиду ему будь сказано — совершенно прекрасно. Значит, тюлени тоже электрические? Это как, а?

— Тюлени не электрические. А шар — да. Электричеством в действие приводится.

Незначительный человек оскорбленно улыбается. Тщетно бьется эта маленькая пытливая душа о стену, воздвигнутую так мощно его противником.

Страшное напряжение мысли — и незначительный человек снова оборачивается с торжествующим лицом к замкнувшемуся в себе приказчику.

— Вот тебе дрессированные слоны... Как вы поймете это, если этакая машинища танцует, ходит на задних лапах и разговаривает с помощью хобота и криков по телефону. Это что же, по-вашему, — слонячье электричество?

— Если бы ты знал, что такое животный магнетизм, происходящий с помощью электрических волн, ты бы не раз-

говаривал. А телефон, по которому говорит твой слон, тоже из чего состоит? Из электричества.

— Он не мой слон. Можешь сам его на шею себе подвесить!

Незначительному человеку жарко, душно и обидно, а противник его спокоен. Живется ему, очевидно, легко. Все понятно, все объяснено, беспокоиться не о чем.

Кажется, в глубине души я ему немного завидую.

В седьмом ряду сидел молодой господин в зеленой шляпе, белых перчатках и клетчатых брюках... Приехал он вчера из Елабуги и поэтому робко озирался при всяком новом появлении зрителя одного с ним ряда, а при виде суетившегося капельдинера в десятый раз засовывал пальцы в жилетный карман с целью убедиться, не утерян ли купленный им билет?

В Елабуге молодой господин вел себя очень нравственно, а приехавши в Петербург, решил вести себя безнравственно и сегодня предполагал окунуться в омут столичного разврата, на что отложил из оставшихся на обратную дорогу 14 рублей.

— Я думаю, хватит, — размышлял молодой господин, причем сердце его замирало от предчувствия неизведанных грешных наслаждений. — Выберу какую-нибудь хорошенькую из певиц, угощу скромным ужином, а потом увезу к себе.

На сцене акробаты влезали один другому на голову и лазили в таком виде по лестницам, а молодой господин из Елабуги, не смотря на них, рассуждал так:

— Ужин: два блюда и полбутылки вина красного, скажем, два рубля... Двугривенный лакею на чай, да рубль на извозчика, когда поедем ко мне, — останется еще 80 копеек на разные непредвиденные расходы. Десять же рублей ей за наслаждения ее любовью. Должно хватить.

Когда танцевали негр и негритянка, молодой человек, полный грешных размышлений, подумал:

— А что, если ее пригласить ужинать?

Но, увидев, как яростно негр болтал ногами и размахивал головой, подумал, что негр этот злой и, узнав о его намерении, поколотит испорченного молодого человека...

Потом стали выходить другие певицы, и ему многие нравились...

Испанка заставила своей наружностью и танцами сладко сжаться сердце молодого господина, но он подумал, что она слишком недоступна, и остановил свой выбор на какой-то француженке с голой белой грудью и шикарной походкой.

Когда она удалилась, пропевши свои номера, молодой господин встал и, выйдя, решил выждать ее появления в саду.

Скоро она вылетела, шумя юбкой, в чудовищной шляпе, выставляя задорную ногу в чулке бледно-розового цвета.

— Здравствуйте, барышня, — несмело приветствовал ее господин из Елабуги.

— Трастуте! Што ви катите?

Зная, что нужно быть игривым, молодой человек захихикал в руку и похлопал певицу по груди.

— Ну, как вы поживаете? Пойдем ужинать.

— О, з удовольстьем! — сказала весело певица, беря его под руку. — Ведить меня на террас.

И они уселись за столиком, и молодой человек, пока она просматривала карточку, вновь проверил себя:

— Ужин — 2 рубля, лакею и на извозчика — 1 рубль 20 копеек, непредвиденные расходы — 80 копеек и ей завтра утром 10 рублей. Хватит.

— Шеловек! — командовала француженка. — Бутылку Мутон-Ротшильд, котлеты даньен, спаржа и сернистой искры один порций. А што ти вибираешь, милый?

Молодой господин из Елабуги взял, улыбаясь, карточку, но сейчас же побледнел и покачнулся.

Он долго думал что-то, перелистывая карточку и шепча какие-то цифры, и потом костенеющим языком спросил лакея:

— А что... у вас... хорошо делают битки по-казацки?

Когда ему подали битки, он, обжигаясь, съел их и, вынув кошелек, подозвал лакея.

— Здесь, вероятно, 13 рублей 30 копеек.

— Так точно-с. Ровно 13 рублей 30 копеек.

— Вот получите, пожалуйста. Я, видите ли, должен сейчас пойти к знакомому одному... тут близко живет... чиновник контрольной палаты... брюнет такой. А ты, милая, подожди. Я сейчас приду, и тогда выпьем шампанского... бутылки четыре!

Молодой господин, съежившись, вышел из сада и пошел домой, в номера на Лиговке, расспрашивая у городовых дорогу...

Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как выход русской шансонетной певицы.

Она вылетает на сцену как-то боком на прямых негнущихся ногах и — пока оркестр играет ритурнель — делает следующее: взглянет в потолок, потом большим пальцем руки поправит спустившуюся с плеч ленточку, заменяющую рукав, а потом поглядит в зрительный зал и кому-то кивнет головой.

Кому? Тот столик, которому она кивнула, пуст, но у нее есть свой расчет: подчеркнуть публике, что где-то в зале у нее есть поклонник, бросающий на нее тысячи, и что она не такая уж замухрышка, как некоторые думают.

Поет она хладнокровно — бережно сохраняя темперамент для личной жизни.

Все русские шансонетные куплеты на один лад: или «мама ей скрипку подарила, которую она берегла, пока не явился музыкант», или она «хорошая наездница и поэтому предпочитает всему хлыст». Символы меняются: вместо хлыста она прославляет аэроплан, пишущую машину или массаж.

Кто прослушает десяток русских шансонетных куплетов, тот установит следующие излюбленные незыблемые рифмы: «старик — парик», «я — друзья», «о, да — всегда», «раз — экстаз» и «корнет — кабинет».

Одна певица после своего номера подошла к нам и сказала:

— Угостили бы вы ужином, а?

— По некоторым причинам, — возразил я, — мы с товарищем не можем афишировать нашей с вами многолет-

ней дружбы. Вместо этого послушайте, какую я сочинил шансонетку...

И я запел:

Один старик,
Надев парик,
Позвал меня вдруг в кабинет;
А там сидел уже корнет!
Я в этот раз
Пришла в экстаз,
Клянусь в том я,
Мои друзья,
Люблю корнетов лишь всегда,
Их обожаю я, о, да!

— Неужели сами сочинили?! — удивилась певица. — Какая прелесть! Можно переписать?

НАРОДНЫЙ ДОМ

Когда Мифасов и я собрались ехать в Народный дом — к нам пристал и художник Крысаков:

— Возьмите меня!

— А зачем?

— Да ведь вы едете в Народный дом?..

— Ну?

— А я знаток народных обычаев, верований и всего вообще народного быта. Кроме того, я знаток русского языка.

Последнее было бесспорно. Стоило только Крысакову встретиться с извозчиком, маляром или оборванным мужичком, собирающим на погорельцев, — Крысаков сразу вступал с ними в разговор на самом диковинном языке:

— Пожалуйте, барин, отвезу.

— А ты энто, малый, не завихляешься-то ничего такого, вобче? По обыкности, не объерепенишься?

Извозчик с глубоким изумлением прислушивался к этим словам:

— Чего-о-о?

— Я говорю: шелометь-то неповадно с устатку. Дык энто как?

— Пожалуйте, барин, отвезу, — робко лепетал испуганный такими странными словами извозчик.

— Коли животина истоманилась, — веско возражал Крысаков, — то не навараксишь, как быть след. Космогонить-то все горазды на подыспод.

— Должно, немец, — печально бормотал ущемленный плохими делами Ванька и гнал свою лошаденку подальше от затейливого барина.

А Крысаков уже подошел к маляру, лениво мажущему кистью парадную дверь, и уже вступил с ним в оживленный разговор.

— Выхмарило сегодни на гораздое вёдро.

— Эге, — хладнокровно кивал головой маляр, прилежно занимась своим делом.

— А на вытулках не чемезишься, как быть след.

— Эге, — бормотал маляр, стряхивая краску с кисти на бариновы ботинки.

— То-то. Не талдыкнут, дык и гомозишься не с поскоку.

— Эге.

Потом Крысаков говорил нам:

— Надо с народом говорить его языком. Только тогда он не сожмется перед тобой и будет откровенен.

Вот почему мы взяли с собой Крысакова.

Я хочу открыть Америку:

— Читатели! Вы все, в ком еще не заглохла жажда настоящей жизни, любовь к настоящему простому, ясному человеку, стремление к искреннему веселью и непосредственной радости, — сходите в Народный дом, потолкайтесь в толпе.

«Действительно, открыл Америку», — подумает кто-нибудь, пожав плечами.

Нечего пожимать плечами. Большинство читателей «Нового Сатирикона» в Народном доме ни разу не было, и я, как новый Колумб, уподобив читателей «Нового Сатирикона» испанцам, предлагаю им новую, только что открытую мною страну — Народный дом.

Всякий испанец поблагодарит меня, если ему взбредет в голову, на основании этих строк, потолкаться по обширной территории Народого дома.

Крысаков, по крайней мере, пришел в восторг.

— Какой простор! Какие милые, славные лица... Вот он, настоящий русский народ. И какое искреннее веселье!

Тут же он заговорил с одним парнем, восхищенно глазевшим на измазанных мелом клоунов:

— Энто, стало быть, скоморошество вдругорядь причинно и изничтожению кручинушки, котора, как змея злоехидная, сосет-томит молодецкую грудь... Взираешь на таку посмеху, да и только тряхнешь кудрями.

Действительно, у парня на лице выразилось сильнейшее желание тряхнуть кудрями — только не своими, а крысаковскими.

— Ты чего ко мне привязался, — сказал парень очень угрюмо, — я ж тебя не трогаю.

— Ничего, ничего, не обижайся, — примирительно сказал Мифасов, покрутив за спиной Крысакова пальцем около лба. — Не бойся, милый; он добрый.

— Вот смотри, что значит наметавшийся глаз, — шепнул мне Крысаков. — Стоило только поговорить мне с ним две минуты, как я уже знаю, кто он такой... Он полотер!

— Вы полотер? — спросил Мифасов парня.

— Нет, — общительно сказал парень. — Я газетчик. Газетами торгую.

— Но, может быть, вы газетами торгуете просто так... изредка... для удовольствия? — с некоторой надеждой спросил Крысаков.

— Кой черт для удовольствия! С восьми утра до восьми вечера не очень-то постоишь для удовольствия.

— Ага! Но вы, вероятно, все-таки изредка натираете полы? Так, знаете, просто, для практики.

— Да чего ж их натирать-то? — удивился парень.

— Ну, просто так... У себя в квартире, а? Паркет, а? Знаете, такой... квадратики.

Парень с сожалением поглядел на Крысакова, сочувственно кивнул нам головой и отошел.

* * *

Ни в каком Луна-парке не встретишь такого веселья «на чертовом колесе», как в Народном доме.

Я видел катающихся в Луна-парке: мрачно, страдальчески сдвинутые брови, отчаянные лица людей, которые решили путем катанья на колесе порвать нить надоевшей жизни, стоны и охи, когда колесо разбросает в разные стороны всю эту кучу скучающего человеческого мяса.

Не то в Народном доме. Прежде всего, здесь на «чертовом колесе» катаются титаны, выкованные из железа.

Не успеет колесо остановиться, как на него со всех сторон, подобно лавине, обрушиваются человеческие тела; со всего размаха, с треском и хрустом костей бросается веселящийся русский народ на деревянное колесо. В одну минуту образуется живая гора из перепутавшихся рук, ног, голов...

— Вжжж!.. вертится колесо — и вся эта живая гора, как щепки, со страшным стуком, громом и грохотом разбрасывается в разные стороны.

— Крепко нынче стали людей делать, — задумчиво сказал Мифасов, глядя на мальчишку, который, сделав двухаршинный прыжок и шлепнувшись животом о деревянный пол, вдруг завертелся вместе с колесом, вылетел на барьер, ударился об него головой и дико захохотал, не обращая внимания на то, что какой-то рыжий мужик топчет каблучищем сапога его грязную ручонку.

Весело, черт возьми. И никто ни на кого не обижается.

Наконец-то бедный, бесправный русский народ достиг идеала своей национальной игры: мала куча — крыши нету.

На особой эстраде — танцы. Здесь, в Народном доме, танцы — священнодействие. У всех серьезные, углубленные и как-то внутренно просветленные лица.

Кухарки отплясывают с благоговейным выражением огрубевшего у плиты лица. Модистки танцуют с определенным убеждением, что это не шутки, не игрушки и что громкий голос или смех звучал бы в данном случае кощунственно.

Мы долго не сводили глаз с военного писаря, который думал, что он Нижинский, — и танцевал так, будто бы весь светский административный и дипломатический мир Парижа собрался полюбоваться на него. Мы видели писаря, разочарованного аристократа, который танцевал, еле-еле шевеля ногами, и которому все надоело: и этот блеск, шум

и вообще вся эта утомительная светская жизнь. Мы видели какого-то восторженного человека, с глазами, поднятыми молитвенно к небу.

Он прикасался к даме кончиками пальцев, нежно переставлял искривленные портняжной работой ноги, а взор его купался в высоте, и он видел там ангелов. Мы видели высокого нескладного молодого человека со множеством веснушек, но зато без всяких бровей и ресниц; этот молодой человек работал ногами так, как не может работать поденщик; это усердие свойственно только сдельным рабочим. Про него Крысаков сказал:

— Вот типичный клерк маленькой банкирской конторы.

Впрочем, через пять минут «клерк» сказал своей даме:

— Вот как за целый-то день молотком намахаешься — так на вашу тяжесть мне наплевать.

— Видишь, — сказал Мифасов Крысакову. — Это молотобоец, а ты говоришь — клерк.

— Ну, это еще вопрос, — нахально пожал плечами Крысаков. — Может быть, он в банкирской конторе вбивал молотком какие-нибудь гвозди для плакатов и диаграмм биржевых сделок.

Уходя, мы насолили Крысакову в отплату за его развязность, как могли. Именно, продираясь сквозь толпу впереди Крысакова, Мифасов говорил вполголоса:

— Пожалуйста, господа, дайте дорогу. Сзади меня опасный сумасшедший, и не надо его злить. Он только что выписался из больницы, и снова ему плохо. Осторожней, господа!..

Когда мы вышли на улицу, Крысаков сказал:

— Заметили, как весь народ смотрел на меня? Они чувствовали во мне «своего» человека, знающего их быт, привычки, язык и весь вообще уклад.

ЧЕМПИОНАТ БОРЬБЫ
(*Очерк*)

У устроителей чемпионата есть только одна цель, одна мысль — как можно больше растянуть время, назначенное для борьбы: каждый день часа на два. Если бы устроите-

ли об этом не заботились, то все пары переборолись бы в один вечер.

Мы знали одного очень симпатичного, но слабого, хилого атлета, вид которого возбуждал всеобщую жалость и сочувствие. Его впалая грудь, худые бока и изможденное лицо наводили многих на христианскую мысль — определить его в санаторию, но как-то тут случилось, что определился он в чемпионат борьбы.

На второй же вечер этот честный, простодушный человек подошел к организатору борьбы и предложил ему следующее:

— Я знаю, вы распорядились, чтобы мой противник положил меня только после двенадцатой минуты... Зачем это? Зачем тратить напрасно время, которое послано нам Всевышним, которое так дорого и которое мы должны употреблять с большей пользой. Сделаем так: выйдем на арену, я пожму противнику руку и лягу сам на обе лопатки. Пусть судьи признают меня побежденным.

И что же сделал организатор борьбы? Послушался здравого совета? Нет, он напал на хилого атлета, раскричался, заявил, что он не хочет зря платить деньги разным дармоедам, и тут же отдал распоряжение противнику хилого борца — положить его только на девятнадцатой минуте.

Хилый атлет стал бороться и несколько раз во время борьбы хотел потихоньку лечь на обе лопатки...

Но противник ему попался опытный: он зорко следил за движениями хилого, и едва тот касался лопатками ковра, противник закладывал какой-нибудь нельсон и спасал несчастного, переворачивая его на живот.

Положен был хилый на девятнадцатой минуте странным приемом: он просто зацепился нечаянно одной ногой за другую и упал на спину.

Победителю публика устроила овацию. И было за что: за кулисами он признавался, что никогда не приходилось ему вести более трудной борьбы — каждую секунду нужно было зорко следить, чтобы противник не лег на ковер из простого ехидства и лени.

Вот каким образом устроители чемпионата растягивают борьбу вместо одного вечера на целый сезон.

Растягивание времени замечается даже в мелочах: парад борцов, представление их публике и демонстрирование запрещенных приемов.

Стоит только выйти атлетам, как арбитр начинает топтаться на месте, мямлить и тянуть слова.

Говорит долго-долго.

Затем знакомит борцов с публикой, ухитряясь даже дать некоторым подробные характеристики...

— Эгеберг! Победитель знаменитого Арвид Андерсона, один из лучших техников...

— Лурих! Чемпион мира. Пользуется отличным успехом у женщин. Имеет тридцать пар трико, не считая букетов! Лурих... Не кривляйся.

— Циклоп! Питается сырым мясом и имеет тяжелый характер. Недавно в Галиции умерла его тетка, почему он и просит у публики снисхождения. Циклоп! Алле! Кланяйся публике.

— Мухануpa! Питается гаоляном. Сын маньчжурских полей, орошенных в свое время кровью двух великих держав. Дитя природы. Тоже просит у почтеннейшей публики снисхождения по причине сильного опьянения на почве рождения сына. Запрещаются следующие приемы: удары о пол головы противника, сделавшего мост; сдавливание горла; выкалывание глаз; вырывание ноздрей; вырезывание ремней из спины противника: оскорбление памяти предков противника; получение из банков денег по фальшивым векселям; хранение нелегальной литературы и — продажа напитков на вынос в незапечатанной посуде по вольной цене.

Арбитр долго еще перечисляет запрещенные приемы, а время идет...

Конечно, при желании время можно растянуть еще больше: когда борцы сходятся и пожимают друг другу руки, один может сделать приятно удивленное лицо и прикинуться, что он встретился с противником впервые.

— Как?! И ты здесь в чемпионате? Вот не ожидал! Сколько лет, сколько зим! Ну, как поживаешь? Давно видел Поддубного?

И, усевшись на ковре, оба поведут оживленную беседу о прошлом, прерываемые негодующими криками нетерпеливой публики.

Конечно, скудность фантазии борцов мешает им проделать вышеозначенный прием, и они ограничиваются тем, что возятся бесплодно на ковре, заботливо предостерегая друг друга от падения на обе лопатки раньше срока.

Время от времени борец «возмущается некорректностью противника». Этот прием заключается в следующем: один борец хватает другого за нос или дергает за ухо... Потерпевший делает оскорбленное лицо и нервно подходит к судейскому столу, вступая с судьей в тихий энергичный разговор, прерываемый размашистыми жестами.

Борец. Когда же вы отдадите мне три рубля, которые занимали на один день?! (Указывает рукой на противника и касается своего уха.)

Судья. Ей-Богу, сегодня нет. Завтра отдам. (Качает укоризненно головой по направлению другого борца.)

Борец. Вы каждый день говорите завтра, а я что-то своих денег не вижу... (Грозит кулаком противнику и показывает рукой за кулисы, подчеркивая этим, что уйдет и бороться с таким человеком не будет.)

Судья. Завтра у меня маленькая получка, и я отдам. (Энергичный жест рукой по направлению к ковру.)

Публика (волнуясь). В чем дело?

Арбитр (приближаясь к рампе). Борец Соловьев заявляет судье, что он отказывается от борьбы с грубым Корнацким. Судья обещал сделать Корнацкому выговор за некорректность.

На эти переговоры уходит минут пять. Время подползает к «полицейскому часу».

Противники снова сходятся, но арбитр не дремлет:

— Одна минута перерыва!

Ох... Почему не:

— Один год перерыва?! Почему не:

— Десять лет перерыва?! Как бы хорошо все отдохнули.

«1812 ГОД»

Пьеса Аркадия Аверченко

Действующие лица:

Аркадий Аверченко (редактор).

Драматург (драматург).

(Кабинет редактора. Он сидит за письменным столом в кресле. Стук в дверь.)

Арк. Аверченко. Можете войти.

Драматург. Да я и вхожу. Вы редактор? Ладно. Садитесь, пожалуйста.

Аверч. Я уже и сижу.

Драм. Ну, тогда и я сяду. Должен вам сказать, что я драматург.

Аверч. Не отчаивайтесь. Как говорит русская пословица: от тюрьмы да от сумы не отказывайся. Выпейте воды. Могу признаться, что многие в вашем положении держали себя гораздо бодрее.

Драм. Я сейчас только от зятя. Это прямо какой-то психопат! Спрашиваю: «Пишешь пьесу о Наполеоне?» — «Нет, не пишу». Как вам это понравится?!

Авер. (с убеждением). Форменный кретин.

Драм. Не правда ли? Прямо-таки дурак.

Аверч. (с тою же убежденностью). Дурак и свинья.

Драм. Ну, вот. Так, видите ли, написал я пьеску; назвал ее «Великий полководец». Вы ведь знаете, что Наполеон был очень и очень недурным полководцем.

Аверч. (недоверчиво). Ну, что вы говорите!

Драм. Ей-Богу. Я об этом где-то читал. Говорят даже, что он был императором! Вы подумайте: из простых консулов — да в императоры! А возьмите наших теперешних консулов — подумать стыдно. Как говорится: ни кожи, ни рожи. Я слышал как-то о нем анекдот, что он своих братьев королями поделал. Как говорится: и смех и грех.

Аверч. (меняя исторический разговор). Хорошую пьесу написали?

Драм. Пьеса как пьеса. Как говорится, не лаптем щи хлебаем.

Аверч. Гм... Это хорошее правило. По источникам писали?

Драм. Чего-с?

Аверч. Я говорю: когда пьесу писали — источниками пользовались?

Драм. Помилуйте! Все лето на Кавказе провел.

Аверч. Значит, не пользовались?

Драм. Именно, пользовался.

Аверч. Разве... там... можно... найти?

Драм. Дитя! Видно, вы никогда не бывали на Кавказе: Эссентукский, Железноводский, Нарз...

Аверч. Мерси, я вас понял. Не можете ли вы в кратких словах рассказать содержание пьесы?

Драм. Пожалуйста. Знаете ли вы, что Наполеон был в Москве?

Аверч. Изредка до меня доносились смутные слухи, но я не придавал им никакого значения!

Драм. Напрасно! Это факт! Он был там. Я узнал также, что в это время была сожжена Москва!

Аверч. Ужасная неприятность. Застраховано?

Драм. В том-то и дело, что нет. И представьте, французы любовались на это с птичьего полета.

Аверч. (недоумевает). Почему... с птичьего.

Драм. Ну, да. У москвичей очень своеобразный язык: они называют это — «с Воробьевых гор». Парафраз.

Аверч. (бормочет под нос). Пара фраз, а какие глупые.

Драм. Что вы говорите?

Аверч. Я говорю — с нетерпением жду дальнейшего!

Драм. Да-с. И вот стоят они и любуются на пожар Москвы. Наполеон со штабом. Вся его свита: Марат, Дантон, Мей, Бонапарт, Барклай-де-Толли...

Аверч. Позвольте, позвольте! Какой Марат?

Драм. Известный. Тот, которого потом убила Шарлотта Корде.

Аверч. Простите, она его не потом убила, а раньше.

Драм. Как раньше? Как же он мог быть на пожаре Москвы, если раньше. Труп его возили, что ли?

Аверч. Да дело в том, что с Наполеоном был не Марат, а Мюрат.

Драм. Да? Ну, как говорится: «Не вмер Данила, болячка задавила». Сойдет.

Аверч. Потом у вас тут в штаб затесалась какая-то странная личность: Бонапарт.

Драм. Ну да? Что вас так удивляет?

Аверч. Бонапарт-то... Ведь это и есть Наполеон.

Драм. Еще что выдумаете! Был генерал Бонапарт и был император Наполеон.

Аверч. Но, клянусь вам, что это одно и то же лицо!! Его так и звали: Наполеон Бонапарт.

Драм. Э, черт! То-то я смотрю, что они все вместе были: куда Наполеон, туда и Бонапарт. Я, признаться, думал, что это его адъютант. Вот досада!

Аверч. Почему вы досадуете?

Драм. Да, как же! Я ведь Бонапарту совсем другой характер сделал. Он у меня холерик, а Наполеон сангвиник; они часто спорят между собой, и Бонапарт даже, однажды, впал в немилость. Ведь тут у меня любовная интрига! Оба они влюбляются в одну и ту же помещицу. Помещица у меня такая есть: Афросимова. Она тоже хотела бежать из Москвы, но на полдороге, благодаря недостатку бензина, была перехвачена.

Аверч. (растерялся). Какой бензин? Зачем?

Драм. (хладнокровно). Бензин. Автомобильный. Представьте, на полдороге недостаток бензина, порча карбюратора...

Аверч. Вы можете мне довериться?

Драм. (с беспокойством). А... что?

Аверч. Тогда автомобилей не было.

Драм. (растерялся). Ну, что вы?! Не было! Какой удар! А что же было?

Аверч. Лошади были.

Драм. Да ведь у меня весь эффект четвертой картины на автомобиле построен. Мотор налетает на дерево, останавливается, в это время непобедимая наполеоновская гвардия выскакивает и бросается на помещицу, но тут как из земли вырастает телефонист Падекатров с партизанами, которые...

Аверч. Э, э!.. Постойте! Какой телефонист?

Драм. Такой, знаете. На телефоне. В те старые времена о телефонистках еще и не слыхивали... Были телефонисты.

Аверч. В те старые времена и о телефоне тоже не слыхивали. Его не было. Он изобретен лет семьдесят спустя.

Драм. (он осунулся). Какой удар! Какой удар! А у меня на этом все построено. Понимаете, все телефонисты разбежались со станции, остался один мой герой. И что же! Он подслушивает распоряжения Наполеона, передаваемые Бонапарту, Барклаю-де-Толли и другим генералам, и потом доносит русским о всех передвижениях неприятельских войск. Потом, разоблаченный, отбивает у неприятеля пулемет и мчится на паровозе прямо к Пскову, где...

Аверч. (жестким тоном). Пулеметов не было, паровозов не было. И потом, почему у вас Барклай-де-Толли затесался к французам?

Драм. Да он кто?

Аверч. Русский полководец.

Драм. Чудеса! Как говорится: чудеса в решете. А фамилия у него, тово... гм... Я было и Багратиона хотел к французам, а потом вижу, что он же и Мухранский — э, думаю, осади назад. (Тоскливо.) А Наполеон принимал у себя русских полководцев или не принимал?

Аверч. Не принимал.

Драм. А у меня принимает. Перед ним, знаете ли, выстроились русские полководцы: Куропаткин, Каульбарс, Гриппенберг, Штакельберг, а он осмотрел их и сказал историческую фразу: «С такими молодцами, да не победить русских! Это было бы невозможно». Теперь уж я и сам вижу, что у меня немного напутано. Потом, у меня тут Наполеону доставляют в палатку карикатуру на него, напечатанную в «Сатириконе»... (Уныло.) «Сатирикон»-то был?

Аверч. Как вам сказать: этого тоже не могло случиться. Петрониевский «Сатирикон» хотя и был, но Петроний уже в то время умер, а петроградского «Сатирикона» и совсем не было.

Драм. Боже, Боже! Удар за ударом... Неужели из-за этих мелких промахов должна пропасть вся пьеса... Все мои боевые картины: и пожар Березины, и седанский разгром, и бегство Наполеона с полуострова Св. Елены?

Аверч. (с интересом). Березина разве горела?

Драм. Со всех четырех концов! Вы себе представить не можете, что это было за необычайное, эффектное зрелище.

Аверч. (деликатно). Старожилы рассказывают, что Березина... гм... в сущности, река.

Драм. Вздор! Как же она могла гореть?

Аверч. Она и не горела. Она в этом отношении солидарна с полуостровом Св. Елены, который не только не горел, но даже более того — остров.

Драм. Ну знаете, об этом мы поспорим; может быть, Св. Елена и остров, но не весь же остров, черт возьми, занимал Наполеон. Совершенно ему достаточно было и полуострова.

Аверч. Значит, половина острова, по-вашему, — полуостров?!

Драм. Логика говорит за это.

Аверч. (долго сдерживаемая ярость в сердце его прорывается наружу; он вскакивает, хватает драматурга за шиворот, трясет). Это уже слишком, негодяй! Я вижу, ты совершенно не знаешь истории! Ты не знаком с техникой! Ты даже не слышал о логике!!.. Географию ты знаешь не больше любой извозчичьей клячи!!.. И ты берешься писать пьесу о Наполеоне, об Александре Македонском прошлого века!!!

Драм. (падает в кресло; с сожалением). Вот Александра Македонского я и забыл вывести... Как говорится: «Слона-то я и не приметил!»

МУЗЫКА В ПЕТЕРГОФЕ

Концерты придворного оркестра под управлением Г.И. Варлиха

Когда я сижу перед эстрадой и слушаю хорошую музыку в прекрасном исполнении, когда я вижу около себя публику, часть которой упорно, не мигая, смотрит на надутую щеку тромбониста (музыкальные натуры), а другая часть ведет разговор о вчерашнем дожде (равнодушные), я всегда вспоминаю один случай, в котором как раз была замешана публика и музыка.

Я и один из моих друзей, окруженные роем барышень, дам и их мужей, слушали однажды симфонический оркестр.

Когда играли «Лунную сонату», то одна из дам рассказывала, как она на днях поругалась в конке с кондуктором, а «Смерть Азы» Грига заставила ее вспомнить, что ее горничная до сих пор не пересыпала нафталином зимние вещи.

Не желая отставать от этой дамы, ее муж, обладавший лирической натурой, рассказал под аккомпанемент увертюры к «Тангейзеру», как он предчувствовал смерть своей бабушки и как он три дня ничего не ел и не пил, узнав, что эта бабушка отошла в лучший мир...

Растроганная пятой симфонией Чайковского, лиловая барышня все добивалась ответа у серого молодого человека:

— Почему он такой задумчивый? Не потому ли, что вчера он не приехал, как обещал, к ним в Тярлево, и не потому ли, что вчера же его видели с какой-то высокой дамой? Пусть он скажет: почему он такой задумчивый?

Эти вопросы так волновали барышню, что заняли весь промежуток — от начала до конца — пятой симфонии и захватили даже кусок 2-й рапсодии Листа.

Серый молодой человек, улучив минуту, перехватил себе остаток рапсодии и на ее фоне нарисовал незатейливый рисунок, смысл которого состоял в том, что дама эта — подруга его сестры, а сам он не мог быть потому, что у него болела голова и ломило ноги.

Когда же последняя нота в этом отделении концерта была сыграна, дама и ее муж, и лиловая барышня, и серый молодой человек, и другие, которые были с нами, обрушились таким громом аплодисментов, что дирижер подпрыгивал от сотрясения воздуха, как мячик, а музыканты с гордым, самодовольным видом поглядывали друг на друга, подмигивая один другому:

— Видал? Наконец-то нас оценили по достоинству!

Лирический муж кричал:

— Браво!

Лиловая барышня и молодой человек, у которого болела голова и ноги, в полном экстазе шли дальше и кричали:

— Бис!!

Когда восторги утихли, я посмотрел в глаза дамам и лирическому мужу и спросил:

— Вам это нравится?

— Да! Это очаровательно!

— Разве можно не любить музыку?! — сказал муж.

— Невозможно, — сказал солидно молодой человек.

— Музыка — это восторг, — пискнул сзади кто-то, кого до сих пор никто не мог разглядеть из-за толстой дамы.

Тогда я сделал знак моему другу и завел с ним музыкальный разговор:

— Я тоже люблю музыку! Помнишь, Коля, это печальное скерцо Бетховена...

И я затянул какой-то бессмысленный мотив:

— Тра-ла-ла-ла!.. Тра-ла!..

— Как же! — подхватил Коля. — Но мне больше нравится вторая часть его «Венгерских несен Брамса»: Рра-та-та-та-дарм-рам-рам!.. Помнишь?

— Как же. Это це-мольная?

— Она самая.

— Ах, Бетховен! — благоговейно вздохнула лиловая барышня.

— Не скажите... — возразил серый господин. — Шуберт тоже...

— Что — Шуберт? — сурово спросил я.

— Тоже... есть у него... вещички.

— Сухой педант ваш Шуберт, — сказал вдруг Коля. — Разрешение диссонансов у него — вы заметили? — всегда строго согласовано с контрапунктом, но в нем нет той ажурности рисунка, того проникновения задачей и той концепсии в мажорах, как у Гайдна.

— Гайдна звали Иосиф, — сказала барышня.

— Совершенно верно, сударыня. Помните у него это мощное начало: трада-рам-рам, ра рам! Которое потом сразу падает в тихое мелодичное фортиссимо: тра-ла-бам! Ла-ла-ла! Ба-бам! В этом месте у него особенно хороши деревянные инструменты... Помните? — спросил строго Коля.

— Помню, — робко сказала барышня.

Мы долго и горячо толковали о музыке.

Когда возвращались домой, лирический муж взял меня под руку и, глядя на луну, тихо сказал:

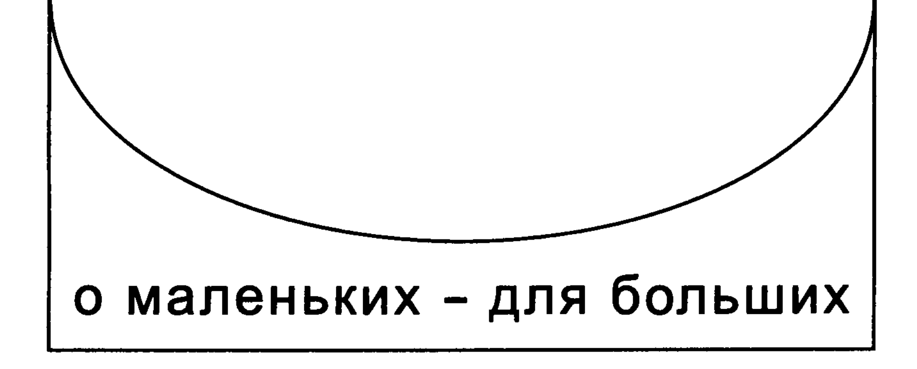
— Музыка... Как она облагораживает... Вот вы, очевидно, знаток... Так скажите же мне, пожалуйста: почему музыка так облагораживает?

Я вспомнил эту незамысловатую историю, сидя перед эстрадой в Новом Петергофе.

Прекрасный оркестр, тонкий интеллигентный дирижер Варлих, громадный незаметный труд, затраченный им и музыкантами на достойную передачу гениальных творений, — все это было для него, для того, который в этот вечер сидел сзади меня и под звуки Сибелиуса рассказывал своему знакомому:

— А то такой случай был: приказал я прачке поставить самовар, а она, стерва, пошла за углями и пропала!.. Жду я ее, жду, представьте себе, жду...

ВОЛЧЬИ ЯМЫ
(1915)





СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОЕННОМУ ДЕЛУ
(*Из жизни малой прессы*)

Прежний «военный обозреватель» поссорился с редактором и ушел.

Он обиделся на редактора за то, что последний сказал ему:

— Какую вы написали странность: «Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них». Что значит «их в них»?

— Что же тут непонятного? Направляя их в них — значит, направляя блиндажи в русских!

— Да разве блиндаж можно направлять?

— Отчего же, — пожал плечами военный обозреватель, — ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону.

— Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть?

— Отчего же... — конечно, кто хочет — может выстрелить, а кто не хочет — может не стрелять.

— Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж — нечто вроде пушки?

— Не по-моему это, а по-военному! — вспылил обозреватель. — Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы: «Русские стреляли из блиндажей», «немцы стреляли из блиндажей»... Осел только не поймет, что такое блиндаж!

Редактор догадался, на кого намекает обозреватель, и обиделся.

— Не знаю, кто из нас осел. Почему же в «Военном скакуне» обореватель пишет такую фразу: «Немцы прятались в блиндажах». Что ж они, значит, по-вашему, в пушках прятались, что ли?

— Почему же нет? Если орудие, скажем, восемнадцатидюймовое, а средний солдат, имея объем груди, согласно правилам воинского распорядка частей внутреннего согласования армий, которое... которое... Э, черт! Взял просто человек и залез в пушку.

— Сел в лужу наш военный обореватель, — вступил в разговор корреспондент из Копенгагена. — Блиндаж — это нечто вроде солдатской галеты. Иностранное слово. Происходит с русинского. Блин даже. Так сказать, даже блин, и тот идет в ход. Я сам читал корреспонденцию, что немцы без блиндажа ни на шаг. Ясно — галеты. Любят, черти, покушать. Хотите, я сегодня из Копенгагена напишу об этом?

— Пожалуйста, — скривился военный обореватель. — Если вы в военных вопросах понимаете больше меня, ведите сами военный отдел. А я вам больше не писарь.

Взял он свое пальто, шляпу, два рубля долгу из конторы и ушел.

* * *

Редактор привез нового военного обозревателя.

Все сотрудники высыпали смотреть на него.

Поглядывали с тайным страхом — вдруг человек возьмет да и начнет стрелять в них. Все-таки военный обореватель, имеющий дело с разными шрапнелями, мортирами и блиндажами.

Но новоприбывший военный обозреватель оказался на редкость милым, скромным человеком.

Улыбнулся всем, а молодому секретарю сказал даже комплимент:

— Какие у вас хорошие ботиночки!

— Да, — самодовольно согласился секретарь. — Почти новые. Второй год всего ношу.

— О чем будете писать нынче? — спросил редактор.

— Об Италии.

— Почему именно об Италии?

— Да давно хотелось написать. Тем более что она имеет на карте такую забавную форму.

* * *

Появилась статья военного обозревателя об Италии.

Она начиналась так:

«Италия имеет форму сапога. — Капо-спартивенто — это его носок, Капо-С. Мария — его каблук. Средняя часть подметки образуется из залива Таренто. К сожалению, мы не можем точно обрисовать верхнюю часть сапога, так как верхушка голенища сливается с материком, а ушки должны быть где-нибудь между Сицилией и Венецией. Что же касается подъема этого сапога, то...» и т. д. и т. п.

Статья была очень оригинальная и в редакции произвела известное впечатление.

* * *

— А о чем вы нынче думаете? — спросил редактор.

— Написать о чем? Думаю написать статью о состоянии обуви во французской армии.

— Разве это такой важный вопрос?

— Обувь-то? Это — все. Обуйте солдата как следует, и он сделает чудеса.

На следующий день появилась новая статья нашего военного обозревателя.

Она начиналась словами:

«Многим, вероятно, интересно, как обута французская армия. Обувь французов состоит из...» и т.д. и т.п.

Эта статья оставила у всех какое-то странное впечатление узости освещения затронутого вопроса и поразила обилием специальных непонятных терминов. Впрочем, редактор утешил себя:

— Ничего не поделаешь — специалист.

А вечером спросил:

— А завтра о чем будет?

— Думаю коснуться состояния обуви в австрийской армии.

— Что вы все обувь да обувь? — нервно возразил редактор. — Напишите что-нибудь другое.

— Именно? — пугливо спросил новый обозреватель, огорченный редакторской нервностью.

— Ну... например, напишите о расположении австрийской армии...

— Слушаю-с.

* * *

На следующий день появилась статья:

«Расположение австрийской армии».

Начиналась так:

«Австрийская армия расположена сейчас в виде дамского ботинка, причем левый фланг образует собой как бы носок, а правый как бы верх ботинка. 3-й корпус стоит в виде высокого каблука, причем рантом его является»... и т.д. и т.п.

* * *

Прочтя эту статью, редактор рассвирепел.

Долго кричал на военного обозревателя:

— Что вы всюду тычете ваши сапоги, туфли и башмаки? Что это за военные статьи, ни одна из которых не обходится без каблука, ранта, подъема и носка? На плане расположение австрийской армии похоже на кочергу, а вы всюду хватаетесь за свой излюбленный сапог!

— Извините! — обиженно возразил новый обозреватель. — Я не кухарка какая-нибудь, чтобы сравнивать положение армии с кочергой.

— Но и не сапожник же, — завизжал редактор, — чтобы сравнивать армии с сапогом!

— Извините, — угрюмо прошептал новый обозреватель, — как не сапожник? Мне своей профессии стыдиться нечего. Сейчас я, конечно, приглашен вами на пост военного обозревателя, но раньше я действительно работал подмастерьем у сапожного мастера Василия Хромоногого.

* * *

И когда он, получив расчет и собрав свои вещи (пучок дратвы, две колодки и коробку вару), уходил, в глазах его читался кроткий упрек:

— За что? Чем я хуже других?

СТАРЧЕСКОЕ

Падают, падают желтые листья на серые, скользкие дорожки. Нехотя падают.

Оторвется лист и тихо, неуверенно колеблясь, цепляясь за каждую ветку, за каждый сук, падает, падает лист, потерявший все соки, свернувшийся, как согбенный старичок.

— Кхе-кхе...

Невеселую песню тянет тонким голосом запутавшийся среди черных голых ветвей ветер, тоже состарившийся с весны, когда было столько надежд и пышного ощущения своего бытия.

У черта на куличках теперь эти надежды и это пышное ощущение бытия!

Где та нарядная береза, которую он любил целовать в теплый задумчивый вечер, когда озеро гладко, как дорогое зеркало, а оттуда, где закат, доносится мирный, умилительный колокольный звон?

От березы остался грязный скелет, и сама она вместо гармоничного шелеста издает такой печальный скрип, что взять бы да и повеситься на ней от тоски и ужаса.

И еще упало несколько листьев. И еще...

— Кхе-кхе...

К вам, бедные старики человеки, обращаются мои взоры, и тоска давит сердце: ведь и я буду стариком.

Не хочется...

Как сухие листья, опадут мои нежные, шелковистые волосы — мои волосы! Как сучковатые ветви, станут мои гибкие сильные руки — мои руки! Уродливыми корнями уйдут в землю мои стройные ноги, каждый мускул которых напрягался и дрожал, когда несли они меня к любимой, — мои сильные ноги! Темная кора, вся в морщинах и царапинах, будет покрывать пригнувшееся к земле тело — мое тело, которое жадно целовали ненасытные женские губы.

Падайте, листья, пригибайся, ствол, — к земле, к земле! Уходи в землю, старый дурак, нечего тебе шамкать о каких-то любимых и любящих женщинах, кто тебя, корявую колоду, мог поцеловать?

— Да ведь целовали же! Целовали! Ну вот еще, ей-Богу, целовали... И как!

Бедные старики.

Не старик я, а буду стариком.

Богатая у меня фантазия, роскошная фантазия! Вот захочу сейчас, закрою глаза да и представлю себе ясно, как на солнце, отрывок, огрызочек моей старческой жизни.

Слушай, читатель.

— Кхе-кхе...

Шелковыми волосами, нежной щекой трется о мою заскорузлую, жилистую руку внук Костя, Саша или Гриша, как там его заблагорассудят назвать нежные родители.

— Дед, — говорит Костя, — что ты все спишь да спишь... Рассказал бы что-нибудь. Эй, ты!.. А еще, мамка говорит, что писателем был.

Мои потухшие глаза чуть-чуть загораются.

— А ведь был же! Ей-Богу, был! Помню, выпустил я как-то книжку «Веселые устрицы». Годов тому поди пятьдесят будет. Один критик возьми и напиши: «Этот, говорит, молодой человек подает надежды...»

— Подал? — спрашивает внук, с любопытством оглядывая морщинистого «молодого человека».

— Что подал?

— А надежды-то.

— А пес его знает, подал или не подал! Разве тут было время разбирать? Да ты сам взял бы какую книжку с полки, да почитал бы дедову стряпню, хе-хе-кхе... Кхе!

— Ну ее, — с наивной жестокостью детской ясной души морщится внук. — Еще недоставало чего! Почитать... Ничего я там не пойму.

А у меня уже и самолюбия авторского не осталось. Все старость проклятая выела.

Даже не обидно.

— Ну, чего ты там не поймешь? В мое-то время люди все понимали. Неужто уж умнее были?

— Нет, непонятно, — вздыхает внук. — Вдруг сказано у тебя там: «Приятели чокнулись, выпили по рюмке водки и, поморщившись, поспешили закусить. «По одной не закусывают», — крякнул Иван Иванович...» Ни черта, дедушка, тут не разберешь.

— Вот те раз! Чего ж тут непонятного?

— Да что это такое водка? Такого и слова нет.

Молодостью повеяло на меня от этого слова — водка.

— Водка-то, такое слово было.

— Что же оно значит?

— А напиток такой был. Жидкость, понимаешь? Алкогольная.

— Для чего?

— А пить.

— Сладкая, что ли?

— Эва, хватил. Горькая, брат, была. Такая горькая, что индо дух зашибет.

— Горькая, а пили. Полезная, значит, была? Вроде лекарства?

— Ну, насчет пользы — это ты, брат, того. Нищим человек от нее делался, белой горячкой заболевал, под заборами коченел.

— Так почему же пили-то? Веселым человек делался, что ли?

Я задумчиво пожевал дряхлыми губами.

— Это как на чей характер. Иной так развеселится, что вынет из кармана ножик и давай всем животы пороть.

— Так зачем же пили?

— Приятно было.

— А вот у тебя там написано: «Выпили и поморщились». Почему поморщились?

— А ты думаешь, вкусная она. Выпил бы ты, так похуже, чем поморщился...

— А почему они «поспешили закусить»?

— А чтоб вкус водочный отбить.

— Противный?

— Не без того. Крякать тоже поэтому же самому приятно было. Выпьет человек и крякнет. Эх, мол, чтоб ты пропала, дрянь этакая!

— Что-то ты врешь, дед. Если она такая противная на вкус, почему же там дальше сказано: «По одной не закусывают».

— А это, чтоб сейчас другую выпить.

— Да ведь противная?

— Противная.

— Зачем же другую?

— А приятно было.

— Когда приятно — на другой день?

— Тоже ты скажешь: «на другой день», — оживился я. — Да на другой день, брат, человек ног не потащит. Лежит и охает. Голова болит, в животе мутит и на свет божий глядеть тошно до невозможности.

— Может, через месяц было хорошо?

— Если мало пил человек, то через месяц ничего особенного не было.

— А если много, дед, а? Не спи.

— Если много? Да если, брат, много, то через месяц были и результаты. Сидит человек с тобой и разговаривает, как человек. Ну а потом вдруг... трах! Сразу чертей начнет ловить. Смехи. Хи-хи. Кхе-кхе!

— Ка-ак ловить? Да разве черти есть?

— Ни шиша нет их и не было. А человеку кажется, что есть.

— Весело это, что ли, было?

— Какой там! Благим матом человек орал. Часто и помирали.

— Так зачем же пили? — изумленно спросил внук.

— Пили-то? Да так. Пилось.

— Может, после того как выпьют, добрыми делами занимались?

— Это с какой стороны на какое дело взглянуть. Ежели лакею физиономию горчицей вымажет или жену по всей квартире за косы таскает, то для мыльного фабриканта или для парикмахера это — доброе дело.

— Ничего я тебя не понимаю.

Внук накрутил на палец кольцо своих золотых волос и спросил, решив, очевидно, подойти с другой стороны:

— А что это значит «чокнулись»?

— А это делалось так: берет, значит, один человек в руку рюмку и другой человек в руку рюмку. Стукнут рюмку о рюмку, да и выпьют. Если человек шесть-семь за столом сидело, то и тогда все перестукаются.

— Для чего?

— А чтобы выпить.

— А если не чокаться, тогда уж не выпьешь?

— Нет, можно и так, отчего же.

— Так зачем же чокались?

— Да ведь, не чокнувшись, как же пить?

Я опустил голову, и слабый розовый отблеск воспоминаний осветил мое лицо.

— А то еще, бывало, чокнутся и говорят: «Будьте здоровы», или «Исполнение желаний», или «Дай Бог, как говорится».

— А как говорится? — заинтересовался внук.

— Да никак не говорится. Просто так говорилось. А то еще говорили: «Пью этот бокал за Веру Семеновну».

— За Веру Семеновну, — значит, она сама не пила?

— Какое! Иногда как лошадь пила.

— Так зачем же за нее? Дед, не спи! Заснул...

А я и не спал вовсе. Просто унесся в длинный полуосвещенный коридор воспоминаний.

Настолько не спал, что слышал, как, вздохнув и отойдя от меня к сестренке, Костя заметил соболезнующе:

— Совсем наш дед Аркадий из ума выжил.

— Кого выжил? — забеспокоилась сердобольная сестра.

— Сам себя. Подумай, говорит, что пили что-то, от чего голова болела, а перед этим стукали рюмки об рюмки, а потом садились и начинали чертей ловить. После ложились под забор и умирали. Будьте здоровы, как говорится!

Брат и сестра взялись за руки и, размахивая ими, долго и сочувственно разглядывали меня.

Внук заметил, снова вздохнув:

— Старенький, как говорится.

Сестренке это понравилось.

— Спит, как говорится. Чокнись с ним скалкой по носу, как говорится.

— А какая-то Вера Семеновна пила, как лошадь.

— Как говорится, — скорбно покачала головой сестренка, — совсем дед поглупел, что там и говорить, как говорится.

Никогда, никогда молодость не может понять старости.

Плохо мне будет в 1954 году, ох, плохо!.. Кхе-кхе!..

КОРНИ В ЗЕМЛЕ

Толстый человек, отдуваясь и тяжело дыша, утирал громадный лбище громадным клетчатым платком и, делая после каждого слова антракт в виде глубокой передышки, говорил:

— Это (передышка) как же (передышка) будет (передышка) теперича?

— А что? — недоуменно поднял я голову.

— Значит, это выходит, что жить не по-хорошему нужно, не в браке, а в разврате — да? В гнусности — да?

— Именно?

— Раз свадьбы не сделаешь — что ж оно выйдет? Ясное дело.

— Какой свадьбы?

— Какая бывает. Между двумя.

— Которыми?

— Вообще. Барышня, скажем, и кавалер.

— Ну?

— Между ими, говорю.

— Так кто ж им мешает жениться?

— Без свадьбы-то?

— Со свадьбой!

Толстяк охнул и, как кит, выпустил из ноздрей струю воздуха, поколебавшую гардину на окне.

— Где же это вы, скажите на милость, свадьбу теперь увидите?

— А что? Пост?

— Тоже вы скажете — пост. Пост дело проходячее: пост ни при чем.

— А что не «проходячее»?

— Читали, что всякое питье хотят уничтожить?

— Читал. Прекрасная мысль.

— Умники вы!.. Новомодные танцоры. Шаркуны, трамблям... Вот и выдумываете бо-зна-что!

— Однако при чем тут свадьба?

— О, Господи ж! Да какая христианская душа без выпивки свадьбу справит? Ведь куры ж засмеют. Господи, Господи!

— Какой вздор. Обряд бракосочетания не требует выпивки.

— Так-с. Вы по-умному все, по-балетному рассуждаете. А дозвольте вас спросить: вернумшись?

— Что такое — «вернумшись»?

— Вернумшись с этого «бракосочетания», как вы выражаетесь, что они должны делать?

— Молодые?

— Да-с. И молодые, и старые.

— Чай пить.

— Это на свадьбе-то?! Да пригласи меня человек на такую свадьбу — я и ему, и его невесте всю прическу чаем ошпарю!

— Пусть не приглашает.

— Это меня-то? Дядю-то? Кто его после такого поступка лечить будет?

— Однако, согласитесь сами, что таким образом для вашего племянника создается безвыходное положение.

— То есть для племянницы. И верно, что безвыходное. Где уж тут замуж выходить при этом самом. Позор один, смехота.

— Не понимаю, почему. Будто все дело в выпивке.

— Ну, вот и говори с ним. Свадьба это али нет?

— Свадьба.

— Музыка должна быть? Туши она должна играть? Под какой же дьявол она будет играть туши, ежели выпить нечего? За мое-то здоровье, за дядюшкино, должны пить или, может быть, скажете — не должны? За молодых должны пить или не должны? Керосин пить будут, клюквенный сироп? Молодым должны кричать «горько!» или не должны? А где ж тут горько? От чего? От чего?! От моржовой воды?!!

— Что это за моржовая вода?

— Лечебная. С пузыречками. Орел на этикетке.

— Боржом!

— Это все едино. Пить я его не буду...

— Ну и что же?

— Так вот, при таких обстоятельствах, я вас спрашиваю, что это получится: свадьба или похороны? Чем молодые потом такой день вспомнят? Похороны? Да теперь и похороны тоже... Доведись на меня — никогда бы я при таких делах не похоронился.

— Похоронят! И спрашивать не будут.

— Разве что. А только вот уж всякий на таких похоронах скажет: «Собаке собачья смерть». И действительно!

Он всплакнул в платок, высморкался и обратил на меня маленькие покрасневшие глаза.

— Простите вы меня, сырой я. Так вот вам какие похороны. Певчие без водки злые, как собаки, петь будут безо

всякой чувственности, поминальщики за блинами, за пирогами не поплачут, как раньше, а еще по трезвому делу так ругнут, так обложат покойничка, что он, как шашлык на шампуре, завертится в гробу. А детки!.. Эти ангелочки малые...

Он снова полузаплакал в платок, полувысморкался.

— Детки, говорю я... Так некрещеными им, значит, и ходить? Ни нашим, ни вашим, да?

— Ну, уж крестины, простите...

— Нет, это уж вы мне простите! Не желаю я вам прощать — лучше уж вы мне простите! Это какие же такие крестины должны получиться, когда за здоровье младенца, за евонную мамыньку, за крестных — так уж и не выпьет никто?! Это вы как понимаете? Да ведь после таких крестин младенец и лапки кверху задерет.

Я засмеялся.

— Выживет.

— Выживет? Почему выживет? Потому что пусть лучше некрещеным бегает, чем...

Очевидно, глаза его устроились в свое время на сыром, болотистом месте. При легоньком нажатии платка в этих двух кочках проступала обильная вода.

Высморкавшись особенно щеголевато и громко, он сказал с грустной мечтательностью:

— Ну конечно, что же это за жизнь. Так и будут ходить — некрещеные, не венчанные, не погребенные... И помирать скверно, и жить не сладко.

И вдруг, вспомнив что-то, с новой энергией застонал толстяк:

— А праздники!! А Рождество и Пасха?! Пришел ко мне, скажем, Семен Афанасьич. «Драсьте — драсьте». — «Понравилась ли вам заутреня? Пожалуйте к столу». Крякнет Семен Афанасьич, потрет руки, пригладит усы, подойдет к столу... (он всхлипнул), подойдет это он к столу — ветчина тут, поросеночек, колбаса жареная, птички разные разрумяненные... И что же! Все это по столу стелется, все это низко, простите! А где же вершины духа человеческого? Где же эти пирамиды, обелиски, радующие взоры и уста! Как же может Семен Афанасьич съесть поросеноч-

ка? Как ему в глотку полезет жареная колбаса? Как у него подымется рука золотистенький грибок в рот отправить? Да не сделает же этого Семен Афанасьич! Не такой это он человек. Выронит вилку, шваркнет хлебцем, уже заранее для первой рюмки приготовленным, в поросенка, плюнет на стол н уйдет. Это Рождество, по-вашему? Это Пасха? Это колокольный звон или ваше трам-блям?!! Нечистый возрадуется — и горько восплачем мы! Да я в такой праздник сейчас же работать, как в буденный день, пойду. Знаете вы это? Что мне такое праздник? Да вам самим лучше меня занять работой в такой праздник, а то ведь я на людей бросаться буду, кусаться буду, землю ногами рыть!! Ведь раньше, вы подумайте, что было: с утра собираешься, чтобы пить, потом пьешь, потом опохмеляешься, тошнит, значит, тебя, голова болит — ан, смотришь, день и прошел. А нынче что я буду делать? Пойду да Семену Афанасьевичу стекла и побью.

— Это зачем же? — удивился я такому странному заключению.

— А с досады. Двадцать лет мы с ним вместе пьем — так это как вынести? Да уж что там о праздниках говорить... А будни! А моя работа?! Подрядами я занимаюсь. Как же я с нужным человеком дело сварганю, как я его удовлетворю — лимонным сюропом или голланцким какаом? На голову он мне выльет сюроп. Да ну вас!!! — вдруг махнул он рукой. — Пойду. Доведете вы меня когда-нибудь до кондрашки...

Ушел, не забыв надавить красным платком свои водоточащие кочки...

* * *

Вчера этот толстяк явился ко мне, размахивая огромной простыней петроградской газеты.

— Сдаетесь? — улыбнулся я.

— Это как же-с?

— А что же это вы белым флагом размахались?

Он был светел. Сиял.

— Нет, уж пусть кто другой сдается. А мы еще повоюем.

— С чего это так воссияли?

— А вот. Видали? (Ткнул в газету пальцем, похожим на старую морковь.) Сказано, что в скором времени открывается продажа водки для технических целей!!!

— Так ведь для технических же?

Он призадумался, немного обеспокоенный.

— А это что же, по-вашему, обозначает?

— Значит, не для питья.

— А куда ж ее?

— Ну, там... для научных препаратов, для парфюмерии, для лекарств.

— Толкуйте! Тогда бы о спирте говорилось, а тут ясно сказано: «водка».

Я не хотел сдаться:

— Все-таки, «для технических целей» сказано. Я еще понимаю, если бы продавали крепкие виноградные... Тогда бы...

— Попались, батенька! Вон что дальше сказано: «Будет допущена продажа крепких виноградных вин для технических целей»... Какие же это, простите, технические цели — для мадерцы, токайского или мартеля, три звездочки. Одна только техническая цель — купить бутылочку и высмоктать ее.

Я смутился:

— Да... Это что-то непонятное. Впрочем, если сказано: «для технических целей», то, очевидно, зря никому из частных лиц продавать не будут.

Он прищурился.

— Так-с? А кому же будут?

— Очевидно, техникам.

— Так поздравляю вас! — захихикал он. — Отныне, значит, вся Россия техниками обрастет.

— Каким образом?

— Для водки-то? Да для водки любой человек таким техником сделается, что только руками разведете. Ну, прощайте! Бегу.

— Куда?

— А к другим техникам — новость сообщить. Эй, Глаша! Скажи технику Гавриле, чтобы подавал. Поеду к технику Семену Афанасьичу. Спасибо, Глаша! Вот тебе на технику полтинник!..

СПИРТНАЯ ПОСУДА

I. Крушение надежд

— Знаете, Илья Ильич, гляжу я на вас— и удивляюсь. Как вы это, доживши до сорока лет...

— Что вы! Мне пятьдесят восемь.

— Пятьдесят восемь?!! Это неслыханно! Никогда бы я не мог поверить — такой молоденький!.. Так вот я и говорю: как это вы доживши до... сорока восьми лет, сумели сохранить такую красоту души, такую юность порывов и широту взглядов. В вас есть что-то такое рыцарское, такое благородное и мощное...

— Вы меня смущаете, право...

— О, какое это красивое смущение — признак скромной девичьей души! И потом, вы знаете, ваше уменье говорить образными, надолго западающими в сердце фразами — как оно редко в наше время!

— Ну что вы, право!

— Ну вот, например, эта краткая, но отчеканенная, отшлифованная, как бриллиант, фразочка: «Ну что вы, право». Сколько здесь рыцарской застенчивости, игривого глубокомыслия, детской скромности и умаления себя! А ведь фразочка — короче воробьиного носа. «В немногом многое», как говорил еще Герострат. Неудивительно, что беседа с вами освежает. Потом, что мне нравится — так это ваши детки, умные, скромные и такие способные-преспособные. Например, старшенький — Володя. Помилуйте! Ведь это образец! Кстати, что это его не видно...

— В тюрьме сидит, за растрату.

— Ага. Так, так. Ну, дай Бог, как говорится. Младшенький тоже достоин всякого удивления. Вся гимназия, как говорят, не могла на него надышаться...

— Теперь уже она может надышаться. Вчера его только выгнали из гимназии за дебош.

— Ага... Ну, так о чем я, бишь, говорил? Да! Какая черта вашего характера кажется мне преобладающей? А такая: что вы готовы последним поделиться с ближним. Например, на прошлой неделе вы как-то вскользь сказали мне, что у вас есть бутылка водки. И что же! Приди я к вам сей-

час и скажи вам: «Илья Ильич! У меня завтра обручение дочери и именины жены — уступите мне свою бутылочку» — да ведь вы и слова не возразите. Молча пойдете в свое заветное местечко...

— Нет, простите, водки я вам дать не могу.

— Это еще почему?

— Не такой это теперь продукт. Отец родной если будет умирать — и тому не дам. Так что уж вы того... Извините... Жену могу отдать, детей, а с бутылочкой этой самой не расстанусь.

— Очень мне нужен этот хлам — ваша жена и дети! А я-то дурак, перед ним, перед сквалыгой, скалдырником, разливаюсь. Только время даром потерял. И что это за преподлый народишко пошел!! Что? Руку на прощанье? Ногу не хочешь ли?! Отойди, пока я тебя не треснул!

II. Великосветский роман

— Баронесса! Вы знаете, что мое сердце...

— Довольно, князь! Ни слова об этом. Я люблю своего мужа и останусь ему верна.

— Ваш муж вам изменяет.

— Все равно! А я его люблю.

— Но если вы откажетесь быть моею, я застрелюсь!

— Стреляйтесь.

— А перед этим убью вас!

— От смерти не уйдешь.

— Имейте в виду, что вашим детям грозит опасность!

— Именно?

— Если вы не поедете сейчас ко мне, я принесу когда-нибудь вашим детям отравленных конфет — и малютки, покушав их, протянут ноги.

— О, как этот изверг меня мучает!.. Но... будь что будет. Лучше лишиться горячо любимых детей, чем преступить супружеский долг.

— Ты поедешь ко мне, гадина!!

— Никогда!

— А если я тебе скажу, что у меня в роскошной шифоньерке с инкрустациями стоит полбутылки водки с белой головкой?!!

— Князь! Замолчите! Я не имею права вас слушать...

— Настоящая, казенная водка! Подумайте: мы нальем ее в стаканчики толстого зеленого стекла и... С куском огурца на черном хлебе...

— Князь, поддержите меня, я слабею... О, я несчастная, горе мне! Едем!!

Через две недели весь большой свет был изумлен и взбудоражен слухом о связи баронессы с распутным князем...

....

О, проклятое зелье!

III. За столом богатого хлебосола в — будущем

— Рюмочку политуры!

— Что вы, я уже три выпил.

— Ну, еще одну. У меня ведь Козихинская, высший сорт... Некоторые, впрочем, предпочитают Синюхина и К°.

— К рыбе хорошо подавать темный столярный лак Кноля.

— Простите, не согласен. Рыба любит что-нибудь легонькое.

— Вы говорите о денатурате? Позвольте, я вам налью стаканчик.

— Не откажусь. А это что у вас в пузатой бутылочке?

— Младенцовка. Это я купил у одного доктора, который держал в банках разных младенцев — двухголовых и прочего фасона. Вот это вот двухголовка, это близнецовка. Это — сердцепьянцевка. Хотите?

— Нет, я специальных не уважаю. Если позволите, простого выпью.

— Вам какого? Цветочного, тройного? Я, признаться, своими одеколонами славлюсь.

Гость задумчиво:

— А ведь было время, когда одеколоном вытирали тело и душили платки.

— Дикари! Мало ли что раньше было... Вон, говорят, что раньше политуру и лак не пили, а каким-то образом натирали ими деревянные вещи...

— Господи, помилуй! Для чего это?

— Для блеску. Чтобы блестели вещи.

— Черт знает что такое. И при этом, вероятно, носили в ноздре рыбью кость?

— Хуже! Вы знаете, что они делали с вежеталем, который мы пьем с кофе?

— Ну, ну?

— Им мазали голову.

— Тьфу!

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
(*Вариант «Леса» А.Н. Островского*)

Столб при дороге. На одной его стороне написано «Вена», на другой — «Берлин».

Слева показывается Вильгельм Второй. *Он бредет, опустив голову, видимо, усталый. Щеки давно не бриты, усы свисли на подбородок. Справа из лесу выходит* Франц-Иосиф... *На нем голубой галстук, коротенький пиджачок, короткие панталоны в обтяжку; на голове детский картузик, в руках небольшой пестрый узелок.*

Вильгельм (*мрачно!*). Аркашка!

Франц-Иосиф. Я, Геннадий Демьяныч... Как есть, весь тут.

Вильгельм. Откуда и куда?

Франц-Иосиф. Из Вены в Берлин, Геннадий Демьяныч... А вы-с?

Вильгельм. Из Берлина в Вену, Аркашка. Ты пешком?

Франц-Иосиф. На своих-с, Геннадий Демьяныч. (*Полузаискивающе, полунасмешливо*). А вы-с, Геннадий Демьяныч?

Вильгельм. В карете!! (*Сердито*). Разве ты не видишь? Что спрашиваешь? Осел. (*Помолчав.*) Сядем, Аркадий!

Франц-Иосиф. Да на чем же-с?

Вильгельм (*усаживаясь на пень*). Я — здесь, а ты где хочешь... Что это у тебя в узле?

Франц — -Иосиф. Кольца сербского золота, медальоны, портсигары разные...

Вильгельм. Стяжал?

Франц-Иосиф. Стяжал, Геннадий Демьяныч, и за грех не считаю, потому — око за око. Сербы нас били, а мы зато их вещички... кхе!

Вильгельм. Что ж у тебя весь багаж только из портсигаров и состоит? Глупо, братец.

Франц-Иосиф. Зачем только из портсигаров... Бутафорские мелкие вещи есть, ордена...

Вильгельм. На кой же черт ты ордена с собой таскаешь?

Франц-Иосиф. А так... Вдруг наградить кого-нибудь понадобится, орденок пожаловать... Вам не прикажете, Геннадий Демьяныч?

Вильгельм. Чего?

Франц-Иосиф. Орденок пожалую... Желаете?

Вильгельм. На нос его себе нацепи!

Франц-Иосиф (*печально*). Извините-с.

Вильгельм. А платье у тебя где ж?

Франц-Иосиф. Вот, что на мне-с. В чем успел из Вены бежать...

Вильгельм. Так ты куда бежишь-то теперь?

Франц-Иосиф. А в Берлин, Геннадий Демьяныч!..

Вильгельм. В Берли-и-ин? Ну, брат, не советую. Нехорошо теперь там.

Франц-Иосиф. Почему же нехорошо, Геннадий Демьяныч?

Вильгельм (*угрюмо*). Так, брат Аркашка... Немецкие императоры (*с горькой усмешкой*) уж и не имеют права жительства в Берлине!.. Дожили...

Фрац – Иосиф. А вы в Вену?

Вильгельм (*со вздохом*). В Вену, брат Аркашка.

Франц-Иосиф. Да ведь теперь и в Вену тоже нельзя...

Вильгельм. Это еще почему?

Франц-Иосиф (*пытаясь сострить*). Да какая же теперь может быть «вена», Геннадий Демьяныч, если русские даже артерии наши все главные — перерезали.

Вильгельм (*грозно*). Аркашка! Не остри! Глупо.

Франц-Иосиф. Извините, Геннадий Демьяныч... Я думал развеселить вас. (*Долгое молчание*).

Вильгельм. Мы с тобой, Аркашка, когда последний раз виделись?

Франц-Иосиф. У меня, в Шенбрунне... Помните, Геннадий Демьяныч, еще мой юбилей был, и вы приезжали со всеми королями германскими поздравлять меня.

Вильгельм (*со вздохом*). Хорошие времена были. Ведь ты тогда в политике первых любовников играл. А теперь что?

Франц-Иосиф. Теперь я, Геннадий Демьяныч, волею судьбы, в комики перешел-с. Каково это для человека Габсбургской фамилии с возвышенной душой, Геннадий Демьяныч?

Вильгельм (*опустив голову*). Все там будем, брат Аркадий...

Пауза.

Вильгельм. Ты зачем это бакенбарды носишь?

Франц-Иосиф. А что же-с?

Вильгельм. Некрасиво! Немецкий ты человек, или нет? Что за гадость! Терпеть не могу. Отпусти усы такие, как у меня... Чтобы кверху торчали.

Франц-Иосиф. Да ведь они у вас кверху не торчат.

Вильгельм. Что ты врешь? Как так — не торчат?

Франц-Иосиф. Ей-Богу, Геннадий Демьяныч, книзу висят. Как мокрые-с, извините тряпицы...

Вильгельм. Ничего, брат Аркадий, не поделаешь. Был у меня бинт для усов — и хороший бинт, жена в день рождения подарила — да русские его вместе с обозом отбили. (*Устало.*) Я, брат Аркадий, там и на востоке и на западе расстроился совсем.

Франц-Иосиф. Почему-с?

Вильгельм. Характер, братец. Сам знаешь, человек я решительный — тянуть не люблю. А *они* разве понимают актерскую игру: на западном театре перессорился, поехал на восточный театр — и там перессорился... Хочу у вас на австрийском попытаться.

Франц-Иосиф. Да ведь и у нас то же самое... И у нас не уживетесь, Геннадий Демьяныч. Я вот тоже не ужился.

Вильгельм. Ты... тоже! Сравнил ты себя со мной.

Франц-Иосиф. Еще у меня характер-то лучше вашего, я смирнее.

Вильгельм (*грозно*). Чего-о?..

Франц-Иосиф. Да как же, Геннадий Демьяныч-с? Я смирный, смирный-с... Я никого не бил.

Вильгельм. Так тебя зато били, кому не лень. И всегда так бывает: есть люди, которые бьют, и есть люди,

которых бьют. Что лучше — не знаю; у всякого свой вкус.

Франц-Иосиф (*обидясь*). Да ведь у нас с вами, Геннадий Демьяныч, оказывается, одинаковый-то вкус.

Вильгельм. Ш-ш-што-ссс?!..

Франц-Иосиф (*робея*). Да вы же сами сказали, что... и на восточном театре... и на западном...

Вильгельм. Смеешь ты себя со мной равнять!! Тебя всю жизнь били, а меня...

Франц-Иосиф. А вас, Геннадий Демьяныч?

Вильгельм. Не раздражай меня, Аркадий!! Знаешь мой характер. (*Помолчав.*) А как я воевал! Боже мой, как я воевал!!

Франц-Иосиф (*робко*). Очень хорошо-с?

Вильгельм. Да так-то хорошо, что... Впрочем, что ты понимаешь! В последний раз, когда мы у Марны завязали бой — Наполеон Бонапарт, братец, является ко мне... подошел, положил мне вот этак руку на плечо и говорит: «Ты, говорит, да я, говорит... умрем, говорит»... Лестно!

Франц-Иосиф. Да ведь он уже и так умер, Наполеон-то.

Вильгельм. А? Умер, братец, умер. Царство ему небесное.

Франц-Иосиф. Так как же он... мог сказать-то?.. Мертвый?

Вильгельм. Глуп ты, брат Аркашка. Что ж, что умер! Во сне он мне и явился. Ты говорит, да я, говорит — умрем, говорит. (*Закрыв лицо руками, плачет. Потом поднимает голову, совершенно равнодушно.*) У тебя табак есть?

Франц-Иосиф. Ни крошечки. Говорю ж вам, выбежал из Вены — в чем был.

Вильгельм. Как же ты в дорогу идешь, — а табаку нет? Глупо, братец.

Франц-Иосиф. А у вас есть, Геннадий Демьяныч?

Вильгельм. Табак? Табаку у меня нет. Весь турки выкурили...

Пауза.

Вильгельм. А деньги у тебя есть?

Франц-Иосиф. И денег у меня нет.

Вильгельм. Как же ты так бежишь — без табаку и без денег. Нехорошо, братец. (*Тряхнув головой, встает, пытается подкрутить свисшие усы.*) Ну — идти, так идти! Не сидеть же здесь... Пойдем. И тебе угол будет.

Франц-Иосиф. Куда же, Геннадий Демьяныч?

Вильгельм. Куда? (*Поворачивает дощечку на столбе; на дощечке написано: «В Вятку» и нарисован указательный палец*).

Франц-Иосиф. В Вят-ку... В какую это Вят-ку?

Вильгельм. Там увидишь! Туда ведет меня мой жалкий жребий. Р-руку, товарищ! (*Медленно уходят.*)

Слышна музыка, играющая сначала тихо, потом громче «Последний нонешний денечек». На громовых аккордах — занавес...

УЖАСЫ ВОЙНЫ

На взмыленной лошади прискакал ординарец к помещению штаба корпуса, камнем свалился с седла и пулей влетел в комнату, где сидели три генерала...

Все трое вскочили, испуганные.

— Что еще? Что за манера врываться, как казак? Что такое? Неприятность, что ли?

Ординарец утер обшлагом рукава мокрый, покрасневший лоб и сказал нерешительно.

— Да уж не знаю, как и назвать: приятность или это неприятность.

— Именно.

— Да видите ли: с точки зрения того человека, который хочет э т о сделать, о н о получается как бы приятность, а с точки зрения тех, кому этот человек хочет э т о сделать, — оно будто бы и неприятность.

— Фу ты черт, как странно. Скажите же в чем дело?

— Дело? А дело в том, что император Вильгельм, хочет сказать речь перед вашим корпусом.

Один генерал тихонько подавленно взвизгнул и свалился на спинку стула, будто его повесили туда для просушки; другой генерал замахал руками и прислонился к стене, глядя

на ординарца глазами, в которых читалась мольба и протест: «за что мучаешь»? Действия третьего генерала были короче всего: он только плюнул в угол и молча отвернулся к окну.

Генерал, висевший на спинке стула, поднял, наконец, голову и с некоторой надеждой в голосе, спросил:

— Не ошиблись ли вы? Не перед другим ли корпусом будет говорить кайзер?..

Ординарец жестом, не допускающим сомнения, развел руки в стороны и хлопнул ими по бедрам:

— Увы... Ошибки нет. Речь будет говориться именно перед вашим корпусом.

Генерал, прислонившийся к стене, отклеился от нее и мутным взглядом поглядел на ординарца.

— Эх, вы, сорока! Вечно какую-нибудь дрянь на хвосте принесете. Слушайте... А нельзя ли его какому-нибудь другому корпусу подсунуть?

— Никак невозможно. Желание было выражено очень ясно.

— Да что мы ему сделали?

— Не знаю. Он говорит, что скажет речь для поднятия упавшего духа в войсках.

Третий генерал тихо сказал:

— Ну, предположим, дух в наших войсках, действительно, не того... Но за что же так жестоко?.. Ведь человека, даже укравшего что-нибудь, не приговаривают к расстрелу...

— Вы забываете, что военное время, — вздохнул первый генерал. — Всякое нарушение дисциплины строго карается...

— Э, черт с ним! Будь, что будет. Везите его! Пусть говорит!

— Послушайте, вы там... ординарец! Пока что прошу об этом не болтать... Чтобы до солдатских ушей не дошло.

— А что? вы опасаетесь... возмущения?

— Ну, что вы! Дух нашего корпуса не настолько упал. Я опасаюсь другого...

— Дезертирства?

— Конечно! В особенности, среди поляков и итальянцев... Народ экспансивный, живой, нервный... После второго часа начнутся побеги...

— Послушайте! Нельзя ли сделать так... Ведь у вас в артиллерийской части много артиллеристов?

— Ну-с?

— Ведь, говорят, большинство из них от пушечных выстрелов глохнет?

— Э, нет! Вижу, куда вы гнете! С какой же стати я своими артиллеристами буду рисковать, а ваша кавалерия будет баклуши бить? Нет, уж слушать, так слушать всем!

Второй генерал завистливо вздохнул:

— Хорошо обозу! Он может поместиться в самом тылу и ничего не услышать.

— Эх! Хорошо бы окопаться!..

— Ммм... неудобно как-то. Любимый император говорит речь, а солдаты зарылись в землю. Нет уж! Если принимать бой — так принимать его в открытом поле, грудь с грудью!

— Тоже... сравнили! В открытом поле в бою и отступить в случае чего можно. А тут — как его отступишь? Стой, как дурак, и слушай.

— Да уж... хлопай ушами. А хорошо бы... Пулеметчиков вперед, да и...

— Что вы, опомнитесь! В любимого-то кайзера?!

— Да, действительно... Неудобно. Ну, я пойду распорядиться. Будем смотреть опасности в глаза.

— Идея! Что если наловить мирных жителей и согнать их вперед. Пусть слушают.

— Ну, вы скажете тоже! И то уж все нейтральные газеты называют нас варварами, гуннами.

— Однако вы же сами в Бельгии выставили вперед женщин, когда шли в атаку.

— Выставил-с. Но не забывайте, что там в них и не стреляли. Щадили. А вы думаете, что Вильгельм будет молчать? Как же!

— Положим. Ну, пойду подготовить своих кавалеристов.

— Вы не сразу только. Начните издалека.

— Учите тоже!

* * *

— Вот что, генерал... Нам нужно составить диспозицию, распределить места...

— А разве не все равно, где кто стоит.

— Ни-ни! Это нужно делать тонко! Я уже третью речь Вильгельму устраиваю — знаю, как и что. В первую ли-

нию, на самую средину мы поставим славянские батальоны. Во-первых, их не жалко, во-вторых, им будет труднее убежать. Славян мы окружим кольцом баварцев. Эти тоже последнее время что-то ненадежны. А баварцы уже будут замыкаться третьим железным кольцом — наших славных пруссаков! У первых и у вторых отберем патроны, чтобы они их не стесняли, а пруссакам дадим заряженные ружья, направленные на славян и баварцев. Понимаете? Таким образом, не очень-то убежишь.

— А не сделать ли так?.. Окружить все место колючей проволокой с электрическим током, а в первую линию все-таки поставить пруссаков?..

— И верно... Потому что они уже народ более или менее обстрелянный...

— То есть, обговоренный?

— Ну да! Ведь император в начале войны уже говорил перед ними речь?

— Говорил. Уцелевшие — это закаленные железные львы, и, поэтому, мне хотелось бы их сохранить. Впрочем, если первые славянские ряды дрогнут — мы пустим пруссаков.

— О санитарной части подумали?

— О, все обстоит, как нельзя лучше. Ваты для ушей вытребовано два вагона, да кроме того приготовили 800 ампул прививки против столбняка.

— В таком случае, Господи благослови!

* * *

— Везут, везут!

— Кого? Чего орешь?

— Императора везут. Махальные мы. Поставлены, чтобы предупредить.

— Доложите корпусному.

Корпусный выехал перед строем на белой лошади. Снял шапку, махнул ею и сказал:

— Рребята!.. Мужайтесь! Едет император! Он сейчас будет говорить речь. Готовьтесь достойно встретить его, мои храбрые львы! Рребята! Мы с вами уже понюхали и крови, и пороху — так неужели же мы дрогнем перед словом человеческим?! Родина требует от нас, кроме других жертв, и этой жертвы — неужели мы ее не принесем? Мужайтесь

ребята, я буду тут же и приму все удары на свою грудь, так же, как и вы, — на ваши. Многих, конечно, — многих (*голос его дрогнул*) мы не досчитаемся... но — война есть война, и никто не должен отказываться от тягот ее. Гох!!

В передних рядах несколько голосов вяло согласились:

— Гох.

— Ох! — прошелестело сзади.

* * *

Едва показался император, как весь корпус заревел:

— Да здравствует кайзер! Гох! Гох!

— Император махнул рукой и сделал знак, что он хочет говорить.

— Гох! Да здравствует император!

— Пусть же они замолчат, — попросил кайзер начальника штаба. — Я хочу говорить.

— Гох! Гох!

Тысячи глоток ревели это слово... Тысячи глаз глядели на императора с кроткой тайной надеждой, с невинной хитростью — не дать говорить императору или хоть на несколько минут оттянуть этот страшный час.

— Гох! Гох! Гох!

— Скажите же им, чтобы они замолчали! Это, наконец, несносно!

— Рребята, молчите! Кайзер хочет говор...

— Гох! Гох!

— Корпусный побагровел.

— Пулеметчики вперед! Я заткну глотку этим скотам. Молчите!!!

Наведенные пулеметы постепенно навели в восторженно настроенном войске порядок.

Вильгельм выступил вперед, приосанился и начал:

— Дорогие солдаты!

....

Кто-то в третьем ряду охнул и, как мешок с мукой, бессильно опустился на руки товарищей.

Вильгельм говорил...

* * *

Два офицера тихо ехали по полю. Вдруг лошади их захрапели в ночной тьме и шарахнулись в сторону.

— Что это? Гляди-ка! Тело германского солдата. И еще! И еще вон там! Целая куча...

Из темной бесформенной массы человеческих тел в черных шинелях и остроконечных касках донесся чей-то стон.

— Эй! — окликнул офицер с лошади. — Что тут было у вас? Жестокая битва, я полагаю, а?

— Хуже, — простонал невидимый голос. — Кайзер речь говорил.

Молчало темное небо.

И только воронье, каркая, кружилось. Предчувствовало обильный пир...

ОТЦЫ И ДЕТИ

I. Немец у турка

— Это что такое тут у тебя стоит, Махмудка?

Турок похлопал по тому предмету, который заинтересовал немца, и отвечал:

— Военный корабль.

— Корабль?! Так почему же он у тебя на суше стоит?

— Ничего. Стоит себе — хлеба не просит.

— Почему же на суше?

— А что?

— Он на море должен плавать!

— Как же так можно его на море пустить... А вдруг утонет?

— Да ведь корабль — это водяная вещь!

— Серьезно?

— Ну, вот — поговорите с этим кретином! Сейчас же нужно спустить этот корабль на воду!

— А тут в боку дырка. Ничего?

— Дырку нужно заделать!!

— Ну, сейчас. Только не кричите на меня. Я думаю, взять лист толстой этакой сахарной бумаги, столярного клею...

— Нельзя! Такая заплатка сейчас же отклеится.

Турок поглядел на немца и восхищенно воскликнул:

— Однако, как вы хорошо знаете морское дело! Уж вы помогите, право. Вы наши отцы, мы ваши дети.

— Мины у вас есть?

— Были.

— Где же они теперь?

— Сбежали.

— С ума ты сошел! Что такое врешь?!.

— Ей-Богу.

— Где же они были?

— Мины-то? Первая появилась на лице султана, когда вы заставили нас воевать с русскими; вторая — на лице Энвера, когда он узнал, что Франция и Англия солидарны с Россией. Теперь, конечно, эти мины уже сбежали...

— Кретин ты, брат, Махмудка.

— Рад стараться.

— Что это у вас там, в котловине?

— Это? Крепость.

— Скажи мне на милость: кто же крепости в долинах строит?!..

— Мы. Собственно, мы, турки, очень хитрые. Мы построили крепость в пропасти. Расчет у нас такой: когда неприятель подступит к крепости и пойдет на нее — он свалится вниз, а мы его тут и поймаем. Поймаем и зарежем. Ни один человек не вырвется.

— А если они сверху в вас стрелять из пушек начнут?!

— Как так стрелять? Разве можно? Ведь этак они кого-нибудь и убить могут. А у нас законы строгие. За то и ответить можно.

— На войне-то?!

— Положим, действительно, война. Хотя мы приняли свои меры: на воротах крепости у нас висит плакат: «Без разрешения коменданта вход русским в крепость воспрещается». По горам тут же дощечки с надписями расставили: «Стрелять в турок строго воспрещается». Положение-то русских! Подойдут к нам, а стрелять-то и нельзя. Повертятся тут. А мы выйдем из крепости и зарежем их.

— Эту крепость немедленно срыть! На вершине той горы построить новую, окружить ее тройным поясом фортов...

— Уж вы помогите нам, пожалуйста. Не оставьте. Немцы, они хорошие. Вы наши отцы, мы ваши дети.

— Постойте, постойте... Это еще что такое? Что это за нежности? Картонный футляр для пушки? К чему это?

— Это не футляр, а пушка, эфенди.

— Картонная?!

— А сверху мы ее, чтоб блестела, свинцовой бумагой от чаю обклеили. Чай-то, знаете, пьешь, а бумага остается. Ну вот мы ее...

— Да ведь такая пушка, как мыльный пузырь разлетится от первого выстрела. И канониров поубивает.

— Не поубивает. Эта пушка безопасная.

— Однако, если вы зарядите ее, положите порох...

— У нас порох тоже безопасный.

— Бездымный?!

— Нет, безопасный. Не горит. Огнеупорный. Один турок изобрел. Берется две части рисовой пудры, одна часть молотого кофе, все это перемешивается...

— Так, значит, стрелять нельзя?!

— Как нельзя?!.. Стреляем. Три человека на пушку у нас полагается. Один прячется сзади и кричит: «бабах! Пум»!! Другой в это время сбоку папиросой затягивается и дым, будто из дула, выпускает, а третий — снаряд в руках держит и бросает его сейчас же прямо неприятелю в морду. Что ж... От орудия больше ничего нельзя и требовать: звук — есть, дым — есть и заряд — попадает в неприятеля.

— Но ведь вы это могли бы и без пушки делать?!!

— Нельзя. Без пушки не страшно.

— Завтра же чтобы были новые пушки. У вас должны быть мортиры, гаубицы...

— Уж вы не оставьте нас, эфенди. Вы народ понимающий. А мы — что? Простые турки. Вы наши отцы, мы ваши дети.

— Действительно... Вижу я, что вы ни черта в этом не смыслите...

— Где нам!..

II. Турок у немцев

Турок ходил с немецким генералом по полю, на котором только что происходило сражение, критическим взглядом

оглядывал все поле и только причмокивал губами и укоризненно покачивал головой.

Немецкий генерал, наоборот, был чем-то, очевидно, сконфужен.

Турок наклонился к одному из неприятельских раненых, внимательно осмотрел его и негодующе сказал:

— Ну, и работка! Свиньи.

— Мы... старались...— пролепетал генерал.

— Вы старались! Кретины. Разве так раненые обрабатываются? Правда, нос вы срезали и уши надорвали, но глаза! Где у вас были глаза?

— Н... наши глаза?

— Да не ваши — тупые, оловянные, навыкате, — а глаза раненого?.. Учить вас нужно? Глаза вынимаются и всовываются в разрезанный живот! Руки переламываются, но не так, как сделали ваши глупые немецкие кустари, а вот этак! Видели? Теперь — это сюда, а это сюда! Видели?..

— Чудесно! Только позвольте. Да ведь вы это нашего же раненого обрабатываете... Ведь он еще жив был...

— Гм!.. А вы чего же молчали? Э, черт, действительно. Ну-ка, попробуем вынуть глаза из живота, вставим обратно, живот зашьем... Нет!! Все равно, уже ничего не выйдет. Черт с ним. Ну, да... Я вот, впрочем, только к примеру показал... Видели?

Немецкий генерал, запуганный сердитыми окриками, робко поглядывал на турка и пролепетал:

— Уж вы нас не оставьте. Мы не специалисты... Посоветуйте. Как и что. Вы наши отцы, мы ваши дети.

— Чертовы вы дети, а не мои. Вот вы тут повесили десяток деревенских обитателей... Прекрасно! А почему вы огонька под них не подложили? Почему языки не вырезали? Руки у них где? По бокам висят? А где должны быть?

— Уж вы нас не забудьте. Где нам! Вы уж, как говорится... Вы нам, мы вам. Вы наши отцы, мы ваши дети, Махмуд Шевкетыч.

— Не юли, Карлушка. Не люблю. Я тебе скажу, Карлушка, откровенно: мне на вас противно смотреть. Разве это голова? Разве с животом так поступают? А пленные! Как вы с ними обращаетесь!?

— Мы их... бьем. Кушать им не давали...

— «Кушать не давали»! Еще бы вы им устриц и шампанского дали! А в ямы, на аршин наполненные водой, вы их сажали? Под ногти щепочки запускали? Рубленый волос в пятки зашивали?!! Эх вы... немцы паршивые!

— Мы старались... мы... будем. Вот недавно тоже... в Красный Крест стреляли.

— Удивил! Действительно. А вот, ты мне скажи вот что: докторов за ноги вешали?

— Нет... не пр... пробовали.

— Так куда ж вы, черт вас передери, лезете к нам в союзники?!

— Мы... будем... мы сделаем... Вы уж поддержите, научите. Вы, как говорится, наши отцы, мы — ваши дети.

Долго еще ездили по полю отцы и дети, перекоряясь между собою...

. . . .

КАНДИДАТ В ВЕНГЕРСКИЕ КОРОЛИ

> Вильгельм Гогенцоллерн с самого рождения сына своего Эйтеля-Фридриха готовил его в венгерские короли. Он назвал его венгерским именем, приставил к нему дядьку венгерца и вообще воспитывал его в венгерском духе.

Неизвестный человек явился к венгерскому графу Тиссе и, приняв самый дипломатический вид, спросил:

— А, что, скажите... Вы, венгры, не отложились ли бы от Австрии?

— Зачем? — дипломатично спросил Тисса.

— Да так, — дипломатично подмигнул неизвестный. — Лучше было бы.

— Для кого? — дипломатично прищурился Тисса.

Неизвестный заиграл глазами и, отбросив на минуту дипломатичность, откровенно признался:

— Для нас.

— А вы кто? — осторожно, тоном старого дипломата спросил Тисса. — Французы?

Неизвестный дипломатично качнул головой слева направо.

— Нет? Значит, англичане?

— Не угадали.

— А, знаю! — всплеснул руками Тисса. — Вы от имени русских!

— Хватили, — дипломатично рассмеялся неизвестный. — Как бы не так. Держи карман шире!

Тисса, услышав про карман, испугался.

— Как? Вы предлагаете держать карман шире? Значит, вы... немец?

— Ну, конечно! Сразу могли бы догадаться.

— Послушайте, — широко, без всякой дипломатичности, открыл глаза Тисса. — Если вы немец, значит, вы союзник Австрии?!

— Я вижу, — вежливо удивился неизвестный, — что от вас ничего не скроешь.

— И вы, будучи союзником Австрии, предлагаете нам, венграм, отделиться от нее?

— Правда, смешно? — подхватил незнакомец.

— Ну, я бы назвал это иначе — дипломатично пожал плечами Тисса.

— Не надо лучше называть иначе — вы только примите во внимание то, что война проиграна, и нам скоро придется сводить с союзниками счеты...

— Это ужасно. Наверное, вам придется многого лишиться?..

— Да! Многое отдадим... Галицию придется отдать.

— Постойте... Галиция-то ведь не ваша, а австрийская.

— Ну, вот мы ее и отдадим.

— Нет, я спрашиваю, что вы ваше отдадите?

— Боюсь, что Константинополь придется отдать.

— Позвольте! Константинополь ведь турецкий?!.

— Ну, не все ли равно. Турция — наш же союзник. Так же больно отдавать ихнее, как и свое.

— Раз вам одинаково больно, вы бы и свое что-нибудь отдали. А то что же все — только австрийское да турецкое отдавать.

— Славный у вас брелочек на часах.

Тисса рассеянно застегнул пиджак на все пуговицы и вздохнул.

— А нам, значит, вы советуете отделиться?

— Натурально. Пока и вас вместе с Австрией по кускам не растащили. Уж вы поверьте: такая раздача скоро пойдет, что все затрещит.

— Можно с вами говорить откровенно? — спросил Тисса.

— Можно. Откровенность — мать дипломатии...

— Ну, хорошо. Вот что меня удивляет: как это вы, будучи таким мерзавцем... Ведь вы мерзавец?

— Предположим, — замялся неизвестный.

— Хорошо! Из вежливости, будем это только предполагать. Так вот, что меня удивляет: как это вы, будучи, предположим, мерзавцем, — так красиво и бескорыстно заботитесь о Венгрии?!..

— А вы не представляете себе, что и у мерзавцев могут быть минуты просветления?

— У просто мерзавцев — бывают такие минуты. У дипломатических мерзавцев — никогда.

— Правильно. Умный вы человек, граф. В таком случае буду говорить с вами откровенно: мы щадим Венгрию — знаете, почему? У нас есть для Венгрии новый король.

— Воображаю, — скептически сказал Тисса.

— Чего там воображаете! Настоящий Гогенцоллерн! Право, возьмите.

— А что же мы с Францем-Иосифом будем делать?

— Подумаешь важность... Подсыпать в стакан какого-нибудь порошку...

— Послушайте, вы!..

— А то еще иногда старые люди, спускаясь с мраморной лестницы во дворце, спотыкаются, падают вниз и ломают себе спину. Много ли старому человеку нужно? Да, впрочем, раз вы отделитесь от Австрии — что вам думать о Франце-Иосифе?

— Кто же это ваш король-то, который для нас?

— Ну, как же! Принц Эйтель-Фридрих сын Гогенцоллерна. Такой хороший, право. Да вы посмотрите его, — ведь за это денег не возьму.

— Где же он?

— Тут, на ступенечках сидит, дожидается. Ведь его отец с самого рождения для Венгрии готовил. По-венгерски научили говорить, венгерку танцует паренек так, что любо-дорого. Окромя венгерского гуляша, маковой росинки в рот не берет. Позвать его?

— Ну его! Не нужно.

— Да ведь тут же он. Все равно, взгляните. Эй, Эйтель, пойди сюда. Иди, дурачок, не бойся.

Принц Эйтель-Фридрих нерешительно вошел в комнату и остановился у дверей.

— Вот этот? — спросил Тисса.

— Этот. Каков парнишка, а? Пальчики оближете.

— Лицевой угол у него подозрителен, — заметил критически Тисса.

— Ничего, выпрямится.

— Да, все вы так говорите, лишь бы только товар с рук сплавить. Э, э! А форма черепа-то! Хорошо, что я ему шапку снял, посмотрел.

— Череп хороший.

— Да ведь он микроцефал! У него череп дегенерата.

— Помилуйте, что вы! Он на отца похож.

— Это-то и печально! Нет, знаете, забирайте вы своего Эйтеля. Не нужно.

— Ей-Богу, хороший король будет. (Пауза.) Ну, хотите, он вам венгерку, спляшет?

— Да зачем?! Это совсем лишнее.

— Эйтель, станцуй дяденьке что-нибудь венгерское. Да что ты стоишь, в самом деле, как дурак? Поговори с дяденькой по-венгерски.

— Тупенький он у вас, — с сожалением заметил Тисса.

— Дома он ничего... Разговаривает и все такое. А тут оробел. Так не возьмете?

— Нет, не надо. Мы уж как-нибудь сами справимся.

— Он и считать по-венгерски умеет.

— Не надо.

— Не надо, так и не надо. Набиваться не будем. Эй, ты, сокровище! Пойдем, что ли. Навязали мне на шею камень — носись с ним.

* * *

Надевая в передней пальто, неизвестный вдруг разоткровенничался и, махнув рукой на всякую дипломатию, признался, прижимая руку к сердцу:

— А ведь правду говоря, Эйтель этот самый, действительно, подгулял. Выпить не дурак, скандалист и поведения в отношении женщин такого, что плюнуть хочется. Прямо не знаю теперь, куда его и сплавить. Тут поблизости княжества никакого нет?

— Есть много княжеств и королевств, но места всюду заняты.

— Эх-ма! Наплачешься с таким дитём. Ну, ты, венгерец! Идешь, что ли? Не ночевать же тут.

И ушел с ворчаньем, — таща за руку еле поспевавшего за ним принца Эйтель-Фридриха Гогенцоллерна, кандидата на венгерскую корону.

КАРЬЕРА ПЕВИЦЫ ДУСИНОЙ

В провинциальных шантанах в первом отделении выпускают иногда певицу — какую-нибудь Дусину, или Верину, или Люсю Светозарскую. Она, что называется, девушка не первый сорт; и даже не второй сорт; она, что называется, девушка третий сорт.

Все у нее как-то неладно: платье сделано из очень подозрительной материи, сидит криво, косо, чулки заштопаны довольно заметно, каблуки туфель покривились, лицо обсыпано пудрой не совсем там, где это нужно, кисти рук красные, а уши украшены тусклыми, без блеска, как глаза мертвеца, бриллиантами, — такой величины, что у зрителя является подозрение: не ограбила ли она какую-нибудь хрустальную люстру в отдельном кабинете?

Пластика ее и жестикуляция очень просты: она или махнет рукой около подбородка, или приподнимет платье, щегольнув при этом случае тощей ногой, или просто поглядит в потолок, сделав три шага в сторону с самым деловым видом и в полном несоответствии с исполняемым куплетом.

И куплеты она поет какие-то третьесортные, сочиненные каким-нибудь пропившимся гобоистом или племянником буфетчика.

В них говорится:

Мне мама говорила:
Ты бойся всех мужчин,
Пусть красавец или рыло,
Но все ж остерегаться есть тьма причин.
Я маму не послушала,
В кабинете со старичком кушала,
И он оказался шалун,
Взял у меня поцелуй.

Между двумя подобными безотрадными куплетами — шаг налево, два назад и внимательный взгляд в потолок; вздох; нерешительное поднятие платья — и под гробовое молчание обескураженной, фраппированной публики бредет Дусина, Верина или Светозарская за кулисы.

Зачем она здесь? Почему она ушла из кухни, прихожей или детской, где ее красные руки никого не приводили в веселое настроение, а кривые каблуки старых барыниных ботинок как будто срослись с ней, не внося фальшивой ноты в общий антураж затрепанного платьица и гранатовых сережек...

Сманил ее в свое время какой-нибудь щеголь, врун, говорун, блестящий вояка писарского типа — и пошла Глаша Шестипалая в Верины, Дусины и Светозарские.

И вот уже хочется ей, чтобы у нее все было, как у других «классных» певиц, — и бриллианты, и наряды, и лихой, пикантный вид... И ничего ей, бедняжке, не удается в этом смысле: обвешана она бриллиантами, но фальшивыми; затянута в корсет, но предательский перелом на лопатках говорит, кричит на весь свет, что цена корсету три рубля; духи у нее дешевые, благоухающие какой-то кислятиной, с примесью мятных капель, и душится она этими духами странно: по немытой шее размазана какая-то географическая карта, в некоторых местах запорошенная для привлечения мужчин, не то рисовой пудрой, не то детской присыпкой...

И, таким образом разукрашенная, поет она:

С старикашкою знакомство я свела
И шинпанское в кабинете с ним пила.
А он оказался шалун,
Сорвал с мине поцелуй.

Поет и думает: «Ну, вот — и я не хуже других».

* * *

Сейчас такую Верину, Дусину или Нюсю Огонек чрезвычайно напоминает Турция.

Действительно: жила девушка на черной половине и горя не знала... Если ее не особенно уважали, так зато над ней и не смеялись:

— Известно, Турция. Что с нее возьмешь!

И вот познакомилась эта затрепанная девушка с Вильгельмом — говоруном, лихачом и воякой. Черт его знает, чем он ее обольстил, но только нет уже прежней девушки. Вместо нее вылезла на свет Божий Верина, Дусина, Катя Ой-ра, в неискусно заштопанных чулках, с грязной шеей, до обморока надушенная дешевыми немецкими духами. И ясно написано на ее голодном, напудренном лице:

— И я не хуже других. И я, как любая шикарная француженка или американка, щеголяющая в чудесных, как мечта, туалетах от Пакена, в тысячных, как солнце горящих, бриллиантах!.. И мы тоже не лыком шиты.

Бедная, обманутая, поглупевшая Турция. Именно, лыком она шита, и лыко ее отовсюду торчит, как морская трава из старого тюфяка.

* * *

— Надо будет, — решило недавно турецкое правительство, — бумажные деньги выпустить. Что ж другие державы выпускают — почему же нам не выпустить. И мы не хуже других.

Что это были за бумажные деньги и какое к ним было отношение — рассказывают заграничные корреспонденты: турки просто не принимали этих бумажек.

Каковы были торговые сделки и обороты при помощи этих денег — легко себе представить.

Заходит в лавку в какому-нибудь Мустафе покупатель и спрашивает:

— Есть кальян с насечкой?

— Есть.

— Покажи.

— А вот. — Хороший кальян. Купите.

— Сколько стоит?

— Сорок пиастров.

— Ладно. Получай деньги.

Мустафа упаковывает кальян, а покупатель накладывает на прилавок четыре бумажки, искоса поглядывая на Мустафу.

— Это что такое? — спрашивает изумленный Мустафа.

— Деньги.

— Эти бумажки?

— Ну да. Государственного казначейства.

— Да ведь это бумажки?

— Ну да. По закону, кто откажется принять их, того заключают в тюрьму.

— Да ведь я тебе кальян не бумажный продаю?

— Поговори мне еще. Сейчас заявлю, куда надо.

Мустафа задумывается. Потом поднимает голову.

— Вам, собственно, что угодно?

— Да, кальян же, чудак.

— Кальян? Да у меня нет кальянов.

— А этот? Который ты завернул?

— Осел я! Разиня! Совсем и забыл, что я этот кальян давеча Сулейману продал! Вот бы история история была! Нет, извините, эффенди, кальянов нет.

Покупатель со вздохом забирает свои бумажки и бредет дальше, солнцем палимый.

В другом магазине его прямо спрашивают: бумажками он будет платить или золотом?

— А разве не все равно? — угрюмо спрашивает покупатель.

— Конечно, все равно. Бумажки-то еще лучше не рвут карманов. Так чем же заплатите?

— Бумажками.

— Это хорошо. А вам что нужно? Кальяны? Как раз нет кальянов, не держим. Что? Те, что стоят на полках? Эти для себя. Ковры? И ковров не держим. Что? Те, что на полках? Тут всего двести штук. Для моли держим.

Моль коврами кормим. Детей, знаете, нет, так мы моль завели. Все-таки, вроде, как птица. Имею честь кланяться. Иншаллах!

Таково турецкое бумажное обращение; таковы нынче турецкая торговля и промышленность.

Слышали турки, что в других странах правительство выпускает кредитки — дай, думают, и мы выпустим.

Выпустили.

* * *

После кредиток турецкая Дусина захотела иметь еще более удивительную, чисто европейскую вещь: своего представителя при Папском дворе в Ватикане.

Можно себе представить удивление всего конклава:

— Что вам угодно?

— Турок я.

— Бывает. Бог простит. А что нужно-то?

— А хотим мы своего представителя иметь при вашем Ватикане.

— Так-с. Турецкого?

— Да.

— Представителя?

— Именно.

— Для чего же это вам?

— Да так, знаете... У других государств есть представители, а у Турции нет.

— Да зачем же вам?! Отдаете вы себе отчет?

— Ну, все-таки... Как-никак, представитель.

— Что он будет у нас делать?!

— А что другие делают, то и он будет.

— Они христиане, поймите вы.

Турок обиделся.

— Так-с. А мы, значит, уже и не люди, да?

— Вы тоже люди, но ведь вы мусульмане.

Вздохнет бедная, глупая Верина или Дусина и, дрыгнув ногой, убежит под общее молчаливое изумление за кулисы.

— Бедняга... Слышала эта Дусина, что от других стран есть представители при Папском дворе — дай, думает — и я.

* * *

Есть у Вериной бриллианты, но они стеклянные; затянута Дусина в корсет, как и прочие, но корсет сделан из старых железных обручей.

Захотела недавно Турция высадить недалеко от Одессы десант...

Грозная вещь — десант. Жутью веет от этого слова... Горе неприятелю! Страшно той стране, на побережье которой высадилось враждебное войско.

Высадили турки десант. Знаете, сколько?

23 человека.

Бедная Дусина...

Не хотел бы автор этих строк быть в числе высаженных двадцати трех человек...

Отлогий пустынный берег. Пыхтя и кряхтя, пристало маленькое утлое паровое суденышко к берегу.

Капитан свистнул в какую-то дудку, наклонился с мостика и сказал полуиронически, полупокровительственно:

— Ну, вы, десант! Приехали. Вылезайте!

— Уже Россия? — уныло спросил начальник десанта, карабкаясь по узкой заплеванной лесенке.

— Россия. Вся тут, как на ладони. Голыми руками забирай.

Вышли на берег. Холодно... Морозный туман еще не рассеялся. Поежились.

— Ну, что теперь делать-то?

— Я думаю, в глубь страны отправиться.

Пошли...

Встретились какие-то мужики. Обступили турок; долго и внимательно их разглядывали.

— Не наши кабыдто...

— Жукастые; носачи все. Не то турки, не то армяне. Айда, Митрий, неча тут зря топтаться.

Печально бредет десант «в глубь страны». Растянулся какой-то погребальной процессией. Куда идти? Что делать? Неизвестно.

На счастье этих двадцати трех горемык встретился им разъезд стражников.

— Кто такие будете?

— Турки.

— Как попали сюда?

— Да десант мы. Высадились.

— Зачем?

— Этого... Ну, как, вообще, полагается. Воюем мы с вами.

— Ну?

— Вот и высадились на вашу территорию. Тут, на бережку. Десант мы.

— Ну?!

— Понимаете? — для оккупации приехали. Вторглись в вашу страну. Морской десант. Хи-хи.

— Черт вас тут разберет. Спьяну, что ли?

— Нет, нам нельзя. Непьющие мы.

— Так что делать-то будете? На заработки?

Положение создалось тяжелое, невыносимое... Грозный десант, внушительная демонстрация воюющей державы — все это разбилось об недоумение стражников.

И очутился бедный десант в простой русской полицейской кордегардии...

Была Турция скромной диковатой девушкой, ходила в затрапезном платьице — и если ее никто особенно не уважал, то и не смеялись над ней...

А теперь, когда поступила Турция в шансонетские певицы — так это все смешно, что и сказать нельзя.

БУЛАВКА ПРОТИВ НОСОРОГА

Старый добрый немецкий слуга Фриц вошел в кабинет министра иностранных дел и доложил:

— Там посланники пришли: испанский, итальянский и американский.

Дремавший до того министр встрепенулся:

— Зачем?

— Протест, говорят, хотим заявить. Против наших германских зверств.

— Так. А пришли-то они зачем?

— Да протест же заявить. Против зверств.

— Ну, да, я это понимаю... Конечно — протест, конечно, — зверства. Это, как полагается. Но причина прихода их в чем заключается?

— Да зверства же!! Протест!..

— Однако, и туп же ты, братец. Ему говоришь одно, а он бубнит другое!.. Пойми ты своими куриными мозгами: протест против наших зверств это — одно, а причина прихода — другое. Ведь это — все равно, как к тебе пришел какой-нибудь человек и говорит тебе, войдя: здравствуйте! Ну? Так ведь слово «здравствуйте», это — не причина его прихода, не повод, по которому он к тебе явился, а так просто... обычная, общепринятая формула. Понял?

— Ну, да. Пришел он к тебе, сказал: здравствуйте! А потом уже и выясняется то дело, по которому он пришел. Возьмет ли он у тебя взаймы десять марок, сделает ли тебе предложение пойти в биргалле, даст ли тебе по морде, — это все дела, по которым он пришел... А «здравствуйте» тут ни при чем. Понял? Так вот, ты мне теперь и ответь: зачем пришли эти дипломаты?

Фриц стал на колени посреди кабинета и заплакал:

— Пожалейте меня старого дурака, не мучайте меня. Дипломаты пришли выразить свой протест против германских зверств, а больше я ничего не знаю...

— Пошел вон, старая рассохшаяся бочка! Тебе не в дипломатическом ведомстве служить, а воду возить. Проси их сюда!

Через минуту три дипломата — итальянский, американский и испанский — вошли в кабинет, стали в ряд и, молча, отвесили немецкому министру холодный поклон.

— Чем могу служить, господа? — приветливо спросил министр.

Американский посланник кашлянул в руку и сказал, нахмурив брови:

— От имени своего, американского, и от имени Италии и Испании, мы, представители этих нейтральных держав, горячо протестуем против тех насилий, зверств и правонарушений, не согласных с обычными способами ведения войны, — тех правонарушений, кои были допущены германцами в настоящую войну. С совершенным уважением к вам пребываем — представители Америки, Италии и Испании.

— Хорошо, хорошо, господа. Спасибо. Покорнейше, прошу сесть. Чем могу служить?

Снова поднялся уже усевшийся в кресло американский посланник и отчеканил:

— Чем вы нам можете служить? А тем, что мы просим вас принять во внимание наш протест против тех насилий над мирным населением и нарушений обычая войны, которые допускаются германской армией.

— Да, да. Вы это уже говорили, хорошо. Протест ваш принят. А по какому делу вы осчастливили меня своим визитом?

— Ах, ты, Господи! Да мы и пришли только за тем, чтобы заявить протест.

— И больше ничего?

— Ничего.

Посидели молча.

— Снег-то какой повалил, — сказал испанский посланник, поглядывая в окно.

— Да, погода нехорошая, — согласился германский министр.

— Говорят, когда зима снежная, то лето будет жаркое, — заметил итальянец.

— Да.

— Ну, — шумно вздыхая, встал с кресла американец, — посидели, пора и честь знать. Пойдемте господа, не будем мешать хозяину.

Распрощались. Ушли.

* * *

Через несколько дней, выбрав свободные полчаса, снова зашли представители нейтральных держав в германское министерство иностранных дел.

— А-а, — встретил их министр. — Вероятно с протестом.

— Вы угадали. Германские зверства и насилия все еще продолжаются, а мы протестуем...

— На этот раз — энергично! — подсказал испанец.

— Да! — поддержал итальянец. — Мы выражаем свой энергичный протест.

— А раньше был разве простой? — спросил германский министр. — Я думал, что энергичный.

— Нет... Тот, что раньше, — был простой. А вот теперь так энергичный.

— Энергичнейший! — кивнул головой итальянец.

— Самый эдакий... что называется... ну одним словом, — энергичный! — пылко вскричал испанец.

— Хорошо, господа. Не присядете ли? Что новенького в ваших палестинах?

* * *

Соединенная комиссия из представителей нейтральных стран выезжала на театр военных действий.

Цель поездки была: зарегистрировать германские зверства и заявить против них свой протест.

Провожающие говорили:

— Господа уезжающие! На вашу долю выпала великая миссия: заявить энергичный протест против тех насилий и тевтонских зверств, которые все время допускаются по отношению мирного населения потерявшими всякую меру так называемыми «культурными» немцами. Эта культура — в кавычках!

— Браво, браво. Это очень зло сказано! «Культурные» немцы в кавычках! Метко, ядовито и бьет прямо в цель! Я думаю, ежели немецкому солдату бросить эту фразу в лицо, — ему не поздоровится!

— Итак, господа, — осветите перед лицом всего культурного мира...

— Культурного мира без кавычек!

— ... Да, без кавычек. Пусть весь культурный мир, без всяких кавычек, узнает, что делают немцы в кавычках. Пусть эти кавычки, как несмываемое позорное пятно, будут гореть в немецком сердце!..

— В сердце, в кавычках!

— Верно, браво! Пусть пятно, без кавычек, горит в сердце в кавычках!! Пусть культура в кавычках содрогнется и опустит голову перед культурой без кавычек!

— Браво. А главное, господа, протестуйте всюду и везде, в кавычках и без кавычек! Заклеймите сердобольное в кавычках отношение немцев в кавычках к раненым без кавычек и к пленным... тоже без кавычек!..

— Зло! Метко! Ядовито! Браво. Браво, без всяких кавычек, черт возьми!..

— Ну, едем, господа!

— До свиданья без кавычек!

— Берегите себя без кавычек против немцев в кавычках!

— Носильщик! Где тут вагон номер семь без кавычек?

Поехали.

* * *

Члены международной нейтральной комиссии протеста против германских зверств приблизились к маленькой бельгийской деревушке и, отыскав лейтенанта, командовавшего отрядом, спросили его:

— Если не ошибаемся, ваши солдаты поджигают сейчас крестьянские дома?

— Да... жаль только, что плохо горят. Отсырели, что ли.

— Зачем же вы это делаете? Ведь никто вам сопротивления не оказывал, припасы отдали все добровольно...

— А вы войдите в мое положение: из штаба получился приказ: навести ужас на население. Как ни вертись, — а наводить ужас надо. Вот я и того... навожу. Эй, вахмистр! Если облить керосином те два дома, что стоят у оврага. Да, чтобы соломы внутрь побольше насовали.

— Слушайте, — сказал председатель нейтральной комиссии. — Мы горячо протестуем против этих ни на чем не основанных зверств.

— Да, — подтвердил секретарь. — Выражаем свой протест.

— Что же делать, господа — философски заметил лейтенант. — У каждого своя профессия. У меня — поджигать дома, у вас — выражать протест. Виноват, не потрудитесь ли вы выйти из этого дома на свежий воздух?

— А что?

— Мы его сейчас тоже жечь будем.

— Как? Вы хотите и этот дом сжечь? Так вот же вам: мы выражаем свой энергичный протест!..

— Хорошо, хорошо. На свежем воздухе выразите.

— Мы протестуем против такого способа ведения войны в кавычках!

— Швунке! Солому в рояль! Динамитный патрон туда! Господа! Посторонитесь...

* * *

Идя по деревенской улице, секретарь комиссии говорил председателю:

— А ловко я срезал этого немца: я, мол, называю ваш способ ведения войны способом в кавычках.

— Ну, это вы уж слишком. Конечно, он виду не показал, а втайне, наверное, обиделся. Нельзя же так резко... Что там такое? Что за группа у стены?!

— Глядите: связанные женщины и дети... Против них солдаты с ружьями... Прицеливаются. Надо бежать скорей туда, — пока не поздно.

Вся комиссия побежала.

— Эй, вы! Постойте! Обождите! Что вы такое хотите делать?

— Ослепли, что ли? Надо расстрелять эту рухлядь.

— Постойте! Одну минуту... Мы...

— Ну?..

— Мы... вы...

— Ну, что такое — мы, вы? В чем дело?

— Мы вы... выражаем свой протест против такого зверского обращения с мирным населением...

— Энергичный протест! — подхватил секретарь.

— А вы не можете выразить свой протест немного левее от этого места?

— А что?

— Да, что ж вы торчите между ружейными дулами, и этими вот... Отойдите в сторонку.

— Мы, конечно, отойдем, но тут же считаем своим долгом громко и во всеуслышание заявить свой протест...

— Энергичнейший! — крикнул секретарь...

— Пли!..

* * *

Всякое самое удивительное, самое редкое явление, если оно начинает быть частым, сейчас же переходит незаметным образом в будничный уклад человеческой жизни, становится «бытовым явлением» (в кавычках).

И без этого бытового явления, без этого штриха, вошедшего в жизненный человеческий уклад, — становится как-то пусто... Чего-то нехватает, что-то будто не сделано.

Первые выступления нейтральной международной комиссии протеста на местах против германских зверств некоторым образом удивляли, сбивали с толку.

А потом все вошло в колею.

Запыхавшийся немецкий солдатик в сдвинутой на затылок каске прибежал в местечко, где содержались пленные и, отдышавшись, спрашивал:

— Не у вас ли, которая комиссия для протеста?

— У нас. Давеча долго протестовала, что, дескать, голодом морим пленных.

— Так передайте им, чтобы они сейчас же шли протестовать в деревню Сан-Пьер. Мы ее подожжем с четырех концов, а жителей вырежем.

- Опоздал, братец! Их тут уже с полчаса дожидается ординарец: приглашают протестовать против добивания раненых на поле сражения. Только что сорок человек добили.

— Эх, незадача!

— Да нешто без них, без комиссии-то, — уж и деревни не подожжете?

— Поджечь-то, конечно, можно, да все как-то не то. Без протеста нет того смаку. Опять же для порядка...

....

И работает доныне, работает усталая комиссия, не покладая рук и языка.

СЧАСТЬЕ СОЛДАТА МИХЕЕВА

I

Однажды я прочел в газете заметку — в отделе «Дневник происшествий».

Заметка эта была набрана петитом, поставлена в самом укромном уголке газеты и, вообще, она не претендовала на исключительное к себе внимание со стороны читателя.

И, однако, прочтя эту заметку, я поразился, я преклонился перед ее библейской величавостью, шекспировской глубиной и дьявольской холодностью стиля околоточного надзирателя, — выдержку из протокола которого заметка, вероятно, и представляла. Врезалась она мне в память слово в слово:

«Вчера в трактир Кобзоева по Калужской улице зашел уличный продавец счастья, предлагавший посетителям конвертики с «предсказанием судьбы»... Бывший в трактире мещанин Синюхин заинтересовался предсказанием своей судьбы и тут же купил у продавца счастья предсказание за 5 коп. Но, вскрыв конверт и прочитав свою судьбу, мещанин Синюхин остался ею недоволен и, вскочив с места бросился догонять продавца счастья, уже вышедшего на улицу. Тут, на улице между ними возгорелся спор: недовольный своей судьбой, Синюхин требовал у продавца возврата уплаченных денег, а продавец отказывался, утверждая, что он и сам не знает, что заключено в конверте. Спор перешел в драку, причем мещ. Синюхин ударил продавца счастья по лицу. Разъяренный продавец счастья, назвавший себя потом Игнатием Рысис, выхватил нож и ударом в живот убил наповал мещ. Синюхина. Рысис арестован».

Не поразительна ли эта сухая газетная заметка: человек купил предсказание своей судьбы, остался ею недоволен, захотел с типичной слепотой глупого человека изменить эту судьбу — и что же? Судьба победила его. Человек нашел свою судьбу очень плохой — и что же? Через пять минут он оказался прав.

И судьба оказалась права.

А «продавец счастья», продавший своему клиенту плохое счастье, кем он оказался в руках судьбы? Послушным слепым орудием.

И я очень, очень жалею, что мне не придется никогда встретиться с Игнатием Рысис, отбывающим где-нибудь в каторжной тюрьме положенный ему срок.

Чувствую я, что это настоящий продавец счастья и что только у него, вероятно, я мог бы с точностью узнать предстоящую свою судьбу.

Так хочется верить, что мне бы он продал счастье получше, чем счастье мещанина Синюхина.

А, может быть...

II

У ворот сборного пункта, как пчелы, роились бородатые, усатые запасные.

Человек сто их было, одетых в поддевки, зипуны, пиджаки и пальто, накинутые на плечи.

Уже чувствовалось, что постепенно отрываются они — совершенно для себя незаметно — от эгоистической семейной ячейки и что входят они уже, что вливаются они — тоже совершенно для себя незаметно — в одну великую единую могучую реку, называемую армией.

Теряется индивидуальность, теряется лицо — одна серая компактная масса поползет куда-то, сосредоточенно нахмурив общие брови на общем лице...

Я втерся в их толпу, и в один момент меня окружила, проглотила масса плеч, голов и спин.

— Что, барин, тоже идешь? — сверкнул белыми зубами на загорелом лице усатый молодец, широкоплечий, на диво скроенный.

— Нет, до меня пока очередь не дошла, я так.

Обыкновенно при таких встречах всякому пишущему человеку полагается задать солдатам один преглупый вопрос (и, однако, всякий пишущий человек его задает):

— Что, страшно идти на войну?

Я не такой.

— Курить хотите, братцы? — спросил я, вынимая сверток с заранее приготовленной тысячей папирос.

Как куча снегу под лучами африканского солнца, — если такая комбинация, вообще, мыслима, — растаяли мои папиросы.

Лица осветились огоньками папирос, приветливыми улыбками — мы разговорились.

— И чего это, скажи ты мне, барин, на милость, русский человек так немцов не любит? Японец ничего себе, турок даже, скажем, на что бедовая голова — пусть себе дышит... А вот поди ж ты — как немцов бить — и-и-и-их, как все ухватились. И тащить не надо — сам народ идет.

Чей-то невидимый голос прозвучал сзади меня:

— Понятно: турок, японец, он сбоку тебя идет, а немец на спину норовит взгромоздиться.

— Верно, Миколаев.

— Опять же о немце и так некоторые выражаются...

Мне так и не удалось узнать, как выражаются некоторые о немце, потому что сбоку весь народ зашевелился и оттуда послышался зычный голос:

— Счасть-е!!! Судьба! Пять копеек штука! Кому желательно узнать свою истинную судьбу за пять копеек штука. Нижние чины платят пять копеек, верхние чины — десять копеек!

— Ишь ты, — умилился кто-то. — Везде, значит, нижним чинам легше!

— Гляди, Михеев, — вскричал мужичонка, заметно формировавшийся уже здесь на сборном пункте в будущего ротного остряка. — Гляди, брат, как тебе повезло, что ты еще в нижних чинах! Будь ты генералом — тут бы те и крышка. Разорил бы тебя гривенник.

Широкоплечий Михеев, тот самый, что спросил меня, иду ли я на войну? — отодвинул легонько будущего ротного остряка, и, придав лицу серьезное, строгое, как перед причастием, выражение, протянул продавцу счастья пятак:

— Дай-ка, дядя, на последний. Чего оно там такое?..

И по его сжатым губам, по нахмуренным бровям было видно, что для него — это дело не шуточное.

И все поняли, что перед ними, может быть, решается судьба человека, и тоже притихли, сгрудившись около продавца счастья.

У этого продавца счастья дело было, видно, поставлено на широкую ногу: ящик был обклеен серебряной бумагой, обит золочеными, успевшими потускнеть гвоздиками, а на крышке ящика сидел старый зеленый попугай, производивший крайне благоприятное впечатление своим добросовестным видом.

Он, будто, говорил:

— Мне что ж... Мне все равно. Я в вашу судьбу не вмешиваюсь. Какой конвертик попадется, такой и получите. А дальше уж ваше дело.

Вообще, все предприятие имело солидный вид. Присутствие равнодушного, как сама судьба, попугая как нельзя лучше гарантировало отсутствие элемента пристрастия во всем деле. А если бы счастье вынимала рука продавца или покупателя счастья — кое о чем можно было бы поспорить.

— Птица вынет? — почему-то шепотом спросил Михеев, с плохо скрытым суеверным ужасом поглядывая на загадочного попугая.

— Птица. Дело Божье — нам вмешиваться нельзя.

Продавец выдвинул нижний ящичек. Попугай механически нагнулся вниз, клюнул и равнодушно протянул клюв, держа в нем *счастье солдата Михеева.*

Слышно было прерывистое дыхание заинтересованных зрителей.

Михеев перекрестился широким привычным крестом и вскрыл конверт.

Повертел нерешительно желтый клочок бумаги, всмотрелся в него и, чмокнув губами, протянул мне.

— Чегой-то печать неразборчива, — заметил он. — Прочти, барин.

И он близко-близко придвинулся ко мне, этот человек, судьба которого была в моих руках.

Я внятно прочел:

Гаданье карьеры.

«Ты красива и найдешь любящих тебя из среды множества молодых людей. Наконец, влюбишься в известного богача и *справедливо, но без взаимности; только соединению вашему помешает много думающая о себе его тетка.*

Будь, однако, *в постановлениях* своих постоянна, так, по смерти этой тетки, он обвенчается и осчастливит тебя. Бог благословит тебя потомством, которое будет тебя уважать и любить. Одна из твоих дочерей, пристойная, выйдет рано замуж, оставит мать и уедет со своим мужем в Америку, где будет счастливой.

Проживешь до 90 лет».

Михеев внимательно прослушал до конца всю подсунутую ему попугаем судьбу и, поразмыслив немного, нерешительно заметил:

— Что-то оно, как будто, не тово, барин... Будто тут больше о женщине. А?

Я обернулся с целью попросить у продавца судьбы объяснения этому казусному случаю, но того и след простыл.

Уважение к солидности его фирмы сменилось у меня легким разочарованием и досадой, но я постарался не подать виду.

Приходилось оперировать тем, что было в руках.

— Видишь ли, Михеев, — обратился я к разочарованному, убитому искателю счастья. — Ты не должен понимать того,

что здесь сказано, буквально. То есть, другими словами, здесь все сказано приблизительно. Тебе дан, так сказать, материал, а ты уж сам должен толковать, как тебе более подходит по твоему полу и званию.

Его убитый вид сменился другим — внимательным, с примесью легкой надежды в широко раскрытых голубых глазах.

И когда он придвинулся ко мне ближе и взглянул на меня этими доверчивыми, как у ребенка, голубыми глазами, будто ища защиты и покровительства — сердце мое раскрылось навстречу ему и я решил, что сделаю все, чтобы утешить и ободрить этого солдата Михеева.

III

— Так вот что, Михеев... Это ничего, что тут, как будто, женская судьба. Ведь, согласись сам, что у продавца всего один ящик, а покупают у него мужчины и женщины — как же попугаю тут разобраться. Верно?

— Так-то оно так, — согласился Михеев, по-прежнему, с полуоткрытым ртом ловя каждое мое слово.

— А еще бы же не так! Ну вот теперь разберем по-настоящему каждую фразу...

— Фразу?

— Ну, да... я хочу сказать: по кусочку. Ну-с... Кусочек первый... «Ты красива и найдешь любящих тебя из среды множества молодых людей»...

Я осмотрел его критическим взглядом и искренно сказал:

— Есть. Парень ты, действительно, красивый. Значит, это верно.

Михеев вспыхнул, опустил голову и стал застенчиво царапать крепким ногтем какой-то узелок на собственном рукаве.

И товарищи тоже осмотрели его и единогласно подтвердили:

— Да парень он что ж... Ничего себе. Парень, как парень.

— Все, как говорится, на месте.

— Значит, верно сказано.

По тону окружающих было заметно, что кредит желтой бумажонки стал заметно подыматься.

— Пойдем дальше. «Влюбишься в известного бог... гм!.. в известную богачиху и справедливо, но без взаимности»... Ну, это, Михеев, тоже понятно. Сердцу, брат, не закажешь! И если понравится богачиха — так тут уж ничего не поделаешь.

— Это верно, — согласились некоторые опытные люди из окружающих, очевидно, уже пронзенные в свое время стрелами крылатого Амура.

— Любовь — зла, полюбишь и козла, — подтвердил кто-то из наиболее израненных крылатым богом.

— То-то и оно, — улыбнулся я, снисходительно оглядывая внимательную аудиторию. — Теперь... что касается «без взаимности» тоже — брат... Ты, Михеев, не обижайся, но богачихи, они народ избалованный — где ж ей любить простого... ты чем занимался раньше?

— Сцепщиком был на железной дороге.

— Да... Где ж ей полюбить простого сцепщика?

— Что ж, я понимаю, — скромно согласился Михеев. — Где мне до богачихи. Не по носу табак.

— Это правильно, — поддержал кто-то.

— Нешто нашему брату сиволапому до богачихи тянуться? Жирно будет.

— Лопнешь тут.

— Тут уж не беспокойся.

— Отошьют.

— Дальше. «Только соединению вашему помешает много думающая о себе его тетка».

— Ишь, стерва, — возмутился рыжий солдат из числа искренно сочувствующих Михееву.

— Она, баба, действительно... Куда не впутается, везде дрянь будет.

— Ишь ты: «много думающая о себе тетка». Дал бы ей хорошей выволочки — так не думала бы о себе много.

— Жидок на расправу их брат, — заметил тот же наиболее израненный стрелами Амура. — От первого леща такой вой подымет, что и-и-их!

— Ну, замолчи. Разговорился тут. Читайте, барин, дальше.

— «Будь, однако, в постановлениях своих постоянен, так по смерти этой тетки он... гм... она обвенчается и осчастливит тебя».

Михеев вдруг прыснул в кулак, но тотчас же будто, испугавшись, принял преувеличенно важный вид.

— Уже, — махнул он рукой.

— Что «уже»?!

— Обвенчались. Восемь лет, как я женат.

— Чего ж ты молчал, — растерялся я, немного сбитый с толку.

— Как же. Девятый год пошел.

— Что ж, — спросил рыжий солдат, — так оно и было? Богатая была?

— Это как сказать... Двести рублей за ней взял, перину, корову.

— Деньги не малые, — вздохнул маленький мужик.

— Сила!

— Вот оно, брат, судьба-то и оказалась... Попугай, брат, врать не станет.

— Тетка то была?

— У ей? Была. Такая презлющая, что ужас. В Мокеевке шахтеры ее убили. Стряпухой она была на артель.

— Так ей и надо, — поддержал тот же ожесточенный женщинами господин. — Заслужила свое.

— И как это ловко все предсказано: богачиха — извольте; венчание — извольте; тетка — извольте.

— Я ж тебе говорил — попугай, он себя окажет.

— Оказал. Хитрющая птица.

— Молчите, черти. Только мешаете. Читайте, барин.

— «Бог благословит тебя потомством, которое будет тебя уважать и любить. Одна из твоих дочерей, пристойная, выйдет рано замуж, оставит мать и уедет со своим мужем в Америку».

— Не пущу! — твердо и значительно сказал вдруг Михеев, упрямо, как бык, наклонив голову.

— Кого не пустишь?!

— Ее. Дочку. В Америку.

— Как же так ты не пустишь, чудак-человек, — вмешался рыжий солдат, ежели ейный муж ее возьмет.

— Не пущу. Пусть тут сидит.

— Михеев, — возразил я. — Да ведь это же судьба. Как же ты можешь идти напротив??

— Конечно, пусти, — послышались голоса. — Ишь, черт, уперся: «не пущу»!

— Как же так можно мужнюю жену не отпустить.

— За это, брат, по головке не погладят.

— Да уж... Муж, ежели не дурак, такое тебе «не пущу» пропишет, что ног не потянешь.

— Ну, ладно... Пусть едет, — сдался Михеев. — Другая останется. Дальше как, барин?

— «...Где будет счастливой. Проживешь до 90 лет».

— Это я-то?

— Ясно. Вот видишь тут сказано, внизу.

Михеев расцвел. Ударил себя в полы и радостно засмеялся.

— Это ловко, братцы! Вот тебе и война. И пропишу же я немцу теперь!.. теперь!.. А? До 90 лет!!! А я-то думаю себе: «эх, бабахнет меня там ядром али пулей — пропал я вместе со всеми потрохами». А? Девяносто лет!

— Делов ты теперь накрутишь, Михеев, — заметил рыжий солдат, безо всякой, впрочем, зависти.

— Говорил же я, что попугай себя окажет.

— Что и говорить — все как по писанному. Спасибо, барин. Утешил.

Товарищи поздравляли сияющего Михеева.

* * *

Где-то ты теперь, Михеев?

Бежишь ли ты плечо о плечо со своим другом рыжим солдатом по холодному полю, широко открыв кричащий «ура» рот и выставив вперед острие холодного штыка, на котором через минуту забьется упитанное тело шваба, обрызгивая твои пыльные сапоги вражеской кровью?..

Или лежишь ты в лазарете с забинтованной рукой, ногой — и чья-то белая тень наклоняется над тобой, освежая несколькими каплями воды запекшиеся в лихорадке уста?..

Или уже насыпан над тобой осклизлый холм вражеской холодной земли и только крест из двух оструганных веток, наскоро перевязанный мокрым ремешком, свидетельствует, что здесь принес свою обычную жертву родине рядовой Михеев. И куда денется дочка твоя? Поедет ли она с мужем в Америку или так и застрянет на обширных полях беспредельной матери-России.

Нет. Не хочется этого думать.

Будь жив и здоров, солдат Михеев, дорогой моему сердцу...

ЯЗВА

По узким проселочным дорогам, по широкому шоссе, по железнодорожным сообщениям, по большим городам, по шумным улицам, по залитым светом театрам, по притихшим ресторанам, по мирным семейным столовым и гостиным — бродят огни.

Бродят, имея одну общую физиономию — исковерканную тоской, смесью ужаса и хитрости, смесью таинственности и многозначительности.

Некоторые с ними обращаются довольно сурово:

— Врете вы все.

— Я вру? Спасибо вам! О, как бы я хотел, чтобы это было ложью! Но нет... Я имею самые верные сведения, что это правда.

— Что правда?!

— Да что наши дела на восточном театре войны не совсем тово...

— Именно?

— Немцы уже продвинулись до Мышекишек...

— Какие такие Мышекишки?

— Место такое есть: Мышекишки.

— Где?

— Ну, уж там не знаю где — у меня карты с собой нет, а уж вы мне поверьте: немцы под Мышекишками.

— Почему же штаб ничего не сообщает?

— Не знаю почему, но мне сказал Иван Захарыч.

— Офицер генерального штаба?

— Нет, мой парикмахер. Но он имеет верные сведения. Видите ли, он бреет также и бакалейщика Поскудова, а денщик генерала Z закупает у Поскудова провизию. Вы понимаете?

Значительно прищуренный глаз. Лицо убежденное, тупоуверенное в правоте. Оно говорит: «вот, брат, я какой; стою у самого источника сенсационных сведений. Иван Захарыч с Поскудовым, врать не будут».

— Послушайте... А если Поскудов врет?

— Поскудов? Нет-с. Поскудов не врет! Зачем ему врать? Поскудов зря врать не будет. Не такой это человек, Поскудов, чтобы врать. Отца родного зарежет, а не соврет.

— Ну, денщик соврал.

— Послушайте: ну, как денщик может соврать? И скажет же человек такое, право.

Распространителю печальных сведений, очевидно, смертельно жаль расстаться с так хорошо налаженным печальным сообщением, что немцы продвинулись до Мышекишек. Он выносил в себе это печальное сведение, взрастил и без боя его не отдаст.

Ну, что ему такое эти Мышекишки? Никогда он там не был, на карте этого места найти не может, а если бы и нашел, так ведь он же, каналья, не знает: может быть, русские этот пункт и не хотели защищать? Может быть, у генералов были свои расчеты; может быть, несколько умных талантливых генералов, сидя дождливым осенним вечером в мокрой палатке вокруг разложенного на ящике из-под макарон плана, сказали друг другу: «А давайте, господа, нарочно отступим от Мышекишек, чтобы заманить неприятеля к Пильвишкам»... И может быть, все согласились с таким замысловатым планом, — и вот уже черные тени заколебались на освещенной парусине палатки, и вот уже несколько ординарцев, звучно шлепая по размокшей земле, поскакали по разным направлениям с приказом отступать на Пильвишки; да может быть, и так, что Мышекишек никаких и нет, и денщик генерала Z не прочь прилгнуть, чтобы получить у Поскудова даровую папироску, да и сам парикмахер Иван Захарыч едва ли толком донес — не расплескав наполовину, — полученное им известие.

Кажется — что такое Мышекишки, когда миллионы бьются на доброй трети земного шара?

Но нет: жалко распространителю печальных известий расстаться со своими Мышекишками и носится он с ними до тех пор, пока уж и немцы давно отброшены, изрядно перед этим поколоченные.

Встречаешь распространителя печальных сведений. Говоришь ему:

— Вот вам и Мышекишки! Наши-то отбросили немцев на всех пунктах.

Горькая улыбка освещает многозначительное, кое-что знающее, чего никто не знает, — лицо.

— Так-с, так-с. Мы, вы говорите, отбросили немцев? И где же это?

Противная морда. Самодовольная.

— Да что вы спрашиваете? Сообщение генерального штаба не читали, что ли?

Хитрость, ирония брызжет из глаз его.

— Вот оно что!.. Генеральный штаб сообщает? Так-с, так-с... А мне, представьте, Иван Захарыч говорил другое. Знаете ли вы, что два батальона попали на фугасы...

— Да откуда он знает это, черт его подери? — не выдерживает спокойный слушатель.

— Иван Захарыч-то?

— Да!

— Парикмахер-то?

— Да!!!

Дежурное многозначительное выражение появляется на лице распространителя печальных сведений.

— Он, видите ли, бреет Поскудова... и... вы, конечно, сами понимаете.

— Ну? Не понимаю!!

— А у Поскудова забирает всю бакалею и москатель генеральский денщик Z.

— Да почему же ты, скверная этакая, изъеденная хронической печалью, каналья, не веришь моему генеральскому штабу, а я должен верить твоему парикмахеру Ивану Захарычу?!

Эта фраза, к сожалению, говорится более смягченно и, потому, особенного влияния на распространителя сведений не оказывает.

Он сидит печальный, погруженный в глубокую задумчивость.

Вздыхает. С тоской во взоре говорит:

— И на французском театре дела совсем, совсем швах. Немцы уже отступили за Монтраше.

— За какое Монтраше?

— Такое есть Монтраше. Стратегический пункт.

— Но ведь *немцы* же отступили.

— Немцы.

— Почему же вы говорите, что дела плохи у французов?!

— А откуда вы знаете — почему немцы отступили? Может, у них был такой расчет, после которого они от Франции камня на камне не оставят.

— Однако французские и английские газеты сообщают, что положение союзников превосходно.

— Ну, что там ваши газеты...

— А вы откуда знаете насчет Монтраше?!

— А как же! Иван Захарыч говорил.

— Послушайте, вы! Размазня треклятая. Еще когда вы говорили о денщике генерала Z — я не спорил. Но откуда Ивану Захарычу известно положение на французском фронте?! Что он, дядя Жофра? Племянник лорда Китченера, ваш Иван Захарыч? Отвечайте вы, гнилая улитка!!

К глубочайшему сожалению, вышеизложенные вопросы поставлены распространителю в более умеренных выражениях.

— Иван Захарыч насчет Монтраше знает из верных источников. Тут, в одной технической конторе француз служит, так он его бреет. А тот, конечно, из посольства имеет все сведения...

* * *

Однажды я, выслушав от распространителя печальных известий сообщение о зверствах немцев в Смоленске, сказал ему:

— А вот я вам тоже сообщу новость из верных источников. Печальная новость: немцы навели понтоны на Иртыш, перешли его и двигаются уже на Благовещенск.

— Ну, вот! Я давно боялся этого, — обрадовался распространитель. — Что теперь только будет! Что будет! Вы откуда имеете это сведение?

— Мой портной, который бреет меня, покупает весь железный товар у родственника хутухты. Ну, вы, конечно, понимаете...

— Еще бы! Какой ужас, какой ужас! Семен Семеныч!

Проходивший мимо Семен Семеныч остановился.

— Ну?

— Слышали последнюю новость? Из самых верных источников передают, что Иртыш взят и немцы уже под Благовещенском.

Семен Семеныч, чрезвычайно польщенный этим сведением (он тоже распространитель печальных сведений), полетел дальше, а я схватил своего распространителя за руку и прошипел ему на ухо:

— Зачем вы ему это сказали?

— Ведь вы же мне сообщили...

— А зачем вы мне поверили?!!

— Ну, зачем же вам врать. Тем более, хутухта... который... портной...

— Я соврал!! — заревел я. — Сию секунду только и выдумал!! А вы, старый подлец, тухлая курица, уже и пошли передавать дальше! Исказили лицо по своему шаблону, да и пошли шептать на ухо!!! Генеральный штаб сообщает, что мы ведем по всей линии наступление...

— А Иван Захарыч...

— ... Что на западном фронте немцев теснят...

— А у Поскудова говорили, что...

— ... Немцы весенней кампании не дотянут!!!

— А у Поск... Ой, пустите, рука... больно!! Медведь...

* * *

Отдышавшись, эта осведомленная гадина сказала:

— Единственное, что меня утешает — так это, что у немцев самые большие пушки — восемнадцатидюймовые. Подумайте — всего 18 дюймов... Это ведь, кажется, не больше аршина длины? Ну, что они такими игрушечными оружиями сделают?! Да у моего Кольки пушчонка чуть не аршин длины. Такое, как у них орудие любой наш солдат возьмет подмышку и убежит. Иван Захарыч очень раскритиковал эти орудия. Одно только нехорошо — немцы уже около Лермонтова. Иван Захарыч говорил.

ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО СУНДУКА
(*Рождественский рассказ*)

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда госпожа Постулатова, сидя в будуаре, говорила гувернантке:

— Никогда я не могла представить себе такого хорошего Рождества. Вы подумайте: напитков никаких нет, значит, останется больше денег, и мы не залезем в долги, как в прошлые праздники.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда кухарка Постулатова, сидя в теплой кухне, говорила соседской горничной:

— Хорошее Рождество будет... Господа денег на пьянство не потратят, а сделают нам хорошие подарки. Слава-те, Господи.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда дети Постулатовых, сидя в детской, тихо шептались друг с другом:

— Нынче папа никакого вина и водок не может купить — значит, эти деньги, которые останутся, пойдут нам на елку. Хорошо, если бы елку закатили побольше да игрушек бы закатили побольше.

Ветер выл, как тысяча бешеных собак, и метель кружилась в невероятной сногсшибательной пляске, когда глава дома Постулатов сидел одиноко в темном кабинете, в углу, и, сверкая зелеными глазами, думал тяжелую мрачную думу.

Страшен был вид Постулатова.

«Нету нынче на праздниках никаких напитков — хорошо же! — Думал он. — Кухарку и гувернантку изругаю, жене изменю, а ребятишек всех перепорю. Раз уж скверно, то пусть всем будет скверно».

Ветер за окном выл, как тысяча бешеных собак, да и метель держала себя не лучше.

* * *

...Дверь скрипнула, и в кабинет вошла жена. Ласково спросила:

— Что ты тут в темноте сидишь, Алексашенька?

— Черташенька я тебе, а не Алексашенька! — горько ответил муж. — Возьму вот и повешусь на дверях!

— Господь с тобою! Кажется, все хорошо, надвигаются праздники, и праздники такие хорошие — будут без неприятностей... Я с тобой хотела как раз поговорить о подарках кухарке и гувернантке.

— Подарок? — заскрежетал зубами Постулатов. — Кухарке? Купить ей в подарок железную кочергу, да и бить ее этой кочергой каждый день по морде.

— Алексаша! Такие выражения. Надо же выбирать...

— Не из чего, матушка, не из чего!

— Что же тебе кухарка плохого сделала?

— Да, знаю я... Поймает крысу да и врубит ее в котлеты. А в суп, наверное, плюет.

— Опомнись! Для чего ей это делать?

— А я почем знаю. Развращенное воображение. В чай, я уверен, мышьяк подсыпает.

— Зачем? Что ей за расчет? Ведь мышьяк денег стоит.

— Из подлости. А гувернантка — я знаю — она губит моих детей. Она их потихоньку учит курить, а старшенького подговорила покуситься на мою жизнь.

— Для чего?! Что она после тебя, наследство получит, что ли?

— Садизм, матушка. Просто хочет насладиться моими предсмертными мучениями.

— Бог знает, что ты такое говоришь... — Заплакала жена. — Ну, раз не хочешь сделать им подарки, что ж делать... Я из своих им куплю. Из тех, что ты мне на расходы дашь.

— Ничего я тебе на расходы не дам. Не заслужила, матушка! Как жена, ты ниже всякой критики.

— Алексаша!!

— Чего там «Алексаша!». Ты лучше расскажи, почему все наши дети на меня не похожи? Я все понимаю! Не будет им за это елки!!

— Какой позор! — воскликнула жена и, рыдая, выбежала из комнаты.

— А ловко я ее допек! — подумал немного прояснившийся Постулатов. — Теперь еще только выругать кухарку, перепороть детишек, — и все будет, как следует.

И заворочались во тьме тяжелые ленивые мысли:

«Жаль, что у меня детишки такие послушные — ни к чему не придерешься. Хорошо, если бы кто-нибудь разбил какую-нибудь вещь, или насорил в комнате, или нагрубил мне. В кого они только удались, паршивцы? У других, как у людей — ребенок и стакан разобьет, и кипятком из самовара руку обварит, и отца дураком обзовет, — а у меня... выродки какие-то. Вон у Кретюхиных сынишка в мать за обедом вилку бросил... Вот это — ребенок! Это темперамент! Да я бы из такого ребенка такой лучины нащипал бы, таких перьев надрал бы, что он потом за версту от меня удирал бы. Вот что я с ним, подлецом, сделал бы. А от моих — ни шерсти, ни молока... Сидят у себя они в детской тихонько, смирненько, не попрыгают в гостиной, не посмеются».

Сердце его сжалось.

«А почему они не прыгают? Почему не смеются? Ребенок должен вести себя сообразно возрасту. А если он сидит тихо, значит, он паршивец, делает нечто, противное своему возрасту. А за это — драть! Неукоснительно — драть. Я им покажу, как серьезничать».

Он встал, сверкнул зелеными глазами и, крадучись, отправился в детскую.

А за окном ветер и метель вели себя ниже всякой критики...

* * *

— Вы чего тут сидите? — нахмурившись и обведя детей жестким взглядом, проворчал Постулатов.

— Мы ничего, папочка. Мы сидим тихо.

— Сидите тихо?!

Леденящий душу смех Постулатова прозвучал в детской, сливаясь с воем бури за окном.

— А разве дети должны сидеть тихо? Детское это дело? Сейчас же, чтобы резвиться, прыгать и смеяться. Ну?!!

Детки заплакали.

— Простите, папочка... Мы больше никогда не будем...

— Что? Плакать? Немедленно же резвитесь, свиненки этакие! Ну, ты! Или смейся, или я с тебя три шкуры спущу. Я вам пропишу елку!..

Прижавшись друг к другу, забившись в угол, дети с ужасом глядели на искаженное лицо отца...

— Ах, так? Такое отношение? Не хотите веселиться?! Ну, так вы сейчас отведаете ремня!! Эй, кто там?! Где мой кожаный ремень!! Агафья! Лизавета! Подать ремень!!

Столпившись в дверях, все домочадцы с ужасом взирали на разъяренного хозяина.

— Куда девался ремень? Агафья!

— Не знаю, барин... я и то найти его не могу!.. Уж не в зеленом ли дедушкином сундуке?..

— Подальше, дьяволы, постарались засунуть. Прочь!! Я сам его найду!

И ринулся Постулатов в полутемный чулан, в котором стоял знаменитый дедушкин зеленый сундук.

В каждом благоустроенном семействе имеется какой-нибудь баул, сундук или просто коробка, в которую годами складывается всякая дрянь: сплющенная весенняя шляпка, два разрозненных тома «Нивы», испорченная мясорубка, засаленный галстук, бутылочки со старыми лекарствами, мужская сорочка с оторванными манжетами, пара граммофонных пластинок и изъеденная молью плюшевая кошка.

На письменных столах и туалетах тоже стоят маленькие коробочки, в которых годами копятся: шнурок от пенсне, полдесятка разнокалиберных пуговиц, поломанная запонка, английская булавка и позолоченная облезшая часовая цепочка.

Зеленый сундук Постулатовых отличался той же хаотичностью и разнообразием содержимого...

Лихорадочно рылся разъяренный Постулатов, отыскивая популярный в детской желтый кожаный ремень от саквояжа, рылся... как вдруг рука его наткнулась на что-то стеклянное.

— Дрянь какая-нибудь, пустая посуда, — подумал он и вытянул на свет Божий одну бутылку, другую... третью...

Оглядел их — и сердце его бешено заколотилось: в первых двух ярким топазом сверкнул французский коньяк, а в третьей тихо мелодично булькала при малейшем сотрясении настоящая смирновская водка.

— Чудеса... — проворчал он дрогнувшим голосом и закричал:

— Лизочка! Лиза! Иди сюда, голубушка.

Вошла заплаканная жена.

— Лизочек, каким это образом в зеленом сундуке очутились коньяк и водка? Откуда это, милая?

Жена наморщила лоб.

— Действительно, как они попали в сундук? Ах, да! Это я весной засунула их сюда, перед Пасхой. Ты тогда купил больше, чем нужно. А я сунула сюда, подальше от тебя, да и забыла.

Постулатов подошел к жене, нагнулся близко к ее лицу:

— А чьи это глазки?

— Лизины.

— А зачем они заплаканы?

— Потому что один дурачок ее обидел.

— А если дурачок их поцелует — они будут веселее?

— Барин, — сказала, входя, Агафья. — Вот и ремень. Он за шкахвом был.

— Нацепи его себе на нос, — засмеялся Постулатов. — Послушай, Агафьюшка. Ты, кажется, гусей хорошо жаришь? Так вот изжарь к Рождеству. Потом, я давно хотел спросить: что ты такое кладешь в пирожки с ливером, что они так вкусно пахнут? Молодец ты у меня, Агафьище, замечательная баба! Можешь взять для своего мужа мой старый синий пиджак... Я его носить не буду.

Пошел в детскую легким танцующим шагом

— Марья Николаевна! Я доволен вашими занятиями с детьми и хотел бы чем-нибудь... Впрочем, это уже дело жены, хе-хе! А вы что, архаровцы, приумолкли? Чего ждете?

— Сечься ждем, — покорно вздохнул самый маленький и заплакал.

— Ишь чего захотели? А чего вы больше хотели бы: сечься или елку?

С решительностью, чуждой всяких колебаний и сомнений, все сразу определили свой вкус:

— Елку!

— Да будет так! — мелодично засмеялся отец, целуя младшего. — Кося, заведи граммофон!..

* * *

Тысячи собак за окном улеглись спать под ровное белое покрывало. Тысячами бриллиантов горела пелена снегов под кротким тихим светом луны.

Завтра — веселый сочельник.

Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение...



ИЗ СБОРНИКА "ОСИНОВЫЙ КОЛ НА МОГИЛУ ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ" (1915)





I. ПЛАЧ НА МОГИЛЕ

Позвольте мне, читатель, немного поплакать на вашем дружеском плече. Это не будут обильные, так портящие платье и разъедающие материю женские слезы; это не будут кристальные пресные слезы обиженного на две минуты ребенка; это — скупые, мелкие, полусухие слезы взрослого большого человека.

Позвольте мне поплакать, читатель — мой интимный доверенный друг, — знаете, о чем? Об исчезновении на Руси пьянства.

— Эко, о чем вздумал плакать человек, — укоризненно покивает головой читатель. — Как не стыдно, право. Радоваться нужно, что пьянству нанесен смертельный удар, а он разливается весенней рекой.

Да я и радуюсь. Честное слово, радуюсь.

Но в то же время чувствую себя немного смахивающим на какую-нибудь злосчастную жену портновского подмастерья или сапожника, — жену, которую пьяный, гнусного вида муж истязал и колотил семь раз в неделю, и, наконец, к общей радости всех соседей и заказчиков, прибрал Господь этого потерявшего образ человеческий негодяя-сапожника.

Кажется, радоваться бы надо?

Жена пьяного сапожника, как и я теперь, тоже радуется, что прибрал Господь, выкинул из русской жизни пьяного зверя, а все-таки, когда покойника начнут опускать в наскоро сколоченном гробу в могилу, хлопнется простодушная баба оземь и завоет истошным голосом:

— И на кого ж ты меня поки-и-нул? И что же я теперь без тебя, милостивца (?!), делать буду?! И пришла же мне без тебя смёртушка-а-а!!.

Никакая смёртушка ей не пришла, а, наоборот, вернувшись с похорон, заживет баба в сто раз лучше, потому что не будет пьяный дурак обижать ее, не будет раздирать ее сердце своим исковерканным видом...

Все это верно. Но уж так чудно создан русский человек, что даже на свежей могилке палача своего, Малюты Скуратова своего, — всплакнет.

Вот так же, как вдовая жена издохшего сапожника, плачу и я тихими интеллигентскими слезами над трупом издохшего русского пьянства.

Будь ты проклято, анафемское, но все-таки много в тебе было своеобразной поэзии, уюта и прелести закостеневшего, сложившегося быта.

Я понимаю, что тоска по погибшей пьяной старине не спасет водочного быта, не возродит его, и поэтому плачу без всякой опаски: зарывают покойника, так уж чего там. Позвольте поплакать, право.

Позвольте поплакать о родной русской литературе; тесно нанизаны ее перлы на пьяную нитку, и мерцают эти перлы поярче, пожалуй, других перлов — не пьяных.

И мы понимаем, ценим весь пьяный дух. их, а дети наши уже не поймут их. Половина Гоголя погибнет для детей наших, пропадет вкус этого удивительного писателя — без длинных толкований, объяснений, комментарий...

Будет ли понятно детям нашим гениально-пьяное вранье Хлестакова, если им не знаком источник этого вранья...

А «Ночь под Рождество»? А «Вий»?

Старый казак Дорош делает следующее замечание разине Оверко:

— «Смотри, Оверко, ты — старый разиня, как будешь подъезжать к шинку, что на чухрайловской дороге, то не забудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть».

После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!»

Притом, лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком».

Какая дисциплина! Даже лошади, — и те, наравне с хозяевами, втянулись в пьяное дело, хотя и совершенно бескорыстно...

Велик народ, сумевший вырастить и воспитать таких лошадей!

Поймут ли наши потомки души этих лошадей так, как понимаем их мы? Поймут ли они, почему казаки, «заснувшие довольно громко», едва только брика поравнялась с шинком, крикнули все в один голос: «Стой!» Да ведь это целая культура, заботливо выращенная, всосанная с молоком матери целым рядом поколений.

Не поймут этого наши потомки, эти будущие «Оверки, слепые разини»...

Два часа нужно будет объяснять им, в чем тут чудесный аромат, разносящийся от этих строк, как из горлышка откупоренной бутылки старого вина...

Будет ли близок их сердцу так, как нашему, подгулявший мужик Каленик, с его тяжелыми сомнениями — так ли танцуется гопак, или не так? Назовут наши потомки Каленика просто невоспитанным дурного тона мужиком, которого нужно отправить в участок за танцы на улице и приставание к девушкам. («Эх, вы, замысловатые девушки... А дадите перецеловать вас всех?»)

От Каленика наши потомки отвернутся, а я поцеловать его готов, если он подвернулся бы мне под руку...

Ау, Каленик! Где ты?

Нет вас, умрете вы в нашей памяти — и старый казак Чуб, и Солопий Черевик, и много, много других.

Тургеневские «Певцы» это — ряд подлинных жемчужин, нанизанных на крепкую пьяную нитку... Выдерните нитку — и рассыпется этот жемчуг так, что уж никогда никому не собрать его...

* * *

Человечество, как и отдельный индивидуум, стареет.

И молодостью его была скачка на роскошно убранных лошадях, битва на шпагах в темно-зеленом лесу, ночевки

в трактирах, перелезание в сад при помощи шелковой лестницы, преданность старых слуг, пышный выезд короля, пленник, заключенный в сырое подземелье, безумство, риск головой ради ласкового взора нежной красавицы — и весь этот винегрет был полит целым водопадом пенящегося искристого вина, спутника разгульного молодого человечества.

Стареет человечество.

— На кой дьявол, — думает изнеженное постаревшее человечество, — буду я, как дурак, скакать по зеленым полям на роскошно убранной белой лошади, тратя на это недели, когда стоит мне только сесть на вечерний курьерский поезд, чтобы после восьми часов крепкого сна на свежей постели очутиться в необходимом мне городе...

Глухою ночью среди мрака и непогоды мчится экстренный поезд, заключая в себе несколько сот изнеженных представителей одряхлевшего человечества.

А в прежнее время в этот час сидел бы закутанный в плащ незнакомец у очага придорожного трактира, жадно поглядывая на привешенные к почерневшему от дыма потолку копченые окорока, в то время, как говорливый хозяин жарит на вертеле курицу для грозного нетерпеливого гостя, то и дело хмурящего брови и хватающегося за рукоятку пистолета, украшенного богатой насечкой. И вот уже шипит, распространяя аромат, жареная курица, и уже подана хозяином на стол бутылка какого-нибудь анжуйского или бордосского, и веселеет взор грозного незнакомца от двух-трех стаканчиков чудодейственного напитка...

* * *

Дряхлеет человечество.

Нельзя уже ему пить, как раньше: почки стали побаливать, печень его общечеловеческая увеличилась, подагра к нему подползает, кашель, — и предписал ему общечеловеческий доктор строгую диету и суровый режим: не ездить на белой лошади по изумрудной сырой траве, не есть в придорожных трактирах стряпню говорливого, бойкого трактирщика и, главное, — не пить! Ни одной капли спиртного! Ни одного стакана анжуйского, или старопольского меду, или доброй хохлацкой горилки...

Нельзя, жалкое вы одряхлевшее человечество! У вас печень увеличена. Вам нужно лечиться электричеством.

А молодое человечество болело печенью только в одном случае: когда недруг ловким ударом кинжала с насечкой протыкал эту печень.

* * *

Что такое пулемет, как не тот же механический экспресс? Второй перевозит сотни людей скоро, верно и дешево с одного места на другое; первый переправляет сотни людей в лучший мир — скоро, верно и дешево.

Удар шпагой глаз на глаз после долгой битвы под склоненными ветвями зеленого дуба это — старая благородная картина старого благородного мастера.

Работа пулемета это — берлинская олеография, назначение которой тоже — украсить стену дома смерти; но какая это скверная работа! Нет в ней дыхания благородного мастера старой школы...

* * *

Одряхлевшее человечество, как всякий старый человек, стало уравновешенно, благоразумно.

Зачем рисковать головой ради улыбки красавицы, когда можно попытаться купить ее. А если дело не сладится, можно пустить в ход другую уловку: постараться забыть ее.

Тем более — это так легко теперь, когда вместо молодой горячей крови течет прокислая вода, не подогретая струей кипучего вина (нельзя пить; доктор запретил; печень).

* * *

Трезвость — так трезвость.

Ясно, что народ будет обстраиваться, богатеть, приобретет электрические сеялки, веялки и сноповязалки... И всем будет хорошо...

Только, может быть, одряхлевший мужик Каленик из «Майской ночи», насосавшись выкуренной тайком в самоваре водки, будет ясным летним лунным вечером бродить одинокий, непонятый по вымощенной, залитой электричеством,

малороссийской улице, будет бродить, пошатываясь и бормоча себе под нос вековечную пьяную речь:

«— Да гопак не так танцуется! Что же это рассказывает кум? А ну: гоп, трала! Гоп, трала! Что мне лгать, ей-богу, не так!»

Иди спать, старик. Не твое время теперь. Заберет тебя трезвый урядник в трезвую электрическую часть, и будешь ты там, одинокий, непонятый, возиться в уголку за печкой со своим глупым гопаком...

Теперь гопак совсем по-другому танцуется; и имя ему другое — танго.

Прости нас, дедушка Каленик, прости своих трезвых внуков. Не до тебя тут, — не путайся, пьяненький, под ногами, не мешай нам строить новую, сытую, благополучную жизнь.

* * *

Речь на могиле:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Кого мы хороним? Кого мы лишились? Зеленого змия мы хороним. Пьянства мы лишились... Дорогой покойник! Ты был нашим спутником, нашим утешителем, вдохновителем и верным другом. Но... «расстаться настало нам время». Мы сделались уже старенькие, слабенькие, и не можем больше выносить твоих могучих дружеских объятий... Кости от них трещат. Печень болит от твоих поцелуев. Руки наши дрожат, и подслеповатые глаза гноятся от твоих услуг. Спи, милый зеленый змий, и пусть твое пьяное жало никогда не высунется из могилы, чтобы поцеловать идущего мимо бодрого юношу или крепкого мужа! Потому что не вынесут они твоих крепких поцелуев, как выносили их прежние люди. Наши бодрые юноши не особенно бодры и наши мужи не так, чтобы уж очень крепки... Спи! Без тебя постаревший человек довершит предуказанный ему Предвечным тяжкий земной путь. Гробовщик! Опускайте гроб в могилу... Могильщики! Засыпайте! Плотник! Где плотник? Приготовили ли вы заказанный вам трезвой Россией осиновый кол? Здесь? Благодарю вас! Потрудитесь забить его так, чтобы от земли выдавался конец не больше аршина... На память потомкам! Делайте свое дело, плотник!..

* * *

Считаю своим долгом указать на то, что своими стенаниями я сотряс воздух, именно будучи в той уверенности, что делаю я это на закрытой могиле зеленого змия.

А если вдруг, паче чаяния, покойничек окажется жив и, тут же сидя в первом ряду, прослушает мою о нем хвалебную речь — положение мое будет преглупое, и благодарственный адрес от трактирщиков, поднесенный мне «за особые заслуги», только меня раздосадует.

Так вот. Надеюсь, что русское правительство не поставит меня в такое тяжелое положение.

Потому что поэзия и грусть по пустякам ему не свойственны, а забота о благе русского мужика ему свойственна.

II. БАРЕЛЬЕФ НА МОГИЛЕ

На дне сырого, заросшего лопухами, бурьяном, чертополохом и прочей дрянью — оврага, насыпан высокий, осевший курган; курган этот насыпан над могилой русского Зеленого змия. И овраг весь, поэтому, получил название «Змеиного»; а раньше он назывался «Волчьим». Овраг одной стороной соприкасается с Трупной балкой, разделяющей поселок Белогорячечный на две части.

Курган в «Змеином» овраге никем не посещается, кроме опухших записных пьяниц, приползающих сюда лунными холодными ночами, чтобы повыть на могиле своего дьявольского батьки, подраться друг с другом и подышать спиртным запахом, выделяющимся из болотистой почвы...

Лица у пьяниц — светло-зеленые, вероятно, в честь своего патрона, глаза мутные, болотного цвета, и, когда все эти зеленые пьяницы вступают в драку, то свалявшись в один грязный тусклый комок, наносят друг другу глубокие раны осколками бутылок. Острое стекло, как нож в киселе, разрывает дряблые, рыхлые ткани алкоголических тел, а пьяницы воют, хрипло смеются и плюют друг на друга.

Невесело.

На могиле Зеленого змия, как на всякой могиле, нужно поставить памятник.

Предлагая это, я отнюдь не преследую каких-нибудь сентиментальных целей, не собираюсь миндальничать на манер семипудовой купчихи, которая воздвигает над могилой мужа семипудовый монумент, причем на фасаде приказывает написать:

«Оставил одну неутешную меня тут.

Жду не дождусь, когда и мне будет капут».

Идея постановки памятника над могилой Зеленого змия должна иметь чисто практический характер: из-под тяжелого куска гранита ему не так легко будет снова выбраться на свет Божий. Правда, в могилу забит довольно солидный осиновый кол, но этого мало. Старые люди категорически утверждают, что некоторые хлопотливые ведьмы, даже пронзенные этим осиновым колом, ухитрялись выползать из могилы, карабкаясь по колу, как проворный матрос по призовой мачте, во время народного гулянья.

Итак, на могилу Зеленого змия нужен большой памятник, высеченный из дикого камня, а по четырем сторонам его должны красоваться медальоны-барельефы, изображающие лица четырех типичных детей Зеленого змия: Ваню Косолапого, Гришу Утятина, Афанасия Чемерицу и Неизвестного Москвича.

Почему выбор остановился на них? Потому, что в них с ослепительной яркостью отразились все четыре характера, четыре темперамента всякого вообще пьяного человека.

Обдумывая вопрос об украшении барельефами могилы Зеленого змия, я сначала обратил внимание на связь между профессией и характером опьянения, и поэтому решил остановиться на таких четырех медальонах: актера, чиновника, извозчика и купеческого сына.

Но это оказалось неудобным: несмотря на всю типичность каждого в отдельности, свойства одного роковым образом оказывались вкрапленными в виде мелких частиц в характер другого.

Чище всех оказался тип актера.

Обращали ли вы внимание на то, что, напившись, всякий актер стремится, прежде всего, вызвать к жизни какую-нибудь драку, побоище, одним словом, членовредительство? Планы его в этом случае совершенно бескорыстны, потому что ему решительно все равно: он ли поколотит, или его

поколотят. «Главное, — думает он, — чтобы в мире появились вызванные из небытия несколько оплеух, затрещин и подзатыльников, а я ли их отвешу, или мне чья-нибудь дружеская рука отвесит их, — для мировой гармонии это безразлично...»

Самый лучший драматический актер или опереточный комик относятся к получению затрещин в пьяном виде с улыбкой резвого ребенка, поймавшего на зеленом, залитом солнцем лугу пеструю бабочку: поймает ребенок бабочку и тотчас же о ней забудет...

Так и актер:

— Послушай-ка, — спросит он приятеля, рассматривая на другой день в зеркало свое опухшее лицо, — кажется, мне вчера попало от кого-то?

— Попало, — подтверждает приятель, закуривая папиросу.

— От кого бы это?

— Да от меня же. Я тебя два раза проштемпелевал довольно основательно.

— Ты? Неужели? За что?

— Мне не понравилось, как ты себя держишь: повалил благородного отца на пол и стал бить его по животу граммофонной трубой. Я тебя и того... попотчивал.

Долго смотрит пострадавший на свое лицо, потом откладывает зеркало в сторону и кивает головой:

— Здорово ты это... Впрочем, сегодня я в спектакле не занят. Дай-ка папироску. Читал, как Окулькова выругали нынче?

Установив с непреложностью эту типичную актерскую черту, я сейчас же заметил, что ее можно обнаружить в виде тонкой прослойки и в купеческом сыне. Правда, купеческий сын любит, чтобы его в пьяном виде «уважали», но и извозчик любит в пьяном виде всеобщее уважение и восхищение его извозчичьей персоной... Правда, извозчик любит в подпитии прослушать жалостную песню и поплакать немного над своей загубленной молодостью, но это же свойственно и чиновнику.

Вот почему я забраковал связь между профессией и характером опьянения...

И вот почему я остановился на четырех резко выраженных индивидуальностях, на четырех определенных лицах, на че-

тырех пьяных людях: Ване Косолапове, Грише Утятине, Афанасии Чемерице и Неизвестном Москвиче.

Наблюдать мне пришлось их при исключительно благоприятной обстановке (сам я ничего не пил, сидя в стороне), и поэтому все четверо произвели на меня исключительно свежее впечатление своей простотой и непосредственностью.

Изображу все их разговоры и поступки со стенографической, с кинематографической точностью.

* * *

Начинается с того, что все четыре «барельефа на могилу Зеленого змия» сидели за столом в отдельном кабинете ресторана и, только что налив по первой рюмке, чокнулись и выпили.

— Эх, — крикнул Неизвестный Москвич, — хорошо!!.

— Чрезвычайно приятно выпить рюмочку, — согласился Афанасий Чемерица. — Как ты находишь, Косолапов?

— Что ж? — уклончиво согласился спокойный Косолапов. — Рюмка не вредит.

— И другая не повредит, — шумно рассмеялся Неизвестный Москвич. — Наливай, Чемерица.

— Мне что ж, я налью. За ваше здоровьице, братики. Э, э! Ты, что же, Ваня, неполную. Нет, уж ты выпей до конца.

— Ну, что ж, — сказал Косолапов. — Вместе со всеми и выпью.

— Нет, нет, так нельзя. Пей сначала то, что не допил, а потом я уж всем налью.

— Выпил? Ну, вот так... А ты что же над своей рюмкой нос повесил?

— Я выпью.

— То-то. Ну, господа, еще по одной?

— Ты уже выпил?

— Выпил.

— А почему же у тебя рюмка полная?

— Это Чемерица сейчас налил.

— Врешь, врешь! Зачем бы Чемерице тебе одному наливать? Он бы всем налил.

— Он всем и наливал. А я свою раньше выпил, так он мне не в счет и налил.

— Нет, это ты сжульничать хочешь... Ну, мы сейчас разберем: которую мы рюмку пьем?

— Третью.

— Врешь, четвертую. Еще первую Чемерица семгой закусил, вторую — жареным грибочком с луком, третью салатом из омара...

— Ан вот и попался! Омара-то даже и на столе нет.

— Ну, уж я не знаю, чем он там закусывал, а только ты должен эту рюмку выпить.

— Нет, пусть и все выпьют.

— Ваня! Не передергивай.

— Да что вам такое — меньше я одной выпью или больше.

— Как что такое? — ахнули остальные трое. — Вот это мне нравится?!

— Ну, ладно... Уговорили.

— Вот молодец. Афанасий, прошлый раз ты наливал, теперь пусть Гриша нальет.

— Извольте, — сказал Гриша. — Э, э, брат! Ты чего же это по полрюмки оставляешь?! Так нельзя. Допей!

— Да я...

— Ничего там не «да я». Допивай.

— Вот, а теперь можно и налить. Ваня! Что же это и у тебя чуть не половина остается... Так нельзя.

Для читателя этот разговор покажется несколько однотонным, лишенным всякого разнообразия, но действующие лица купались в разговоре как рыба в воде, со вкусом подавая каждый свою реплику:

— Да я только что выпил.

— Ну, да... Морочь кому-нибудь другому голову. Ну пей, не задерживай очереди.

— А ты, Гриша, — печально, с болью в сердце прошептал Чемерица, — опять оставляешь чуть не половину рюмки? Так нельзя, Гриша. Неблагородно.

* * *

После третьего графинчика эти бесцельные разговоры понемногу сократились, дав место разговорам более содержательным, в которых, как водоросли в прозрачной воде, стал просвечивать, проглядывать темперамент и характер каждого пирующего.

— Эх, Утятин, — неожиданно хлопнул друга по плечу Неизвестный Москвич. — Чего, брат, зажурился?! Все хорошо. Выпьем, как говорят хохлы, помьянемо родителей, тай будь воны прокляти!

Гриша Утятин вдруг откинулся на спинку стула и, растягивая слова, произнес немного в нос:

— Виноват, я прошу моих родителей не трогать. Можете о своих отзываться, как вам угодно, а моих... Одним словом, считаю ваши слова бестактными и неуместными.

— Ну, Гриша, брось. Я же пошутил.

— Нужно знать, с кем и как шутить, — значительно заметил Гриша.

— Вот... действительно, — печально прошептал Чемерица, продырявливая пробкой кусок хлеба. — Этого только и недоставало... И так жизнь не красна, всюду запустение, дороговизна, а тут еще эти ссоры. Господи! И без того плакать хочется, а вы...

— Милый! — всполошился Москвич. — Что с тобой? С чего это все? Брось! Смотри, солнышко светит, птички разные прыгают.

— Птички, конечно, прыгают. А нам, брат, радоваться нечему. Всюду зло, людишки дрянь.

Удар кулаком по столу прервал его слова.

Гриша, привстав со стула, качнулся к Афанасию Чемерице и, глядя на него исподлобья покрасневшими глазами, зловеще спросил:

— Виноват, это вы о ком же?

— Да ни о ком я. Вообще, говорю. Выпей, брат, лучше... Плохо, брат, все, омерзительно.

— Нет-с, виноват... Вы вот сказали: «людишки дрянь»... Это вы на кого намекали? Почему вы на меня взглянули, когда говорили это?

— Бог с тобой, Гриша, — заплакал Чемерица. — За что ты меня обижаешь?

— Нет-с, я так этого не оставлю!!. Если всякий мальчишка и щенок...

Голос его попал в тон оконному стеклу, и оба тонко надтреснуто зазвенели: и голос, и стекло.

— Братцы, господа! — надрывался Неизвестный Москвич. — Ну, что там, ну, чего там!.. Все вы хорошие, все

вы замечательные люди; из-за чего ссориться, что делить? Обнимемся, как братья, поцелуемся, как сестры. Мы все молоды, красивы...

— Виноват, — насторожился Гриша. — Что вы этим хотите сказать? Это насмешка! За это, милостивый государь, в порядочном обществе...

— Как тяжело, о Боже, как тяжело, — застонал Афанасий, схватившись за голову. — Всюду интриги, подкопы, дрязги. Люди озверели. И вот я спрашиваю сам себя... Стоит ли жить?.. Не лучше ли...

— Афанасий, — с неистовой восторженностью воскликнул Неизвестный Москвич, забыв уже о своем препирательстве с самолюбивым Гришей. — Афанасий! Неужели, ты не чувствуешь всеми фибрами, что вот ты, Афанасий, жив, что всюду птички, что тебя любит начальство! Афанасий, да ведь жизнь хороша, ведь! Ведь вот сейчас подадут пельмени, и пельмени ведь хороши и даже все хорошо, и даже то хорошо, что Гриша на меня обиделся: это доказывает, что у него... как это... неза... независимый — вот! — независимый самолюбивый харак... тер! Ах, господа!..

— Прошу вас меня не касаться, — закричал обиженный до глубины души Гриша. — Я понимаю, что стою вам поперек дороги, и вы роете мне яму!!. Вы думаете, не понимаю? О-о, не беспокойтесь! Насквозь вижу!.. Довольно! Раскусил!..

— Гриша! Брось. Ну, дай, я тебя поцелую. Афанасий, ну, зачем ты плачешь?! Да что же это такое, господа? Косолапов! Ну, дай я тебя поцелую! Ведь я же тебя люблю же, Косолапчик мой.

Удивительнее всех было поведение Косолапова... Он сидел спокойный, сосредоточенный и, нахмурив густые темные брови на бледном лице, не отрываясь, глядел в угол. Изредка только лицо его прояснялось, и он добродушно поглядывал на трех друзей.

— Вот мы едим котлеты из мяса...— прошептал Чемерица. — А из-за этого, может быть, корову убили... Чем она виновата?..

— Эх, Афанасий, — подхватил Неизвестный Москвич. — И коровка не виновата, и мы все не виноваты.

Вино пенится, добрые друзья меня окружают, начихать нам на коровку. Эх, всех мне хочется, всех вас перецеловать, родные мои! Даже этого молчаливенького Косолапова...

Косолапов с непроницаемым видом покачал головой...

— Даже плакучего Афанасия, даже этого ворчуна Гришеньку...

— Что вы этим хотите сказать? — взревел Гриша. — Я не позволю издеваться над собой!! Я... я...

— Нет счастья в сердце моем, — всхлипнул Афанасий. — Эх, Косолапов... Тяжело, а от тебя я не слышу ни слова утешения. Молчишь ты.

Спокойный, сосредоточенный Косолапов вдруг зашевелился, медленно поднялся с дивана, размахнулся и, стиснув зубы, ударил ликующего жизнерадостного Неизвестного Москвича.

— Ваня?? — простонал Москвич. — За что же...

— Эх, — крякнул Косолапов, разминая могучие плечи. — Я вас всех тут расчешу, как следует!

И страшный, молчаливый, ринулся в середину оторопевших друзей.

И из свившегося клубка четырех тел донесся только звонкий голос Гриши:

— Что вы хотите этим сказать?! Вы не смеете драться! Я протестуюсь!..

Спит сейчас Зеленый змий... И пусть украшением его монумента будут барельефы четырех друзей — четырех пьяных характеров, четырех пьяных темпераментов.

СУХОЙ ПРАЗДНИК
(*Неорождественский рассказ*)

В зиму 1914 года по Рождестве Христовом — и даже более того, в первый день праздника Рождества Христова, к Пыниным пришел с визитом Кунин.

Пынин был умный человек; Кунин — глупый...

Может быть, этим последним свойством только и можно было объяснить ту непосредственность, с которой Кунин разлетелся с визитом к Пыниным.

Когда недоумевающая горничная открыла Кунину дверь он вошел, нарядный, пахнущий духами, розовый от декабрьского мороза.

— Здравствуйте, Луша, — воскликнул он, — с праздничком вас.

— Спасибо, — вздохнула Луша. — Что прикажете, барин?

— Ничего не прикажу, чудачка! С визитом пришел.

— Нешто вы доктором сделались? — спросила Луша, немного сбитая с толку.

— Зачем доктором?

— А с визитом-то. Которые из докторей, так, действительно, к больным...

— Да нет! Вот оригиналка-то? Понимаешь, я пришел с праздничным визитом. Как вообще. Как приходил в прошлом году, в позапрошлом.

— В позапрошлом? Извольте, я спрошу у барина.

— Да, да, конечно, доложи. Я тут подожду.

Снова оглядев его недоуменным взглядом, горничная ушла.

Из гостиной послышались голоса:

— Кто там, Луша?

— Кунин господин — пришли.

— Ку-унин? Зачем?

— Не знаю. Говорят, к вам пришли; как в позапрошлом годе...

— В позапрошлом? А что было в позапрошлом году?

— Не могу знать. Мало ли что было.

— Бузя, — обратился Пынин к жене. — Ты не помнишь, зачем приходил к нам Кунин в позапрошлом году?

— Был он несколько раз, — призадумавшись, ответила жена. — А зачем заходил, — не помню.

— Странно... Праздник нынче, первый день Рождества, а он приходит. Луша! Может, ему что-нибудь нужно?

— А мне откуда знать?

— Может, ему что-нибудь экстренно понадобилось, — сказала жена. — Такое, что нельзя было отложить до после праздников, — вот он и пришел...

— Гм!.. Все может быть. Не на войну ли он едет? Луша! Он, Кунин этот, не в военном костюме?

— Нет-с, помилуйте. Во фраке, при белых перчатках, с цилиндром.

— Черт знает что. Я прямо-таки, теряю голову. Не предложение ли он приехал делать?..

— Ты скажешь тоже... Кому?!

— А? Кому-нибудь из нас.

— Умно. Если мне — так я замужем, тебе — так ты мужчина... Лиле? Так Лиля умерла когда еще... Зинке? — Зинке, положим, тринадцатый год, но все-таки...

— Луша! Пойди просто спроси его: по какому делу он приехал? Что ему нужно?

Исполнительная Луша повернулась на каблуках и вышла в переднюю.

— Что вам нужно? — спросила она, с тайным сочувствием глядя на пригорюнившегося в уголку передней Кунина.

— Как... что мне... нужно? Я с визитом пришел! Понимаешь? Теперь Рождество, — вот я и пришел.

— Вот вы и пришли? Ну мне что, — я скажу.

Снова вернулась в гостиную:

— Говорит, с визитом.

Супруги Пынины обменялись изумленным взглядом.

— Нашел время визиты делать!.. Ну, что же делать, — зови его.

* * *

В прежнее время было так: едва в дверях гостиной показывается надушенный, сверкающий белизной накрахмаленного пластрона сорочки. Кунин, — как Пынин воздымал руки кверху и бросался, подобно тигру, на беззащитного Кунина:

— Дорогусечка! Вы ли? С праздничком... А, позвольте вас... Чмок! Чмок! Ну, что? Живеньки-здоровеньки? Ну, мой молодой друг, не будем терять золотого — времени, — к столу, к столу, к столу, — трижды к столу! Садитесь! Вам какой? Есть вишневая, есть сливович — крепкий, как собака, есть коньяк... Поросеночка? Икорки? Балычка? Колбаски? А ну, еще одну, старина, мой стариканушка славный, старичище замечательный!.. Хе-хе...

Эти умилительные картины пестрой чередой пронеслись в голове Кунина, когда он переступил порог гостиной...

Увидев Кунина, Пынин сделал навстречу ему три шага и, широко раскрыв глаза, воскликнул:

— Сергей Николаевич? И во фраке? Чему это приписать столь торжественный вид?

— Помилуйте, ведь Рождество.

— Ну?

— Рождество, говорю.

— Так-с.

— Как же не надеть фрака!

— А зачем?

— Да с визитами-то — не в пиджаке же ездить?

— Ах, да! Вы с визитом? Так, так. Бывает.

Хозяин пожевал губами и с напряженной задумчивостью поглядел в окно.

Гость стоял против хозяина и всем своим видом показывал, что он чего-то ждет.

Помолчали так, стоя посреди сверкающей паркетом гостиной, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну-с... вот, так, значит, — выдавил из себя хозяин тугие слова.

— Да-с, — подтвердил гость. — Праздничек, что называется.

— А вы, значит, с визитом?

Гость вздохнул.

— С визитом.

Постояли, помолчали. Кунин с неискусно сделанной рассеянностью хлопал себя себя по коленке шапокляком и вздыхал.

— Да-а, — сказал хозяин. — Дела!

— Как поживаете? — осведомился Кунин, придав этому несложному вопросу экспрессию лихорадочного любопытства.

— Да так все. Ни шатко, ни валко. А вы?

Кунин решил, что соврать будет вовсе не лишнее.

— Да что я! Был сейчас с визитом у Будаговых... (тут он уже соврал, — у Будаговых и не думал быть). Ну, конечно, дело праздничное, — по рюмочке того-сего, закусили.

— Ах, вы, значит, уже закусили? — подхватил хозяин, немного оживившись.

— Очень, очень мало, — подхватил гость, очень обеспокоенный. — Самую малость. Почти ничего и не ел. Так, только рюмку коньяку выпил, рюмочку водки.

— Да позвольте, — поднял брови хозяин. — Где они, Будаговы эти, могли достать коньяку, водки? Не может этого быть.

Кунин пожал плечами и принялся врать долго и противно, будто пропускную бумагу жевал:

— Не знаю, но нынче все достают. У Краткополовых я был, — там все есть, у Широкополовых... тоже... есть... Все так меня просили, угощали... А я все не хотел... «Нет, говорю не хочу, — увольте. Берегу себя!» «Ах что вы, Сергей Николаевич, для чего вы себя так бережете?» — «А вот, говорю, берегу себя для уважаемого, достойнейшего Николая Памфилыча». Это — вы, стало быть.

— Н-да-с, — промямлил хозяин, не отрывая глаз от закутанной в какую-то серую дрянь люстры. Так-с. Вот оно что. Спасибо на добром слове. А только, согласитесь сами, какой же нынче праздник, когда напитков — ни синь-пороха нет? Одна грусть.

— Да, — сказал гость. — Печально до чрезвычайности. А я, знаете, — мне предлагают и то, и се, а я говорю — нет-с! Не хочу обижать милейшего Николая Памфилыча.

— Ну, чего там... Я на это не обижаюсь.

— Все-таки, знаете... «Скушайте, говорят, и того-то, и этого-то», а я себе думаю: «да мне приятнее у Николая Памфилыча скушать какой-нибудь кусочек ветчинки, чем все эти ваши разносолы»...

— Так и подумали?

— Так и подумал.

— Пойдем, — сурово и несколько неожиданно сказал хозяин. — Я, конечно, никакого стола у себя не устраивал, но кусочек чего-нибудь найдется.

Пошли...

В дальней комнате, где жила раньше бедная родственница, умершая перед самыми праздниками, был накрыт стол. На закапанной соусом и супом скатерти стояли тарелки с ветчиной, обломком поросенка и селедкой, столь подозрительно короткой, что голову и хвост соединяли только два узеньких кусочка селедочного тела.

— Вот, — ткнул пальцем хозяин. — Ешьте!

Гость Кунин оглядел стол скорбным взглядом и не заметив даже признака чего-нибудь спиртного, задумчиво потыкал вилкой в селедочную голову.

— Селедка?

— Селедка. Что ж вы?.. Есть-то хотели...

— Я... сейчас.

Кунин оглядел комнату, подошел к цветку на окне, понюхал его и сказал многозначительно поглядывая на хозяина:

— Хороший цветочек. Одеколоном, как-будто пахнет.

— Чего ему одеколоном пахнуть? Обыкновенный фикус.

— Да? Замечательно. Дожди все нынче были. Что это, как будто поросенок цветочным одеколоном пахнет. Одеколон, тут на столе стоял, поблизости?

— Не, не стоял.

— А от вас чем-то тоже хорошо пахнет. Это уж, конечно, одеколон.

— Да.

— Хороший. Персидская сирень?

— Черт его знает. Не важно.

— Ага... А у меня, знаете, с утра голова болит, так что ужас.

— Дома бы вам посидеть нужно, не выходить. Еще простудитесь.

— Да нет: я думаю, если виски одеколоном потереть, так пройдет.

Хозяин с ненавистью заглянул в молящие глаза Кунина и отрывисто спросил:

— Дать?

— Чего?

— Одеколону-то. Виски натереть.

— Дайте, дайте мне, пожалуйста! Я немножно...

* * *

Хозяин принес пульверизатор с какой-то мутноватой жидкостью в тутылочке и сказал:

— Дайте, побрызгаю голову.

Кунин надел на вилку кусок полузасохшей селедки и жадно открыл рот.

— Брызгайте.

— Так чего же вы рот-то открываете? Еще в рот попадет!..

— Нич... чего. У меня и это... И зуб тоже болит. Брызгайте, брызгайте!..

— Ну, что, легче?

Облизав губы, Кунин сунул в рот селедку, повертел вилкой и потом со вздохом сказал:

— Ну, вот и закушено. Пойду уж.

— Куда ж вы так рано? Ну, до свиданья! Луша, проводи барина, всего хорошего, заходите, когда-нибудь осенью...

Надевая в передней пальто, Кунин услышал разговор в гостиной:

— Ушел?

— Убрался. Как это люди, ей-Богу, не понимают... Лезут. Ни стыда, ни совести.

— Фрак еще напялил... хи-хи.

— А в руках кляк и перчатки. — Будто чучело из модного магазина.

Надев пальто, Кунин привычным жестом руки потянулся к Лушиному подбородку, но на полпути болезненно улыбнулся и опустил руку. Вынул привычным жестом из кармана полтинник, повертел его, почесал им щеку и непривычным жестом опустил снова в карман.

Луша захлопнула за ним дверь с таким расчетом, чтобы прищемить полу пальто. Не удалось.

Выбежав на улицу, Кунин поглядел на равнодушно-спешащих по своим делам пешеходов, заглянул в дно цилиндра, ища там разгадки своих тяжелых сомнений и дум, потом подошел к тумбочке, сел на нее и тихо заплакал сладкими слезами обиды и одиночества.

Подошли дворники.

— Чего это он?

— Дело праздничное. Отправить его в участок для вытрезвления.

— Да он совсем тверезый.

— Тогда уж не знаю, что с ним и сделать. В участок для опьянения не отправишь...

И впервые за сегодняшний день, Кунин почувствовал на себе ласковый, полный сочувствия и соболезнования, взгляд...

ГИПНОТИЗМ
(*Очерк*)

...Усаживаясь за стол, долго и шумно двигали стульями. Потом на секунду все успокоилось.

Водопьянов жадным взглядом оглядел батарею бутылок, стоявших посредине длинного стола, и, широко раскрыв глаза, наклонился к уху соседа.

— Послушайте, — прошептал он, нервно вздрогнув. — Что же это такое?

— А что?

— Я вижу массу бутылок, но все они... пустые!

— Ну, да. Так что ж такое?

— Как же это?.. Еще не начинали есть, а бутылки уже... пустые.

— Полных теперь и не достанешь.

— Я знаю. Но почему же... пустые?

— Потом увидите, — сухо, неохотно уронил сосед.

Ему было, очевидно, тяжело говорить об этом.

— Но, все-таки, для чего же?..

— Увидите!!

Хозяин поднялся с места и оглядел гостей. Он нервничал. Было видно, как мелкой дрожью дрожали его руки, комкавшие салфетку.

— Господа! — сказал он. — На сегодня, по случаю широкой, пьяной масленицы, я предлагаю избрать виночерпием Володю Полторацкого — лучшего мастера и художника слова!..

Все зааплодировали, а Володя поднялся и сказал с некоторым смущением:

— Справлюсь ли я сегодня?.. Очень трудно. К блинам, как вы знаете, полагается целая уйма напитков!..

— Володя! Ты? Да, ведь, ты же гениальный человек! Давеча у Осовецких ты так нас напоил, что мы еле выбрались оттуда. Начинай, Володя!

— Действуй, Володя, — поощрил кто-то, облизывая языком сухие губы.

— Повинуюсь, — наклонил голову Володя. — Итак, господа, я начинаю. Первое, конечно, водка!

Он взял пустой хрустальный графин, сверкнул при свете ламп всеми его гранями и вдохновенно начал:

— Водка! Она светлая, она прозрачная, кристальная и она хранит в себе тайну. Неудивительно, что опьяняет вино, — в нем есть цвет, есть лицо. Его узнаешь, как друга, сразу по этому лицу. А водка — она таинственная, она скрывает свою физиономию, она прикидывается обыкновенной ключевой водой. Вино может быть теплым, но водка должна быть холодная... У нее холодное, замкнутое лицо. И все это — когда она только налита, но — не выпита! Сейчас я вам расскажу, что вы чувствуете, когда пьете ее. Ваши рюмки, господа! Позвольте, я вам налью.

Все потянулись к нему с рюмками. Наполнив рюмки из пустого графина, Володя, вздохнув, отер пот со лба и сказал:

— Чокнитесь, господа. Чокнулись? Спасибо. Итак, вы подносите рюмку ко рту. Холодную водочку, прозрачную водочку... От холода не только графин, но и рюмки запотели. Благороднейшая испарина! Итак, вы подносите рюмки ко рту (все поднесли рюмки ко рту и Водопьянов тоже), и сразу вливаете в рот — рраз! Ах, какое ощущение! Боже ты мой, какое ощущение! Тысячи теплых иголочек защекотали ваш язык, ваше небо. Господи, — замираете вы, — чудо! чудо! Где же холод, где же эта ее замкнутость и безразличие? Она нежит, она ласкает... Вот она теплой змейкой проскользнула в горло, разлилась там, где-то внутри, на тысячи струек и сразу засосала желудок тысячью жал: давай скорей блин со сметаной, гони его сюда, икры только не забудь, голубчик мой, солнышко мое. Ну, берите скорее блин, гоните его внутрь, обливайте его перед этим, мажьте, — потому что первая рюмка не ждет.

Ножи и вилки энергично застучали по тарелкам. Гости проглотили по два блина и, утерев губы, снова жадно вонзились глазами в Володю Полторацкого.

— Володя! еще по одной... а? — робко попросил кто-то.

— Вторая рюмка! — вдохновенно крикнул Володя. — Господа... Вторая, она уже не колет тысячью теплых иголочек язык и небо, она скользит скорее, но зато — вы слышите? Вы чувствуете? Проглатываете вы вторую — и какая-то

теплая ладонь с ласковой силой толкает вас в голову... Вот тут, немного повыше затылка. Толчок приятный, заставляющий мысли проясниться, все ощущения обостряются, и соседи начинают нам нравиться. После третьей рюмки мы им даже скажем что-нибудь приятное.

Действительно, сосед Водопьянова, загипнотизированный красноречивым Володей, наклонился после второй рюмки к Водопьянову и приветливо сказал ему:

— Какой у вас красивый галстук.

— А я, знаете, любуюсь вашим сюртуком. Замечательно сидит на вас. Сейчас видно хорошего портного...

— Четвертая рюмка! — в экстазе крикнул Володя, поднимая высоко над головой пустой графин. — Четвертая рюмка знаменует собой влечение к интересному женскому обществу, желание самому быть красивым, интересным, — предметом всеобщего внимания. Глаза после четвертой рюмки блестят, и легкий румянец делает человека каким-то, я бы сказал, благодушно красивым. Это, господа, духовная сторона четвертой рюмки! Физическая же ее сторона требует чего-нибудь особенно острого, пикантного. Предыдущие рюмки уже усыпили вкусовые сосочки и им требуется каких-нибудь этаких пикулей, королевской селедки или маринованных грибков с лучком! Чокнемтесь, господа!

Лица у всех оживились, глаза заблестели, и ножи с вилками работали вовсю.

— Пятая рюмка, господа! — в пьяном вдохновении кричал, сверкая черными глазами, Володя Полторацкий. — Эта рюмка...

— Спасибо, — сказал кто-то из гостей, отодвигая от себя рюмку, — я больше водки не хочу.

— Ну, еще одну, — метнулся к нему хозяин. — Еще одну малюсенькую.

— Ни-ни. Ей-богу, четырех довольно. А то голова совсем закружится.

Володя приостановился, призадумавшись. Потом отбросил прядь волос со лба и гостеприимно спросил:

— Может, коньячку рюмочку могу предложить?

— И я бы коньяку выпил. И я! И я!

Володя, как фокусник, ловко подхватил со стола пустую коньячную бутылку, понюхал для вдохновения горлышко и, полузакрыв глаза, тихо сказал:

— Коньяк... Коньяк совсем другое дело... Водка, — это русская плебейка, которая задаривает, засыпает вас щедрыми поцелуями, грубыми, чувственными... Рюмка коньяку — это изящная худощавая француженка, которая обжигает, сама; не загораясь, которая потрясает человека, сама оставаясь холодной... Коньяк пьется из маленьких рюмочек, у которых узкая талия молодой француженки. Вот я наливаю вам коньяк.

Все покорно потянулись с рюмками...

— Наливаю! Коньяком чокаться не надо. Это напиток эгоистичный... Поднесите к губам, прикоснитесь губами... Что? Не правда ли, нечто среднее между горячим поцелуем в губы и тем ощущением, когда вас ужалит пчела? Жжет. Теперь: задерживайте на секунду во рту этот чудесный глоток — задержали? Затем раз! — Глотайте! Что? Не правда ли, как будто пуля пронизала все ваше существо сверху вниз и упала там где-то на дне, разлилась горячей, дымящейся лужицей. А во рту пожар, а язык пылает, а чья-то невидимая ладонь ласково, но сильно толкнула вас в голову, теперь уже повыше — около самого темени. Хотите еще рюмку?

И почти все крикнули, еле шевеля жадными, пересохшими губами:

— Хотим! Наливай! Володя! Слушаем.

А одна дама сказала, несколько вразрез с общим настроением:

— А я пива бы выпила. Холодного.

И сейчас же Володя, как истый джентльмен, склонил свою вдохновенную голову в сторону дамы.

—— О, сударыня! Вы выразили словами то, что, вероятно, дремало в глубине души у всех, — еще темное, еще неосознанное!.. Конечно, пиво!

Он схватил в обе руки две пивных бутылки и сказал с каким-то сладостным стоном:

— Господа! Вот напиток, который еще не оценен, не объяснен, не разгадан. Это, господа, таинственный, мистический

напиток! Мы можем очень стремиться к рюмке водки, мы с удовольствием пьем коньяк, но такого истерического, бурного, мучительного желания, как то, которое вызывает в нас пиво — не вызывает ни один напиток!! Вот я вам наливаю по полному стакану холодного пенистого пива и — смотрите! — руки ваши дрожат, как они не дрожали тогда, когда я наливал вам водку и коньяк. Тише, господа, ха-ха! Не расплескивайте пиво от жадности. Но пейте его жадно, залпом, как звери, и когда вольете в себя стакан, то испустите глубокий вздох — вздох страстного, целиком удовлетворенного, желания... И тяжелая же эта штука — два-три стакана пива! После него вас не ударяет мягкой упругой ладонью в голову, а просто вся ваша голова попадает в душные, тесные объятия, в которых тяжко дышать, будто в пуховик зарылась голова...

— А шампанское будет? — несмело спросил сосед Водопьянова.

— Шампанское? Хотя дичи еще нет, — воскликнул Володя, — но если вы так хотите, я вам налью отдельно бокал, не в очередь. Берите бокал, идите сюда.

Сосед Водопьянова неверными шагами приблизился к Володе, и тот, наклонившись к его уху, зашептал что-то.

Слушавший облизнулся:

— Как вы говорите? Пузырьки? В голову? В мозг? Постойте, постойте — еще один! Я еще бокал хочу.

— Смотрите, — предостерег Володя. — От шампанского — самая злейшая подагра бывает...

— Э, все равно! Живешь-то один раз. Володя, милый, еще бокальчик!

И снова зашептал Володя.

* * *

Водопьянов, пошатываясь, встал из-за стола и приблизился к хозяину.

— Прости, Митя, но я должен откланяться. Голова кружится. Я, кажется, перехватил малость.

— Что ты? Каким образом? Ведь пили не много, останься. Еще ликеры будем пить.

— Мне, видишь ли, пиво нельзя смешивать с водкой, а твой этот Володя после водки стал пивом накачивать... Фу! Тяжело так, будто во мне пудов сто.

Уходя, Водопьянов слышал запинающийся голос своего соседа по столу. Еле ворочая языком, сосед говорил:

— Володька! Ах, и мерзавец же ты!.. Да будь я мил... лионером, я бы тебя к себе на службу взял. Чтоб ты мне каждый день этакие словеса... Господи!.. Ну, да я тебя поцелую... Что? Это ничего, брат, что я шатаюсь, я только немножко, я по одной доске пройти могу! Хо... Хочешь?

НЕПОНЯТНОЕ

Однажды холодным осенним вечером 5-го октября 1965 года, почти 50 лет тому вперед, к Мозглявиным явился Волосатов.

Еще горничная, открывавшая ему дверь, заметила нечто странное во внешности гостя и в манере его держать себя.

Галстук его съехал на сторону, одна петля воротника отстегнулась, лицо было красное, глаза мутные. Волосатов тяжело дышал и поминутно втягивал обратно свисавшую у уголка рта слюну.

— Иван Сергеич, миленький! Что с вами?

Волосатов лукаво улыбнулся и погрозил неверным пальцем:

— Л-любишь мужчин, шельма? Сразу растаяла.

— Что вы, Господи, какой странный?..

— Я? Странный? Врешь, Степанида! Это не я странный, а твоя передняя странная. Почему зеркало криво висит?

— Оно прямо висит.

— Да? Так? Значит, я вру? Значит Волосатов уже — дешевая собака, котор... рая брешет и больше ничего? Так? Разодолжили! И это называется гостеприим... гостепр... Не важно, впрочем. Так-с! В душу человеку наплевать, это вам первое дело! Человек! Сельтерской!

Он сел на пол и заплакал.

— Господи, Господи! Все рушится... Здания колеблемы ветром, как былинки, реки вышли из берегов, дети восстали на отцов! Положение хуже губер... рнат... Не важно! После доскажу! Маруся! Как же быть-то? Отвечай, Маруся, не жмись...

Открой мне всю правду, не бойся меня!

В награду возьмешь ты любого коня!

«Тиф», — подумала растерявшаяся горничная. — «Бредит».

И метнулась в сторону, чтобы предупредить хозяев.

— К-куда!? Только через мой труп, п-подлая!. Ш-што? Отвечай мне, где выход? Ясно тебя спрашиваю:

«Открой мне всю правду, не бойся меня!

В награду возьмешь... лошадь... все равно какую».

Стой! А ты с... сложи этак руки, и отвечай:

«Волхвы не боятся могучих владык...

А княжеский дар им на... на черта!»

— Поняла? Эх, Маруся! Какую я из тебя акт... рису сделаю! Весь Дрюри... риленский театр с ума сойдет. Поняла? Послушайте, Аграфена! Почему у меня губа мокрая? Чья эта дружеская рука обронила на нее чистую... сле...зинку. Впрочем — тсс... О Зинке — ни слова! А? Мы ведь ревнивые, Маруся, не правда ли? Хе-хе.

После этого Волосатов, сидя на полу, впал в глубокую задумчивость. Вздохнул, встал и побрел в гостиную.

— Иван Сергеич! Калоши снимите.

— Дитя лазурное, — печально прошептал Волосатов. — Не надо кричать на меня...

И покорно, как ребенок, протянул горничной руки.

— Вынь меня из галош. Возьми Ваню на ручки...

* * *

Вступление Волосатова в гостиную произвело величайшее впечатление: он поцеловал руку хозяину, потрепал одобрительно по плечу хозяйку, а гостям, двум красивым барыням, погрозил пальцем.

— И вы тут, шельмочки? Впрочем, не приставайте. Не до вас тут. После расскажете. Миша! Елена Михайловна! К вам дело есть.

Он взял потрясенного хозяина и хозяйку за руки и отвел их в угол:

— П-послушайте-вы! Положение-то, а?

— Боже мой, что с вами, Иван Сергеич?!..

— Милые, положение-то безвыходное! Пропала моя головушка! Все время к вам шел, об этом думал.

— Что такое? Несчастье?!.

— Умопомрач... мрач... Не важно! После договорю! Душа болит, друзья! Спросите — почему? Пантеона — нет в России, — вот в чем ужас!

— Какого Пантеона?!!!

— Где хоронятся! В Париже который. Вспомнил я, что у нас нет — сердце мое так и захолодело. Мамаша, думаю, Господи! Где же нам тогда хорониться?!.

Жена в ужасе взглянула на мужа.

— Что с ним такое? Неужели захворал?

Волосатов, прислушавшись, заплакал снова.

— Вот видите — захворал! Скоро помру... А где же мне хорониться? Может, я знаменитый, может я в Пантеоне должен лежать?! А Пантеона-то нет — ау! Положение, а? Что ты на это скажешь, мамаша?

— Какой ужас! — всплеснула руками хозяйка. — Иван Сергеич, голубчик... Не лучше ли вам прилечь...

— Что? Бесстыдница... При муже такое предлагаешь... Миша! Будь спокоен! Скала!! Ни за что, сударыня. Но, Боже ты мой! Как любят меня женщины! Как любят!!

Он опустился в глубокое кресло. Погрузился в задумчивость. Хозяева и гости окружили его.

— Прямо ума не приложу, что с ним! Галстук лопнул, воротник отстал... Нос покраснел, и дыхание тяжелое.

— Может быть, — выразила догадку одна из барынь, — он сейчас испытал сильное нервное потрясение?

— Что вы, голубушка! Неужели вы полагаете, что он сейчас не совсем... нормален?

— А что вы думаете? Слышали, как он сейчас странно говорил... Послушайте, Иван Сергеич! Что вы сейчас делали?

Волосатов поднял одно тяжелое веко и покосился на барыню:

— Ш-што? Пару баночек раздавил, касатка!

— Ну, вот видите! Какие баночки? Почему раздавил?

— Однако, глаза у него разумные. Только мутные... Вдруг это воспаление легких?

— Возможно. Тем более, что при этой болезни бредят...

— Мамаша! — простонал, очнувшись, Волосатов. — Почему нет Пантеона? Где же хорониться знаменитому русскому человеку?

«Открой мне всю правду, не бойся меня!

В награду возьмешь ты лошадь и... все, что к ней полагается».

— Леля, принеси термометр. А я пульс сосчитаю. Может, действительно, что-нибудь серьезное.

Когда хозяин взял руку Волосатова, тот удивился и сказал:

— Ну, зд... здравствуй еще раз! Как, вообще, тут у вас? Все благополучно?

А когда хозяйка принесла термометр и начала расстегивать Волосатову жилет, он долго ежился и кокетливо отнекивался:

— Ну что вы, сударыня! Оставьте. Ей-богу, я не такой. При посторонних-то хучь бы постеснялись. Хи-хи...

И потом, усмехнувшись, прошептал с грустным изумлением:

— Ну, как меня, все-таки, любят женщины! Как любят! К... как мухи. Эх! Теперь только Пантеон бы выстроить, все было бы хорошо. Посудите, мамаша: у французов — и Золя там, Мопассаны всякие, Гюго, консоме разные, а у нас... Никому нет до тебя дела!..

— Странно, — озабоченно шептал хозяин. — Пульс почти нормальный, температура тоже... В чем же суть?

— Ничего не поделаешь, — сказала хозяйка, со слезами поглядывая на Волосатова. — Доктора нужно позвать.

Позвали доктора.

Молодой, но уж с некоторым именем доктор нашел этот случай чрезвычайно редким, почти неслыханным в медицине.

— Странно... Температура и пульс в порядке... Может быть... Гм!.. Как жаль, что я не психиатр. Впрочем, попробуем. Послушайте... Как ваше имя?

Волосатов засмеялся.

— Познакомиться хочешь? В избранное общество лезешь, шельма. Ну, так и быть!. Иван Сергеич Волосатов, очень приятно, садитесь, пожалуйста.

— Который теперь год?

— Неужто забыл? 1965... Пятое октября. Я, брат, помню!

— Где вы живете? — быстро спросил доктор.

— Московская, 10, мил... лости просим.

Доктор пожал плечами.

— Совершенно нормален.

— У него какой-то странный запах изо рта, — сказала хозяйка. — Будто он что-нибудь выпил.

— Выпил?! Чего же вы молчите! Значит, отравление! Покушение на самоубийство, а они молчат! Послушайте, господин, как вам не стыдно! Жизнь так прекрасна, и никто не имеет права перед Богом прерывать ее раньше срока! Скажите, что вы выпили, чтобы я принял меры.

— Не на твои деньги напился!.. — заносчиво отвечал Волосатов.

— Изумительный случай! Слушайте, он у вас уже давно?

— Да уж около часу.

— Ничего не понимаю. Самый медленный яд бы уже подействовал.

* * *

В гостиную вбежал мальчик.

— Мамочка, дедушка хочет сюда! Просит, чтобы привезли его кресло...

— Ну, зачем старика расстраивать... Тут тяжело больной, а он...

Дверь распахнулась, и в гостиную въехал дедушка в колесном кресле.

— Что тут за шум, — прошамкал он. — Что такое случилось?

— Иван Сергеич болен, папаша. Захворал, и сами не знаем, чем.

— Захворал? Да, да. Я и сам хвораю... Годы мои уже не те... Семьдесят пятый годочек. А подвезите меня к больному, погляжу я на него...

Долго глядел сморщенный, дряхлый старикашка на дремавшего Волосатова. И постепенно морщины разглаживались и прояснялся старческий взор.

— Как вы думаете, дедушка, что с ним?

Дедушка наклонился ближе к лицу Волосатова, потянул носом, и лицо его просветлело.

— Ну?

— Знаю! Эх, вы... дети малые! Неужели же, не догадались?

— Ну, ну?

— Пьян он.

— Что-о-о?

— Пьян человек. Больше ничего.

— Как это пьян? Что такое? Я это не понимаю. Это инфекционное?

— Судя по запаху — коньячное. Только где он ухитрился достать коньяк, расторопный паренек. Это через пятьдесят-то лет?! А хорошо пахнет! Прямо так вот молодость и вспоминаешь.

Старик взял голову Волосатова, положил ее себе на грудь и еще раз втянул носом воздух.

— Хорррошо!

Волосатов снова поднял тяжелое веко. Поглядел на старика.

— Здравствуй, дедушка.

— Здравствуй, внучек.

И между ними завязался странный, непонятный для окружающих, разговор.

— Коньячок?

— А то что же? Слышишь носом. Три звездочки!

— Много дерябнул?

— Целую собачку раздавил. Эх, дед ты мой замечательный! Только ты меня и понимаешь!..

Задумался:

— Слыхал, дедушка? Пантеона-то нет, каково нам это?

— Будет, сынок, Пантеон. Все тебе будет, — успокаивающе погладил старик Волосатова по голове.

— Дедушка! И чтобы я в мраморном саркофаге лежал, а кругом свечи. И чтобы мой портрет сбоку.

— Все будет, сынок, все сделаем: и портрет, и свечи. Пение устроим, балдахины разные будут... А теперь спи, милый. Бог с тобой, спи, мой ненаглядный...

Волосатов мирно улыбнулся и, успокоенный, как ребенок, задремал на стариковой груди.

— Дедушка, — спросил доктор, — чем же его лечить от этого?.. Как его?..

— От того, что пьян? Да ничем. Поспит немного и встанет, как встрепанный.

И все обменялись взглядами, полными изумления:

— Боже мой! Такая страшная, тяжелая болезнь, и такое пустяковое лекарство!!!

К утру Волосатов выздоровел.

* * *

Все это было в 1965 году, не забудьте этого.



ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "НОВОГО САТИРИКОНА"

ПЯТЬ ЧЕМОДАНОВ

(1915)

о маленьких – для больших



СИЛА УБЕЖДЕНИЯ

I

Когда я вошел к Сарафанову — лицо его сияло, подобно оконному стеклу далекого дома, освещенному сверкающим лучом заходящего солнца.

— Давно? — спросил я.

— Что такое?

— Отлакировал физиономию.

— С чего это ты взял?

— Да ведь сияет, как медный таз.

Сарафанов легонько толкнул меня плечом в спину и усмехнулся.

— Ничего ты не понимаешь. Если бы показать тебе, что у меня есть — ты бы ахнул.

— А ты покажи. Я ахну, — пообещал я.

— Во-первых, получил я семгу, — нежно промяукал Сарафанов, и глаза его потонули в заснувшей трясине рыхлого лица. — Впрочем, что я такое говорю — «семга»? Это не семга! Это сливочное масло. Негодяйка так нежна, что ее можно на хлеб, вместо масла, намазывать. А знаешь, что моя семушка по цвету напоминает?

— Теряюсь в догадках!

— Щечки шестнадцатилетней девушки. В крайнем случае — лепесток розы. Теперь — икра! Можешь ты себе представить нечто нежно-серое, нечто малосольное... Нечто такое...

— Могу, могу. Об икре довольно.

— Довольно, так довольно. А вот о копченом сиге никогда не будет довольно... Этакий сижище, — шкура у него ободрана, и спинка нежная, мясистая, самого этакого ласкового копчения — так и лезет тебе в глаза, так и манит, так и подмывает: «ешь, мол, меня! Хамкай меня! Жуй, чавкай, глотай меня, черт тебя подери». Возьмешь ты себе от спины этакий ломоть, да лимончиком его, для остроты, лимончиком... Впрочем... (он озабоченно заглянул мне в глаза). Впрочем, ты, может быть, предпочитаешь провансаль?

— Да нет уж, — махнул я рукой, — ты так это хорошо изобразил, что я с лимончиком.

— Ну, конечно же! Понимающего человека сразу видно. Да! забыл... Ведь, кроме там разных сардин и соленых грибков (острые такие, знаешь, — нёбо тебе, как глотать будешь, будто ноготками нежно поскребут), кроме всего этого, будет пирог!! Пирог я задумал преоригинальнейший — одна старая караимка выучила. Делается он из баранины, но барашек, понимаешь ты, не рубится...

— Неужели, не рубится?! — удивился я, деликатно поддерживая разговор.

— Ни-ни! ни за какие коврижки. Не рубится, а режется на этакие кусочки, с хрящиками... и заливается водой. Конечно, немножко, потому что баранина сама сок пустит.

— Неужели, она на это способна?

— Баранина-то? Она на все способна, мой милый... И вот, представь ты себе, с этакой начинкой запекается пирог... С лучком там, петрушкой, укропчиком... И когда ты на столе разрежешь его — оттуда полохнет пар такой ароматности, что все завизжат, как собаки... А нижняя корочка, хотя и подпеклась, но, вместе с тем, она пропиталась всеми этими соками и ароматами. Она... она... (он хлопнул меня по спине, застонал)... Она, дорогуша, сочная! Истомленная! Отдающаяся!!

— Никогда бы я этому не поверил! — всплеснул я руками.

— И не верь! Сам вложишь персты, яко Фома неверный. А вот сейчас я сижу и думаю: что тебе сказать о гусе? Гусь у меня молоденький... на что нам старое, не правда ли?

— Действительно, — согласился я. — От старого гуся ни тепла, ни радости.

— Вот. А молоденький да поджаренный так, что шкурка его тоненькая пропиталась подкожным маслом, причем для контрасту к нему красные бурачки в уксусе, жареная картошечка, яблочки...

— Сильное у тебя воображение, — серьезно сказал я.

— У меня-то? Очень сильное. Я, братец ты мой, все вообразить могу. Могу я себе вообразить, что ты сейчас чем-то обеспокоен...

— И верно. Обеспокоен.

— Ну, вот. Обеспокоен же ты тем: харч, думаешь ты, хороший, но есть ли у эстаго самого Сарафанова, чем промочить глотку... Времена-то теперь крутые, а? Нигде никакого напитку не достанешь. И ошибся, братец! Еще как и ошибся-то! Старка есть польская, меды есть, красненькое есть заветное, коньяк заветный и ликеры...

— Тоже заветные?

— Нет, ликеры обыкновенные.

— Жаль. А я, брат, вовсе не тем и обеспокоен.

— Не тем? А чем же? Может, тебе жарко? Я, признаться, люблю тепло — всегда приказываю топить печи пожарче.

— Собственно я, видишь ли, не обеспокоен, а озабочен. Много хлопот.

— Ах ты мой хлопотун миленький! (Он поцеловал меня в затылок). О чем же ты хлопочешь?

— Хлопочу, чтобы набрать побольше денег.

— Дело затеваешь?

— Нет. Хочу набрать побольше для бельгийцев, для сербов, для поляков и на теплую одежду для наших солдат.

— Хорошее дело, — похлопал меня по плечу Сарафанов. — Молодчина. Всей душой сочувствую. Я сам недавно пожертвовал десять рублей.

— Сколько?..

— Десять.

— Мало.

— Ну, брат, если бы все народонаселение пожертвовало по десять рублей — так это больше миллиарда бы вышло.

— А разве все имеют годовой доход в тридцать тысяч?

— Верно, голубчик. Но у меня и расходов больше.

II

Когда мы вошли в столовую, я заметил:

— Знаешь, Сарафанов, сколько ты можешь пожертвовать мне для сербов, бельгийцев, поляков и солдат? Две тысячи.

— С ума ты сошел!

— Уверяю тебя, я знаю, что это тебя не разорит. Две тысячи — не меньше! Жертвуешь? А? Ради праздника Рождества Христова. А?

— Ну, что ты, милый... Такое говоришь, что и слушать, право, нельзя.

Я усадил его в кресло и, пригнувшись к его лицу, тихо сказал:

— Пожертвуй, Сарафанов... У тебя вон развалилась на блюде бесстыдная семга, пирог испускает ароматные испарения, а ведь там роются, ищут в мусоре кусок заплесневелого твердого, как кирпич, хлеба, находят и, размочив его водой из лужи (реки все отравлены гниющими трупами), едят со сверкающими глазами, отпихивая других людей, которые тоже искали этот кусок хлеба, не нашли — и тянутся, без всякой, впрочем, надежды, к более счастливому товарищу. Это взрослые, Сарафанов! А дети! А дети! Крошки с розовыми влажными губками и пальчиками, будто ниточкой перетянутыми... с голубыми доверчивыми глазками, радостно поглядывающими по сторонам... Их розовые влажные губки высохли от лихорадки, пухлые ручки уже не перетянуты ниточкой, а сами высохли в ниточку, глазки провалились — и сидят они, нахохлившись, у юбок полуголых матерей и ждут они, Сарафанов, смерти, потому что ни у кого ничего нет, все одинаковы и некуда податься...

Я старался вложить в голос как можно больше убедительности. Глядел я Сарафанову в глаза самым пронзительным образом и говорил внятно и горячо.

— Ну, подумай ты так: вон у тебя стоит на столе три сорта хлеба: белый мягкий пушистый, потом французский поджаристый с хрустящей корочкой, потом черный, который так хорош для нежной семги. Ты, Сарафанов, назвал бы эту комбинацию вкусовым контрастом (правда, Сарафанов?). Ну, вот. Так ведь для тебя это не пища, а так просто... некоторая приправа к пище... Вон гуся твоего молоденького, хрустящего, мы уже будем есть без хлеба, иначе тяжело.

Верно? Сарафанов, а? А ведь если бы этот хлеб отдать маленьким девчуркам и мальчишечкам, как бы они уцепились за него... Да еще если маслом его намазать... Семги не надо для них, Сарафанов, и икры тоже — зачем? А вот хлеб чтобы был с маслом, чтобы они ели его, Сарафанов, и чтобы глазенки их сияли от восхищения, а щечки и носики от масла! А? приятно? Да и черт с ним, в конце концов, с маслом, но ведь просто хлеба, просто! дадим им, Сарафанов!? Для бельгийцев ты мне дашь четвертую часть двух тысяч — пятьсот рублей... Дашь, Сарафанов?

— Да ведь я уже давал, — жалобно поглядел на меня Сарафанов. И в прошлом месяце давал, и в этом... дал. Программу на бельгийском вечере у артистки купил. Десять рублей дал.

— Мало — десять. Ты пятьсот можешь дать.

— Поверь совести — не могу. Что ты, право?

— Вторые пятьсот ты дашь для сербов. Подумай: народ, который молится на нас, русских, отрезан от всего мира, он задыхается, истекает кровью, падает, но опять встает и сражается — голый, босый, с обмерзшими ногами. Ты, Сарафанов, любишь тепло, Бог с тобой, грейся, но дай сербам пятьсот рублей — пусть два десятка солдат, благодаря тебе, именно тебе, Сарафанов, обуются, наденут теплые полушубки и, лежа в окопах и постреливая, будут думать о том далеком неизвестном человеке, который согрел их. Ты ведь любишь тепло, а у них в этих проклятых ямах на четверть аршина холодной воды и уйти некуда, а ноги босые — босые, понимаешь? Вода, как лед, а ноги босые... И это не пять минут, не десять, а долгие дни и ночи... Понимаешь, ты! Попробуй всунуть даже обутую ногу в холодную воду... хоть на пять минут — что ты почувствуешь?.. А они босы! А вода, как лед! И так бесконечные дни, без надежды согреться и отдохнуть. А домов у них уже нет, Сарафанов, сожжены и детки их порезаны. Каково это? У них даже патронов нет, этой — крови, без которой не может биться сердце войны. И эти босые сербы, эти львы с ободранной шкурой, отступают потому, что нечем стрелять... Им даже хлеба не нужно... И гуся хрустящего не нужно... Дай им сапоги, дай им патронов. Только пятьсот рублей, Сарафанов! Ты можешь...

— Вот пристал человек, — удивился Сарафанов. — Ну, я понимаю, конечно, нужда большая, но все-таки...

— А что делается в Польше... Пустые, обглоданные поля, гниющие трупы, обгорелые пеньки бывших деревень, и среди этих бродяг люди, которым некуда податься, которые питаются сырой, мерзлой картошкой, выкапывая ее из железной от холода земли окостеневшими руками... А? Сарафанов! Можешь ты себе это представить? Можешь?

— Могу, — тихо, сконфуженно прошептал Сарафанов.

— Значит, даешь?

— Что?..

— Пятьсот рублей. Для Польши.

— Да пойми ты, чудачина, что я не могу этого. И на Польшу давеча дал три или пять рублишек — уже и не помню, — и на сербов.

— А наши солдаты. Наши же, русские, Сарафанов!! Государство делает все возможное, но этого мало. Нация должна помочь сама себе. Наши же родные солдатики, милый Сарафанов!! черт тебя подери, Сарафанов, — они лежат грудью на промерзлой земле, и ледяной холод морозит наши же русские груди, наши же русские ноги, которые не бегут от врага потому, что наши русские сердца не допускают этого. — Ведь согреться-то некуда пойти, а? А все тело промерзло и, вместо сердца, вместо желудка, твердые стянувшиеся кусочки льда. Что ж ему делать, солдатику? Подняться на колени да завыть, глядя на луну?! Да ведь и этого нельзя!! Враг залег в сотне шагов и, увидя поднявшуюся фигуру, не медля пронижет ее бойкой пулей, — верно, Сарафанов?

— Положим, конечно, это верно.

— Вот и прекрасно. Значит, даешь пятьсот рублей? Даешь, чтобы согреть солдата?

— Да ведь я и на это давал. Как-то иду по Невскому, а ко мне подходит барышня с кружкой. «Дайте». «Извольте». Вот видишь.

Я помолчал.

— Давеча ты говорил, что у тебя развито воображение. Ты прекрасно представлял спинку сига, семгу, подобную девичьему телу, — почему же ты не представишь себе солдатской груди, превращенной морозом в чугун? Почему

ты не представишь тошноты, которая подступает к горлу пустопорожнего маленького бельгийца, не евшего уже двое — трое суток. Ты-то сам давно ел?

Сарафанов оживился.

— Жду, не дождусь, когда ты все это кончишь. Конечно, голоден я, как волк. И к чему, право, такой разговор перед ужином... Ну, поговорим после, — ладно?

— Нет, не после!.. Даешь на все про все две тысячи?

— Да ты серьезно? Или это просто твоя вечная манера подтрунивать надо мною.

— Значит не дашь? Жаль. У тебя плохо развито воображение. Ну, представь, что ты сейчас голоден, смертельно промерз, дрожишь...

Сарафанов бросил быстрый взгляд на накрытый стол (только что принесли знаменитый дымящийся пирог с бараниной), вдвинулся глубже в эластичное кресло и сказал:

— Представляю.

— Значит, даешь?

— Да пойми же ты...

— Стой! Тогда не надо. Мы сделаем иначе.

Я сорвался с места, побежал на кухню и суетливо сказал кухарке:

— Керосин есть? Давай скорее. Барину очень нужно.

Схватил жестяную посудину, помчался в столовую и, запыхавшись остановился перед Сарафановым.

— Не дашь?

— Но это, наконец, милый, скучно...

— Тогда — поголодаем.

Я торжественно поднял над столом посудину и тщательно, как садовник из лейки поливает дорогие цветы, облил и знаменитую семгу и ароматический пирог и скребущие нёбо грибки.

— Что ты делаешь?!!!!!

— Поголодаем. Это будет в помощь твоему ленивому воображению. Ты думаешь, что у тебя гусь остался? Я и его мимоходом в кухне облил...

— Ах, свинья!!.. Ну, что за свинья. Всякие шутки имеют границы... А это уже и тупо и глупо.

Я усмехнулся, поставил керосиновую посудину на пол, вытер руки.

— Дашь?

— Вот за то, что ты такая свинья — ничего не дам! Сколько провизии перепортил!

— А знаешь — бельгийцы бы эту провизию ели.

— Пошел к черту. И разговаривать с тобой не хочу. Уходи от меня.

— Не дашь?

— Убирайся.

— Не дашь? Ну, ладно... Эх-ма! Холодно в окопах!

Я схватил стул и ножкой его выбил стекла во всех трех окнах...

— Пьян ты? — заорал хозяин. — С ума ты сошел? Идиот ты? Я дворников позову — они тебя выведут.

Морозный воздух широкой волной дунул в разбитые стекла.

Хозяин вскочил, выбежал в переднюю, вернулся в теплом пальто... Остановился у залитого керосином стола и холодно сказал:

— Потрудитесь уйти, между нами все кончено.

— Брр...— засмеялся я. — Холодно в окопах. А ты знаешь, как немцы разрушали частные дома, ломали и растаскивали уютные гнездышки ни в чем не повинных людей? Побегу я сейчас на кухню, возьму топорик и поломаю всю твою обстановку... Хочешь? Пока успеешь позвать дворников — тысячи на четыре попорчу... Хочешь?

— Мерзавец, — с ненавистью сказал он. — В тюрьме за это насидишься.

— Ну, за это не стыдно. За несчастных посидеть — за это в раю мне местечко очистится.

— Пошел вон!

— Дашь? А то этим стулом — рраз! — разбиваю буфет, лампу, перебегаю в кабинет, распарываю ножиком сафьяновую обивку, разбиваю книжный шкаф... Ну? Даешь?

— Я дворников позову!!.

— Даю тебе честное слово не успеешь.

— Бери тысячу — жри!

— Две! Ну?!!

— Постой!.. Поставь стул!!. Скотина. Принеси из кабинета перо.

— А чековая книжка где?

— В кармане... Дрянь ты этакая.

— Вот умница... Милый Сарафанчик... Дай я тебя поцелую.

— Пошел!..

* * *

Спрятав чек в кармане, я сказал:

— Послушай... Я тебя немного обрадую: гуся-то я керосином не обливал. Покушаем, а?

— Свинья! И хлеб облил.

— На кухне есть еще. Немного черствый, ну, да ничего. Лучше бельгийского, ха-ха.

— И говорить с тобою не следовало бы... Чем я теперь окна заткну — холодище так и несет.

Я усмехнулся: — «Холодно в окопах».

Он долго ворчал, фыркал и бранился, но когда подали на диво зажаренного гуся и бутылку старки — его сонное лицо засияло какой-то внутренней улыбкой...

И ели мы с ним гуся в комнате, пропитанной запахом керосина, и сидели мы, укутанные — в пальто, в галошах, потому что мороз тысячью змей пробирался в открытые окна и жалил нас, а где-то в холодных окопах бились тысячи сербов, бельгийцев и русских — и не подозревали они, какое сражение выиграно в их честь и пользу на петроградском фронте скромным штатским человеком, вооруженным только силой убеждения и столовым стулом.

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ НОВОЙ ПОЛЬШИ

Из газетных статей и расспросов очевидцев нам удалось выяснить с приблизительной точностью, каково положение познанского поляка, воюющего в рядах германской армии.

Прежде всего, для залучения молодого, дикого поляка в ряды армии — его нужно поймать. Много требуется хитрости и охотничьей ловкости, чтобы поймать такого дикого поляка.

Пойманный поляк недели две-три выдерживается в темном месте «чтобы привык». Все это время несколько при-

ставленных к нему специальных людей горячо убеждают пойманного, что «Германия — превыше всего».

Поляк долго не сдается, спорит, капризничает. Но к концу третьей недели ему так все это надоедает, что он вскакивает однажды с блуждающими глазами, растерянный, страшный, — и кричит:

— Ну, хорошо! Верю. Довольно.

— Чему веришь?

— Вот этому самому. Что вы говорили.

— Насчет Германии??

— Да, да!!!

— Что Германия превыше всего?

— Ну, да — это самое! Слышал уже. Нечего повторять! Верю.

— Я думаю, он готов — посоветовавшись немного с товарищем, говорит профессор приготовительного класса. — Можно его передавать дальше.

Поляка перебрасывают в следующее отделение:

— Эй, кто там! Примите поляка для обработки.

— Есть!

Ощупав, обыскав поляка, приступают к дальнейшей обработке:

— Послушайте, вы там... поляк. Наш император обещает дать полякам после войны автономию, самоуправление, свободу языка: — ну, и как вообще полагается. Слышите??

Поляк молчит.

— Вам я говорю или не вам? После войны для вас наступит буквально золотой век. Поняли?

— Так, пан, — задумчиво качает головой поляк.

— И вот, значит, по этому самому вы и должны проливать кровь свою за дорогое отечество. Поняли?

Поляк молчит.

— Потому что судьба поляков дорога сердцу кайзера, и он не допустит, чтобы волос упал с головы германского поляка.

Поляк задумчиво кивает головой.

— Так, пан.

— Всякий поляк для кайзера, как родной сын. Понимаете? Значит, вы должны сражаться за своего отца-кайзера. А если ты, польская свинья, не будешь сражаться, так мы

с тебя шкуру с живого сдерем... На медленном огне поджарим! Лучину под ногти запустим!

— Так пан, — вздыхает поляк.

— Ну, вот и хорошо, что ты это понимаешь...

— Кажется, он готов, collega? Все сделали, как предписано циркуляром: и обласкали, и попугали. Эй, мальчик! Отведи в следующее отделение.

Следующее отделение — обмундировочная.

— Поляк?

— Поляк.

— Давайте ему штаны без карманов.

Поляк выходит из задумчивости.

— Позвольте... Почему без карманов?

— Нельзя вам, полякам, карманы иметь, — циркуляр есть. Мало ли что вы можете в карманы спрятать. Стащишь где-нибудь план расположения окопов, положишь в карман, а потом передашь русским. Подавайте ему сапоги!

— Ой, больно! Там что-то такое есть, в сапогах...

— Есть. Это — гвозди. Чтобы ты не очень-то бегал от русских, или, что еще хуже, — к русским. У нас, братец ты мой — все предусмотрено.

— Мундир не по мне, — жалуется поляк. — Узок так, что рук нельзя поднять.

— Так и расчитано. Знаем мы, для чего вы руки поднимаете! Ну, вот... оделся? Теперь — вооружим тебя. Вот тебе, братец, сабля...

— Какая странная...— удивляется поляк. — Не вынимается из ножен.

— Чего же ей выниматься, когда эфес к ножнам наглухо припаян. Тебе только дай настоящую саблю... Знаем мы вас, поляков. Получай ружье.

— А... Патроны?

— Что-о? С ума ты сошел? Прыткий ты паренек, я вижу. Тебе, как мед, так уж и ложка. Патроны будут у другого солдата. Ну, а теперь — готово! Эй, кто там?! Забирайте поляка.

— Готов?

— Готов.

— Несите его в вагон! Запирайте в одиночное купе.

— Куда? — пугается поляк. — Почему в одиночное?

— А что ж, тебя в общее посадить, что ли? С другими солдатами? Знаем мы, какие ты разговоры будешь с ними разговаривать. Внесли?

— Есть. Рот прикажете завязать?

— Ну, да! Как, обыкновенно. Поляк ведь.

С треском и шумом несется поезд на театр военных действий.

* * *

— Привезли?

— Есть. Тут в купе лежит. Развяжите его, вытаскивайте!

— Патроны отобрали? Штык ему отвинтили?

— Маленькие, что ли... Учи еще.

— А теперь — айда в окопы! Рядовые Швайне, Трюкман и Шлиппе!

— Здесь, г. вахмистр!

— Вы будете состоять при поляке. Ты, Швайне, будешь давать ему патроны при стрельбе, Трюкману поручается держать приклад, когда поляк будет стрелять, а ты, Шлиппе, назначаешься состоять при шашке: чтобы он, упаси Боже, не хватил ножнами кого-нибудь из своих.

После этого вахмистр обращается к поляку.

— Заметьте, ясновельможный пан, что кайзер любит поляков, как своих родных детей... А если ты, польская свинья, побежишь к русским — семь шкур спущу, да потом в соленой воде вымочу. Ведите его!! Да не забудьте, когда бой кончится — отобрать у него ружье, связать руки и засунуть в землянку до завтрашнего боя... Завтра снова вынете.

* * *

В окпах кипит работа: Швайне хлопотливо подсовывает задумчивому поляку патроны. Трюкман, поглощенный польскими делами по горло, придерживает ружейный приклад, направляя польское дуло именно в сторону врага, а не в какую-нибудь другую сторону; Шлиппе судорожно уцепился за шашку, висящую сбоку у задумчивого поляка.

Задумчивый поляк делается еще более задумчивым.

— Урра! — ревут издали тысячи русских глоток.

Крики приближаются... Поляк вздыхает, бьет ружьем по голове Трюкмана, тычет прикладом в грудь Швайне, отбрасывает ногой уцепившегося за шашку Шлиппе и, выйдя медленными шагами из окопа, задумчиво идет сдаваться в плен.

* * *

Если нами какой-нибудь штрих или черточка в данном случае упущены, то это только потому, что мы, избегая преувеличений, стремимся всегда лучше сказать меньше, чем больше.

КУКЛЫ
(*Рождественский рассказ*)

Минуя грязный переулок с кривыми расщелившимися деревянными панелями, вы завернете за угол, войдете в первые ворота и, перейдя залитый помоями, обледеневший двор, увидите в глубине его покосившуюся вывеску с надписью: «Первая летиратурно-кустарная мастерская Акима Мокроносова».

«Первая» — она же и последняя. Она, вообще, единственная.

Открыв дверь на бешено взвигнувшем от такого вашего поступка блоке (веревка с двумя кирпичами на конце), вы попадете в низенькую закопченную, пропитанную запахом лака, пыли и «шубного» клея комнату. Посредине стоит стол, а за столом, освещенные низко спущенной лампой, сидят, склонясь, несколько человек, больших и маленьких — все семейство Акима Мокроносова. Даже пятилетний Мишка, и тот занят работой.

На стене у самой спины хозяина, Акима, висит телефон, — такой же закопченный и засаленный, как и все кругом.

Работают...

Звонок.

— Аллё, — кричит хозяин, отрываясь от работы. — Кто говорит? «Кривая песочница»? Что! Будьте покойны, сдадим вовремя. Не первый год на газеты работаем. В самый раз.

Вешает трубку. Опять звонок.

— Аллё? Кто? «Столичная простыня»? Что прикажете? Рассказ? Можно. Но только очень уж завалены мы нонеча. К Новому году извольте. Вам чего требовается? Постойте, запишу. Алешка! Кинь карандаш. Как? Пиши: «Часовой у погреба в Рождественскую ночь». Есть? «Мальчик убегает из дому на войну». Записали. «Раненый в лесу и волки» — не потребуется? Ходкая комбинация. С руками рвут. Окопов могу предложить хороших. Есть запас... Что-с? Поаршинно считаем. Сорок аршин? Алешка, запиши. «Чемоданы», шрапнели есть целыми елочными наборами. Очень, которые редакторы берут. Виноват, господин... «Немцы в польской усадьбе» не нужны ли? Седьмой ящик нынче отправляем. Чего-с? Бегающих на войну мальчиков посчитаем недорого, потому товар — сами понимаем — дешевка. Что толку в нем: взял мальчишка и побежал. Самый елочный сужет; пустяковый сужет. А, впрочем, извольте... Алешка! Двух мальчиков запиши им, бегающих. Счастливо оставаться...

* * *

За столом кипит работа. Около жены Акима, худосочной Мокроносихи, лежит целая груда старых аляповато разодетых кукол: разбойники, нападавшие в прошлом году в Рождественскую ночь на волжскую усадьбу, перемешались с раскаявшимися экспроприаторами, полотняное привидение старого домовладельца положило тряпочные ноги на голову размалеванной актрисы, вернувшейся на Рождество к мужу и умирающей дочке, а пьяный купец без ноги, оторванной просто по недосмотру мастера, сиротливо сидел на животе старушки, отдавшей нищей девочке свою драповую шаль.

Весь этот хлам быстрыми руками перетряхивался, сортировался и попадал немедленно дальше, к старшей дочке Анфисе.

Анфиса работала еще быстрее матери. Руки ее так и мелькали. Схватив святочную куклу, она — раз! — сдергивала с нее штаны или юбку, — два! — стаскивала пиджак или кофту, и, хлопнув головой о край стола, чтобы сбить накопившуюся за год в складках тела пыль, передавала раздетых кукол дальше, к Алешке.

У Алешки работа была самая сложная: надо было вновь одевать весь переданный товар. Кучей громоздились вокруг него черные германские мундиры, каски, польские живописные костюмы, времен чуть ли не Яна Собесского, серые платья сестер милосердия и маленькие курточки для «мальчиков, бежавших под Рождество на войну».

Схватив переброшенную ему куклу, Алешка бросал быстрый взгляд на ее лицо и сразу определял этим взглядом опытного человека — волжский ли это разбойник или чиновник, пригревший в прошлом году бездомную кошку? В зависимости от этого — на первого натягивался мундир «озверевшего тевтона», на второго — жупан польского помещика, который подпаивает немцев и запирает их в погребе... Раскаявшаяся актриса облачалась проворными пальцами в костюм сестры милосердия, а замерзавший в прошлом году мальчишка отогревался на стоявшей подле спиртовке и, облеченный в серую тужурку, принимал свое новое обличье — «мальчика, сбежавшего под Рождество на передовые позиции».

* * *

Средний мальчик, Гришка, тянул длинные нитки окопов, скатывал между потными ладонями шарики шрапнелей, и, кроме того, урывками помогал отцу укладывать в ящики готовые наборы «нападение на польскую усадьбу», «встречу забытого раненого с волками» и «офицера в лазарете, узнающего в сестре милосердия покинувшую его невесту».

Все это засыпалось метелью во избежание порчи в дороге, запаковывалось в ящики и отправлялось в редакции «Столичной простыни», «Чертовой перечницы» и других, имена же их Ты, Господи, веси...

... Нагнув голову у низкой притолоки, в комнату вошел редактор распространенной газеты. Поздоровался за руку с хозяином Акимом и, опустившись на стул, спросил:

— Ну, как «рождественская встреча сестры милосердия у постели раненого»? Хорошо вышла?

— Помилуйте, сужет обнаковенный. Тут нечему хорошо, нечему и плохо выйтить. Ясно, что раньше они встречались,

он был влюблен в них, в сестру эту самую, а они, как говорится, занимались больше вихрем светской жизни. Ну, понятно, как есть он раненый, то она, одумавшись, значит, говорит: «Сережа, я тебя люблю», а он: «Очинно, говорит, рад. И я того же направления». Ну, понятно, в конце, как полагается: «Мороз крепчал».

— Послушайте, дорогой мой, — поморщился редактор. — Вы это самое «мороз крепчал» чуть не через каждую фразу ставите.

— Дело зимнее, — хладнокровно усмехнулся Аким Мокроносов.

— Я, конечно, понимаю, что зимнее, но все-таки!.. И начинаете вы — «мороз крепчал», и продолжаете: «мороз крепчал», и кончаете этим самым крепчалом.

— Летом этого не напишешь, — упрямо сказал хозяин мастерской. — А зимой — отчего же? На Пасху я сам понимаю, что «колокола звенели, ширились, росли, а в открытое окно вливался теплый весенний воздух». Это дело пасхальное. Хотя, знаете, в нынешнем году Пасха столь ранняя, что и не знаю, как со своим делом обратиться. Морозить ли народ или обливать его теплым весенним воздухом? Март, изволите видеть. Серединка на половинку... Ни то, ни сё. А зимнее дело — крепкое дело. Основательное. Мороз крепчал — и никаких!

— Да ведь не через каждую же строку?!

— Для настроения-то? Через каждую можно. Алешка! Достань-ка из шкафа образец номер 103. Есть? Вот извольте видеть.

Хозяин перелистал тетрадь. Прочел:

В святую ночь.

Мороз крепчал...

Старушка Анкудиновна, купив себе на праздники телячьей печенки, шагала по улице, направляясь домой, чтобы встретить великий праздник любви и всепрощения...

Мороз крепчал.

Из-за угла показалась дрожащая облезлая кошка. Она приблизилась к Аннкудиновне и стала тереться о ее ногу.

Мороз крепчал.

И крепко сжалось сердце бедной старушки, когда она увидела еще более бедное, чем она, существо.

— На тебе печенку, — прошептала старуха и, сдерживая готовые хлынуть слезы, побрела домой, мучимая злым и жестоким голодом.

Мороз крепчал.

* * *

— Извольте видеть, — хлопнул хозяин рукой по образцу. — Крепчает себе мороз и крепчает... И никому этого не мешает. Оно впрочем, конечно, для строки делается, — ни для чего другого. А читателю надо это. Потому, не забывай, паршивец, тля этакая, что дело зимой происходит! Пока ему это вобьешь в голову, чтобы он восчувствовал, — так десять раз повторишь.

— Конечно, ваше дело, — согласился редактор. Вам видней. Что это у вас на спиртовке греется?

— Замерзавшие мальчики старых годов. Уже лет пять, как на них никакого спросу. Ну, они и валялись зря. А теперь, знаете, мы их отогреваем, и расчудесно они у нас бегающих на передовые позиции мальчиков изображают. Двадцать восьмой номер уже нынче бежит. И ничего такому мальчишке не требуется. Никакого антуражу, который для польской усадьбы или встречи с волками требуется. Посыпешь его, младенца Божьего, снежком, сунешь ему в руки монтекристо — и гони на передовые позиции. Вам не потребуется?

— Нет, уж... увольте. А вот встреча раненого в лесу со стаей волков, — это взял бы.

— Извольте. Уложим. Алешка, упакуй! Дам даже новый вариантик: сначала он встречается с волками, и те его не тронули, а потом приходят немцы и раздевают его. Мораль-то, а? Немцы, дескать, хуже волков.

— Шрапнели сюда входят? — спросил редактор.

— Четыре шрапнели, чемодан один, ну, и остальная мелочь, конечно, — пулеметы там, скорострелки разные. Алешка! Не забудь вниз метели положить, чтобы волков не раздавить.

— Папаша! А волков которых положить, — которые с зелеными глазами?

— Ну, конечно! «Глаза их сверкали зеленым фосфорическим светом» — ясно, кажется, сказано!

Редактор стал прощаться.

А руки за столом так и мелькали, сдирая прошлогодние одежды с тряпочных тел и напяливая новые — австрийские, германские и польские.

Мороз крепчал.

* * *

Спит под пеленой снега великая необъятная Россия. А завтра проснется — в светлый день Рождества Христова, протрет глаза матушка Россия и увидит у себя на постели кучу размалеванных картонажей — немцы в картонных касках, благородные польские помещики, светские раскаявшиеся сестры милосердия, одним словом, — на все полюбуется наша матушка Россия — на все, что вышло из бойкой мастерской Акима Мокроносова и Ко.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРАЧНОГО СОЮЗА

I. Первая встреча

Однажды, прогуливаясь по берегу моря, Вильгельм второй подтолкнул локтем своего спутника и прошептал:

— Погляди-ка, Франц, налево... Какое препикантное согдание! Кто это?

Франц-Иосиф нахмурил свои кустистые седые брови, вгляделся и, усмехнувшись, ответил:

— Боже ты мой! Да это Турция.

Вильгельм сделался задумчив, рассеян, а через пять минут спросил:

— Ты ее знаешь?

— Кого?

— А вот эту... девушку, что мы встретили?

— Я-то? Турцию-то? Такие старые друзья, что и не помню, когда познакомились... Ты еще когда под стол пешком ходил, — я уже у нее кое-какие земельки оттягал.

Вильгельм сделался еще задумчивее.

— Значит, у нее кое-что есть?

— У нее-то? Много чего есть. А было еще больше... Греция, Румыния, Сербия, Черногория, Кипр, Босния, Герцеговина, Тунис, Триполи, часть Закавказья, Египет, Крит — все это когда-то ее было. Хорошо жила женщина.

— Эх, Франц, — подтолкнул его Вильгельм, усмехнувшись. Нас там не было.

Франц-Иосиф наклонился к Вильгельму и в упор поглядел на него подслеповатыми глазами.

— У нее и сейчас кое-что есть. Хочешь, познакомлю? Сам-то я для этого дела стар, а тебя... могу познакомить.

— А ты уже, старче, стал и этими делами заниматься? — съязвил Вильгельм.

— Что же делать... Сам уж никуда не гожусь, а на чужое счастье полюбоваться всегда рад. Так как же... Познакомить?

— Да у нее есть что-нибудь, или...

— Будь покоен, жареным до сих пор пахнет. Железные дороги можно проводить, концессии, таможенные разные штуки.

Вильгельм задумался. Потом решительно топнул ногой:

— Знакомь! ....

— Сударыня! Позвольте вам представить: это вот Вильгельм германский император. Вилли, это — Турция. Прошу ее, хе-хе, любить да жаловать.

Турция кокетливо отмахнулась от старика концом чадры.

— Уж вы скажете всегда такое.

— Хи-хи! Мне можно, я старенький. Ну, Вилли! Что же ты стоишь таким истуканом? Предложи даме руку, пройдитесь тут по бережку, а я за вами петушком, петушком.

Вильгельм щелкнул шпорами, изогнулся, подставил руку, сделав ее кренделем, и сказал:

— Осчастливьте, сударыня! Вы, сударыня, здесь изволите жить?

— Да-с. Вот там. Вы военный?

— Помилуйте! Как же иначе!..

— Я завсегда люблю военных.

— Сударыня! Вы напоминаете мне розу.

— Ах, что вы, что вы.

— Я бы готов был носить вас всю жизнь на руках.

Турция опустила глаза и, помолчав, прошептала:

— Не надо так говорить.

— Почему же не надо-с? Надо! Какие у вас прелестные губки. Как вишни!

— Я не верю вам, мужчинам.

— А щечки, как персик!

Сзади семенил Франц-Иосиф и, подталкивая Вильгельма, шептал, задыхаясь:

— Так ее, так.

II. Предложение

— Сударыня! Я без вас жить не могу. Я ночей не сплю...

— Вы говорите неприличности, — сконфузилась Турция. — Вы, может, и потому еще ночей не спите, что войну затеяли со всеми...

— Ну, да, и поэтому, конечно, и потому, что думаю все время о вас. Сударыня! Выходите за меня замуж! Я, сударыня, извольте видеть, человек с положением, сильный, и денег у меня много. У меня, сударыня, и броненосцы есть. Я вам и свадедный подарочек на хозяйство сделаю — «Гебена» подарю. Скажите одно словечко «да»! Поцелуйте меня!

— Ах, вы меня потом будете презирать...

— Я?! Да лопни мои гла... Да что вы, разве я такой? Скажи: любишь меня? Любишь?

Тяжело дыша, наступал Вильгельм на Турцию.

— Ах, какой вы страстный... Ну, хорошо... Да!

И, сжимаемая в объятиях, Турция, прошептала:

— Ужасти, как обожаю военных. Особливо, если они не скупые.

Усадив Турцию к себе на колени, Вильгельм сказал:

— Со свадьбой нужно поторопиться. Так надоело одиночество...

— А Австрия? — лукаво спросила Турция, разглаживая ручками с крашеными ногтями усы жениха.

— Ну, Австрия... Старая калоша. Нуль внимания, пуд презрения. Вот, когда ты будешь моей — другое дело!..

III. Свадьба

Свадьбу решили справить скромно, без шуму.

Из посторонних никого не приглашали. Только с невестиной стороны было несколько старых теток, да одна выжившая из ума болгарка.

Во время брачной церемонии больше всего суетились шафера — Сандерс и Вагенгейм со стороны жениха, Энвер и Джемаль со стороны невесты.

— Посаженый отец есть? — спросил Вагенгейм у Энвера.

— Есть.

— Почему же его здесь нет?

— Как же ему быть, раз он посаженый?

— То есть?

— На кол его посадили, — как же он придет?

— С ума вы сошли! За что?

— Против брака был. Мы его и посадили. Да вы не беспокойтесь — не сорвется.

Невеста была бледна. Несколько раз принималась плакать.

Тетки шептались:

— Плачет...

— А еще бы! жалко девушке со своей волей расставаться. Все-таки, под мужнюю руку идет.

— Любит она его, что ли?

— Бог ё знает. Богатый.

— За военным-то тоже не сладко быть. Гляди, война — и убьют.

Во время обряда венчания тетки напряженно следили за тем, кто первый вступит на коврик. По примете, тому и в доме главой быть.

Однако наблюдение теток не дало никаких результатов, потому что за пять минут до венчания кто-то из министров украл коврик.

— Не к добру это, — шептала древняя тетка. — Нехорошая у них жизнь будет.

Когда стали меняться кольцами, одно кольцо выскочило из рук и подкатилось к ногам Энвера.

Он стал искать его, осведомившись предварительно — золотое ли? Когда узнал, что золотое, задумчиво засунул руки в карман и сказал:

— Нет уж, что там его искать... Наверное, пропало.

В толпе шептались:

— А, скажите, пожалуйста, как же у них с вероисповеданием? Неужели невеста в протестанство перешла?

— Что вы! Наоборот, жених берется ислам принять.

— Господи! Чего любовь не сделает.

— Приданого-то у невесты много?

— А как же: всю армию жениху принесла, крепости...

— Скоро он им глазки протрет.

— Этот такой. Все пропустит.

— За этим и женится. Невеста же, правду сказать, — не первой молодости. Многоподержанная.

— А эта болгарка-старуха чего тут все мельтешит? Ейная мать, что ли?

— Какое! Вроде свахи. Приживалка. Думает, что перепадет ей малость какая...

— А что же, скажите, после свадьбы путешествие какое будет, или как?

— Я не знаю. Может быть, и так, что жених в Силезию кинется, а невеста — на Кавказ. Сами знаете, какие теперь браки.

— Это сразу после свадьбы-то, да на Кавказ?! На кислые воды?

— А что ж... Муж как будто, между нами говоря, гниловат.

Собеседники зашептались.

— Что вы говорите! Бедная девушка! Каково это ей...

А невеста в это время плакала.

Около нее суетилась старуха-болгарка, что-то шепча девушке.

После свадьбы осматривали свадебные подарки жениха: дредноут «Гебен», «Бреслау» и столовый скорострельный прибор — 24 пушки, 24 зарядных ящика и 24 аэроплана-бомбометателя.

Тетки восхищались и охали, покачивая головами:

— Господи! Все, как в первых домах.

IV. Медовый месяц

Молодые сидели за чаем. На столе кипел «Гебен», по бокам стояли мортиры, транспорты с сухарями, а в уголку

приютился крейсер «Гамидиэ» — приданое невесты.

Турция налила Вильгельму чаю, положила ему голову на плечо и шепнула:

— Любишь?

— Чего? Кого?

— Да меня же!

— Конечно, люблю, — глупый вопрос. А ты меня любишь?

— Больше жизни.

— Так пошли два корпуса на кавказскую границу.

— Милый. Да ведь я только вчера в Египет послала два корпуса.

Вильгельм сухо заметил:

— Душенька! позволь мне самому распорядиться полученным приданым.

— О, конечно, конечно, — согласилась Турция, глядя на мужа отуманенными страстью глазами. — Это я так сказала...

— Ну, то-то.

V. Конец медового месяца

...Сидели за чайным столом.

Нечищенный, искривленный и помятый «Гебен» тянул свою вековечную самоварную песенку.

Сухарей почти не было, да и скорострельный столовый прибор уменьшился в количестве. Очевидно, гости после каждого посещения уносили что-нибудь на память о хозяевах.

Вильгельм, мрачно нахмурившись, читал газету.

— Что ты все читаешь, да читаешь... Поговорил бы лучше со мной, — заметила Турция.

— О чем там мне еще с тобой разговаривать? — раздраженно пробурчал Вильгельм из-за газеты. — Наговорились. Довольно.

— Однако, до свадьбы ты говорил совсем другое.

— Да-с! Говорил другое!.. Однако, ведь, и ты до свадьбы была другая...

— То есть?

— Вот тебе и «то есть». Я думал, что у тебя в приданом и то, и се, и низам, и редиф, и энтузиазм народа, и священная война, а что вышло? Кукиш с маслом!

— Я не виновата, если ты денег на хозяйство мало даешь.

— Больше не дам! У меня матушка не денежная фабрика! Даешь, даешь, и все в какую-то прорву проваливается! Транжиришь ты очень.

Турция побледнела и даже привстала с места.

— Я? Транжирю? Из каких же это шишей, позвольте вас спросить? Ты мне милларды даешь, что ли? Каждую копейку усчитываешь, да еще требуешь разносолов: чтобы тебе было и то, и это, и черта в ступе тебе подай!! Первый раз в жизни такого жильника вижу! Сколько раз уже давала себе слово за военного не выходить — и вот!! Что я от тебя видела?

— А «Гебен» я тебе разве не подарил?

— Что ты мне глаза «Гебеном» колешь? Хорош подарок: все равно некуда было девать. «На тебе небоже, что мне негоже!» Ты еще про столовый скорострельный прибор вспомни!

— Что ж, прибор был хороший, крупповский. Твои же друзья его растащили...

— Ты меня друзьями не попрекай, — взвизгнула Турция. — У тебя друзья тоже хорошие — жулик на жулике!

Вильгельм скомкал газету и бросил ее на пол.

— Ш-штос?! Мои друзья жулики? Замолчи!.. Или я тебя... Или я... тебя... Камня на камне не оставлю.

Восточная кровь волной заходила в горячем сердце Турции.

— Ты кому это угрожаешь? Ты это жене угрожаешь? Да знаешь ли ты, поросенок немецкий, что я...

Она подскочила к столу, схватила свой «Гамидиэ» и изо всей силы хватила им по «Бреслау».

— Вот тебе!!

Скоро вся посуда полетела на пол. Послышался треск, звон...

«Началось», — подумал с тоской Вильгельм и, схватившись за голову, выбежал из комнаты.

... Долго стоял в кабинете, молча глядя на слезящиеся от упорного дождя окна.

А из соседней комнаты доносились истерические крики и треск разбиваемого приданого ....

VI. Эпилог
(*Семейная хроника*)

Газета «Ероса» сообщает, что экипажи и офицеры турецкого флота взбунтовались против германских офицеров вследствие невыносимого обращения последних с турками. Сообщают, что крейсер «Гамидиэ» преследовал «Бреслау», требуя его сдачи, и подверг его сильному обстрелу.

Впрочем, нынче, вообще, мало счастливых браков...

В ХОЛОДНОЙ ПОСТЕЛИ

У Вильгельма Гогенцоллерна — бессонница. Но стоит ему только на минуту забыться, как один и тот же сон грезится усталому, издерганному мозгу: один и тот же сон. Уже второй месяц.

С ума можно сойти от этого сна.

* * *

— Уже все собрались и ждут только выхода вашего величества, — докладывает слуга.

Поспешно вскакивает с постели совершенно одетый Вильгельм и быстрыми шагами идет, — почти бежит, — в приемную.

Странная это — приемная... Уже сколько раз давал себе во сне слово Вильгельм переменить ее, устроить все по-иному, но другие дела и мысли затаптывали, затирали это решение.

Почему-то в приемной, вместо электричества, горят зеленым огнем желтые восковые свечи. И освещают они мерцающим светом стены, на которых красуются щиты, увешанные разным оружием. Странные щиты, странное оружие: на пыльных гробовых крышках помещается череп и пара костей, скрещенных самым шаблонным образом. «Странное фамильное оружие», — криво усмехается Гогенцоллерн. — «Кто же это в нашем роду дрался костями или метал в противника черепа?»

Холодно в приемной, сыро, и можно только удивляться одному, как в такой температуре могут жить мухи, жирные, черные, садящиеся на голову и щекочущие кожу своими

проворными лапками так, что волосы дыбом становятся... А, может быть, и мух никаких нет, и это не мухи, а мысли.

Всего можно ожидать от этой приемной...

По всем углам, например, скребутся мыши... Серые, пушистые, с острыми, черными, как булавочные головки, сверкающими глазками. Скребутся.

И тоже, может быть, так, что это не мыши. Может быть, это тоска — проворными коготками скребет сердце.

Самое же неприятное, это — сырость, скопляющаяся на потолке крупными каплями холодной воды. Капли, насытившись влагой, отяжелев, отрываются от потолка, и гулко падают вниз на мраморный пол, пугая мышей, которые после каждой капли притихают и на минуту прекращают свою мучительную работу.

Впрочем, с потолка ли падают эти капли? Не слезы ли это, родившиеся в воспаленных от бессонницы глазах?

Все может быть.

* * *

Быстрыми шагами входит, — почти вбегает, — Гогенцоллерн в приемную.

И видит он: сидят в холодных дубовых креслах три его главных врага: русский, француз, англичанин.

Сидят прямо, с поднятыми головами и неподвижными глазами, и взгляды этих спокойных глаз, как шпаги, скрещиваются с беспокойными, красными от бессонницы глазами повелителя Германии.

— Здравствуйте, здравствуйте господа, — развязно раскланивается Гогенцоллерн. — Я вас вызвал сюда, чтобы спросить... этого, как его...

— Что вы хотели у нас спросить? — цедит сквозь зубы англичанин.

— Этого... хотел спросить... как вы поживаете?

— Мы-то? — смеется русский искренним, рассыпчатым смехом. — Мы живем, можно сказать, хорошо. Дай Бог и впредь так. Бога гневить нечего. Сытно и нескучно живем. Вы как?

— Мы живем замечательно, — после некоторого колебания говорит Гогенцоллерн.

— Это — неопределенно, — острит бойкий француз. — Что значит: «Живем замечательно»? Замечательно хорошо или замечательно скверно?

— Почему же нам жить скверно? — передергивает плечами Гогенцоллерн. — Всюду одерживаем победы, всюду берем верх.

Молча, без улыбки глядят на Гогенцоллерна союзники. Только глаза их смеются.

— Значит, вы побеждаете? — хладнокровно переспрашивает англичанин.

— Д... да...

— Ну, что ж, — добродушно вздыхает русский, — ваше счастье.

— Наша победоносная армия...

— Не потому ли вы ее называете победоносной, — усмехается француз, — что она насчет победы остается с носом?

И тут же дружески толкает в бок англичанина.

— Сэр! Каков каламбурчик?

— Yes, — серьезно говорит англичанин, а голубые глаза смеются.

Такое впечатление получается, что всем весело. Почему же Гогенцоллерну кажется, что мыши без умолку скребутся в углах, и тяжелые черные мухи, томительно жужжа, щекочут лапками голову?

— Бамм! — упала капля влаги с потолка.

А может быть, и не с потолка.

* * *

Хлопнув француза по плечу самым общительным образом, Гогенцоллерн говорит с оттенком покровительственности:

— Небось, уже о мире потихоньку мечтаете, а? Хе-хе...

— Ну, что вы, — отшучивается француз. — Нашли тоже мечтателя.

— Да уж знаю, знаю не отнекивайтесь. И русский тоже...

— Что — я? — оживляется русский.

— Тоже вы... о мире мечтаете. По глазам вижу.

— По глазам видите? — странным тоном повторяет русский. — А ну, поглядите в мои глаза...

Гогенцоллерн нагибается, заглядывает в направленные на него немигающие зрачки и, отшатнувшись, схватывает себя за горячую голову.

— Видал? — усмехается русский. — Прочел?

— Прочел, — поддерживает француз. — Он грамотный.

— Yes!

Падают капли от сырости или чего другого; скребутся по углам серые мыши, кружатся над головой черные жирные, на мозге вскормленные, мухи.

— Вы, господа, очевидно, меня не знаете, — тихо говорит Гогенцоллерн. — Я — человек очень благородный, великодушный. Ну, вот теперь, скажем, победил я вас. Другой бы на моем месте довел вас до полного изнеможения, до полного уничтожения; а я не такой. Я, как победитель, протягиваю вам руку и говорю великодушно: довольно войны! Помиримся!

Он протянул руку и долго держал ее в воздухе, пока она не затекла.

— Ну, что ж, господа... Мир? А? Хотите?

— Нет.

— Нет!

— Нет!!

— Довольно даже странно, — криво усмехается Гогенцоллерн. — Ведь я вам предлагаю почетные условия мира. Уничтожьте только ваши вооружения, флот, сройте пограничные крепости, — и все. Ну, там, конечно, контрибуция небольшая, как полагается...

Молчали.

— Хотите? Нет?

Он несколько раз прошелся по гулкому мраморному полу. Снова обратил к союзникам зеленое от света свечей лицо.

— Какие вы странные... Ну, хотите так: уничтожьте только флот; армию можно оставить. Контрибуции тоже... не надо. Бог с ней. Для чего она, действительно? Не правда ли? Что мы, немцы, бедные, что ли? Хе-хе. Хотите?

Скребутся мыши. Падают капли. Вьются тяжелые мухи.

— Оно, впрочем, если разобраться, то и флот можно не уничтожать. Пусть себе плавает... Такие большие пузатенькие дредноутики, так плавают: пуф, пуф! Хе-хе. Так как же, господа? Хотите?

Тихо. Скребутся мыши.

— Не хотите? Эх, вы! Пусть было бы так: чтобы считалось, что мы вас победили, но чтобы все осталось постарому... Ни контрибуции не надо нам, ни разоружения, ни территориальных захватов... Наоборот, еще кусок Австрии могу отдать. Только чтобы считалось, что мы победили. Ладно, а?

Взгляд его долго покоился на одном из черных пыльных щитов. Еще ниже опустилась голова.

— Ну, хорошо! Я вам докажу, господа, что я не самолюбив. Пусть будет считаться, что победа — ничья. Воевали, мол, воевали, да так ни до чего и не довоевались. Это иногда бывало... в истории... Обе, мол, стороны одинаково сильны. Хотите?

Переглянулись союзники, усмехнулись одними глазами; молчат.

— Но чего же вы хотите?! Не надо молчать... Скажите, что-нибудь. Господа! Я, ведь, вас люблю. Всех люблю. И почему нам в самом деле, ссориться, воевать? Разве для этого создан человек? Культурные мы люди, а черт знает, из-за чего поссорились — из-за Австрии! Да вы мне в тысячу раз дороже всякой Австрии! Да у меня бабушка англичанка была! Я, может быть, сам в душе француз! Я, вы знаете, когда вашего Достоевского читал, так плакал! А Толстой! Ведь, это же — гений. Какое у него чудесное произведение «Война и мир». И мне вторая половина больше нравится, чем первая!.. «Мир». Какое чудесное слово... В нем музыка. Немцы все музыкальны, вы это не знали, господа? И японцев я люблю тоже. Может, я в душе самурай, а этого никто не знает. Ну, так как же, мои милые, задушевные друзья? Заключаем мир? Хорошо! Вы хотите пощекотать ваше самолюбие? Извольте! Будем считать, что победили вы? Что ж... все мы — дети одного Бога, а самолюбие и гордость — тяжкий грех. Неужели вам все еще мало? Вы отзываете свои войска, я свои, победа считается за вами — ну, и ладно! Ну, и конец!!

— Нет, — качает головой русский.

— Нет! Нет, — подтверждают англичанин и француз.

И неожиданно для себя тяжело опускается Гогенцоллерн на холодный мраморный пол.

То не с потолка падают капли от сырости — то слезы. То не мыши скребутся по углам, то тоска терзает железными когтями сердце: не муха, а мысль сверлит мозг:

— Нет выхода! Тяжко мне, мой старый, добрый немецкий Бог!

И плачет Гогенцоллерн:

— Ну, хорошо! Пусть все, что я говорил — вздор! Но пожалеть-то вы меня можете?

— Нет!

И гулкое эхо отзывается в углах, где притихли мыши:

— Нет!

— Нет!!

* * *

Мечется в холодной постели растерявшийся Гогенцоллерн.

Бессонница — мучение.

Но есть и сон, имя которому — проклятие.



ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "НОВОГО САТИРИКОНА"

ЧЕЛОВЕКИ (1915)

о маленьких – для больших



ПЕРЕСКОКИН

I

Взяв меня под руку и подведя к компании, сидевшей за столиком в загородном ресторане, Пересокин сказал, обращаясь ко всем и ни к кому в частности:

— Позвольте представить вам, господа, человека, с которым некоторые из вас так жаждали познакомиться, — Петр Супов, тот самый, который в прошлом году свел с ума весь Милан.

— Милан? — спросила с недоумением красивая, молодая дама.

— Ну, да. Милан. Это, ведь, Петр Супов, певец, обладатель единственного, пожалуй, в Европе баритона.

Все с любопытством поглядели на меня и пододвинули мне стул.

— Послушай, — шепнул я, когда внимание компании было отвлечено появившейся на сцене француженкой. — Зачем ты соврал так бесстыдно о моем баритоне? Никогда я в Милане не был, да и, вообще, голос мой напоминает крик верблюда.

Он ответил мне тоже шепотом:

— Ты ничего не понимаешь: если бы я сказал, что ты просто Петр Супов и больше ничего, — то все бы взглянули косо на такое бесцельное, ненужное знакомство. А теперь я оглушил их таким обухом по лбу, что они до сих пор не могут опомниться. Понимаешь? Нужно было их оглушить.

— А что это за «некоторые из них, которые так жаждали со мною познакомиться»?

— Некоторые? Это не страшно. Лишь бы не все. А раз «некоторые», то каждый будет думать про другого. Понял? Надо, вообще, оглушить.

— Пожалуйста, больше никого не оглушай мною, — попросил я. — Вдруг они да попросят меня, чтобы я им спел. Что тогда?

В этот самый момент молодая дама обратилась ко мне:

— Вы, конечно, доставите нам наслаждение послушать ваш чудесный голос. Это будет такое счастье.

— А... ззмм... гррр...— возразил я, тоскливо глядя на Перескокина.

— Что?

— Я говорю: послезавтра я и того... Как говорят итальянцы — мецца воче. Попою. Кхи!

— Да зачем же откладывать! Мы можем сейчас перейти в кабинет. Там есть недурное пианино. Проаккомпанирует дирижер в антракте. Кстати же, он и сам итальянец и знает итальянский репертуар...

Перескокин обернулся, будто его ужалили.

— Что? Вы просите его спеть? Ни-ни! Ни за что.

— Господа... Но почему же?

— По глазам его вижу, что он был бы уже не прочь, но я — его друг — ему не позволю. У него только позавчера были гланды распухши, и начать петь сегодня — вы не знаете, какой это для певца зарез! Вы не знаете, какой нежный, деликатный инструмент — голос. В особенности, тенор.

— Вы говорили — баритон?

— Что? У него-то? У него баритональный тенор. Знаете, такой, низковатый. На днях я ему позволю спеть. Сам даже ему саккомпанирую.

— Вы разве играете?

— Я? Собственно, я... Да, кстати, господа, удалось вам достать ложу на этот знаменитый спектакль?

— Представьте, — оживился муж красивой дамы, — достали! С колоссальнейшим трудом, но достали. Собственно, весь спектакль — чепуха, но второй акт! Собственно, все идут из-за второго акта. А вы будете?

— У меня был билет во втором ряду, но я, знаете, подарил его. Одной старушке. Плакала бедняга, — говорит,

хоть перед смертью увижу... Да я-то могу и не пойти, чепуха, а вот моего друга, Петра Супова, смертельно жалко! Приехал он в столицу всего на несколько дней — и так ему и не удастся посмотреть этот знаменитый спектакль.

— Да, это обидно, — согласился прилизанный молодой человек с длинным носом.

— А ему бы так хотелось...— скорбно прошептал Перескокин.

Я толкнул его под столом коленом, а он, не обращая на меня внимания и глядя красивой даме в глаза, подчеркнул крайне многозначительно:

— Да, никак ему не удастся. Жаль мне его до отчаяния. Ирония судьбы: человек, который сам чарует толпу, — не может получить своей порции очарования...

— Жаль, что нас в ложе уже пять человек, — сказала молодая дама, очевидно, хозяйка ложи. — Мы с мужем, Вова (длинноносый, прилизанный молодец), Софья Петровна (поджарая старуха, сидевшая тут же) и Калерия Максимовна (вторая молодая дама, сидевшая тут же).

— Пять человек? — медлительно переспросил Перескокин, пожевывая губами. — Пять? Но, ведь, это не так важно. Он бы и постоял сзади. Лишь бы видеть этот знаменитый второй акт!

— Если месье Супов ничего не имеет против того, чтобы...— нерешительно промямлила хозяйка.

Толкнув меня локтем, Перескокин подхватил весело и бойко:

— Ну, конечно же, конечно! Мы тихонечко простоим сзади вас второй акт и потихонечку исчезнем. Большое вам спасибо!

У хозяйки ложи уже открылся рот: очевидно, она хотела заметить, что разговор шел, собственно говоря, только обо мне. Но как раскрылся рот — так и закрылся. Хозяйка ложи промолчала, а мы встали и начали прощаться.

II

— Скажи, пожалуйста, — сурово спросил я, когда мы уселись на извозчика. — Для чего ты меня познакомил, для чего произвел в теноры и для чего вообще вся эта история?

— А ты, думаешь, легко попасть на этот спектакль? Попробовал бы сам!

— Да я тебя и не просил. Прекрасно я обойдусь и без этого спектакля.

— Ты-то обойдешься. А я не обойдусь.

— Значит, ты о себе хлопотал?

— Мм... Ну, конечно, и о тебе, — великодушно пожал плечами Перескокин. — Если тебе, конечно, хочется идти.

— Милый мой... Не говоря уже о неблаговидности такого способа втираться в чужую ложу, я, вообще, ненавижу самою идею лож. Что это такое: дам всегда сажают вперед, а мужчина должен, как арестант из окошечка тюрьмы, выглядывать из-за их плеч, чтобы увидеть чью-нибудь ногу на сцене или кусочек шляпы премьерши.

— Ты прав, — согласился Перескокин. — Я сам терпеть не могу лож. Но успокойся: нам будет все хорошо видно.

— То есть? Не дойдет же твоя наглость до того, чтобы сесть вперед, предоставив дамам торчать сзади нас?

— Успокой свое сердце. Никому сзади нас стоять не придется, и, вообще, все будет хорошо. Доверься мне. Едешь?

Я рассмеялся.

— Собственно, так как приглашали не тебя, а именно меня, то, пожалуй, я поеду. А ты — как знаешь.

— О, обо мне не беспокойся.

Действительно, беспокоиться о Перескокине не следовало. В этот вечер он вырисовался передо мной совсем новой, неожиданной стороной.

Человек, как бриллиант: никогда не знаешь, какой гранью и цветом он засверкает...

III

Мы приехали в ложу за десять минут до начала спектакля, но все уже были на месте.

Как я предполагал, так и случилось: впереди сидели в ряд три дамы, сзади них, в просветах между их плеч и голов, сидели двое мужчин, а нам с Перескокиным предстояло стоять совсем сзади...

— Видишь? — сердито прошептал я.

Не обращая на меня внимания, он наклонился к молодой даме, подруге хозяйки ложи, и шепнул ей:

— А муж ваш, Калерия Максимовна, разве не будет?

— Нет, он остался дома.

— Ах, вот почему Марья Сергеевна сказала мне... впрочем, гм!.. Кажется, этого не следовало говорить.

Калерия Максимовна резко повернулась к Перескокину.

— Что такое? Что Марья Сергеевна? Что вы начали говорить о Марье Сергеевне?

— Нет, ни за что. Не расспрашивайте меня, Калерия Максимовна!.. Я не скажу ни слова.

— Нет, вы скажете мне, — чуть не плача, заерзала на месте Калерия Максимовна. — Почему вы не хотите мне говорить?!

— Чего?

— Вот... насчет Марьи Сергеевны.

— Да я думал, что вы знаете... Впрочем, вы, конечно, не придадите этому значения!.. Сегодня и видел Марью Сергеевну, и она сказала, что собирается к вам; а когда я сообщил ей, что вы в театре, она так странно поглядела на меня и говорит: я это знаю. Не люблю я ее, представьте. Интриганка, легкомысленная, каждому мужчине на шею вешается.

Калерия Максимовна наклонилась к хозяйке ложи, и они энергично зашептались...

— В чем дело? — спросил муж.

— Да Калерия должна ехать домой, — тревожно сказала хозяйка ложи. — Ей надо; она вспомнила... Поезжай, поезжай, голубушка... Конечно, я понимаю...

Калерия встала и ушла, а прилизанный молодой человек сел на ее место.

Перескокин сел, в свою очередь, на место прилизанного и вступил в разговор со старухой Софьей Петровной.

— Знали Каплюхину, Вассу Васильевну? — спросил он.

— Нет, батюшка. А что?

— Вчера ее обокрали. На шесть тысяч процентных бумаг унесли. Я потому это вспомнил, что вы тоже, кажется, дома держите свои бумаги.

— Скажешь ты тоже этакое — дома, — сухо проборматала старуха. — В банке они у меня.

— Да? А я думал... Впрочем, вам бояться нечего и дома держать, — ведь вы не одна живете.

— Как не одна? Одна я, батюшка. Совсем, как говорится, одна. Даже прислуга приходящая.

— Да? Удивительно. А я нынче проезжаю мимо вашей квартиры, смотрю, — в окнах свет. Тень какая-то над столом, другая тень сзади мелькает. Э, думаю, к Софье Петровне родственники... Куда же вы?!..

IV

Муж хозяйки ложи пересел на место ушедшей старухи, рядом с женой, а я — на его место.

— Я знаю того господина, — сказал Перескокин хозяйке ложи, — того, на которого вы в бинокль смотрели. Это Глуздин.

— Ну, да, — недовольно пробормотала дама, бросая косой взгляд на мужа. — Глуздин. Что ж из этого?

— Ничего, ничего. Я только вспомнил, что видел вас с ним два года тому назад на Иматре. Тогда вы еще не были замужем за Николаем Парамонычем.

— Мы уже четыре года женаты, — неожиданно оборачиваясь, заявил муж. — Какой это Глуздин? Где?

— Разве четыре года? А я думал... Глуздин? Вот он. Все время в бинокль на нашу ложу смотрел.

— Почему ты мне ничего не говорила об этом Глуздине? — дрогнувшим голосом обратился муж к жене.

— Так, не приходилось.

— Не приходилось? А теперь пялиться на него в бинокль приходится?

— Э, э, — весело зашептал Перескокин, — только без ревности, дорогой мой. Я был бы в отчаянии, — если бы... благодаря мне...

— Нет, я не ревную, — проскрипел, сразу помрачневший муж.

— И вы правы. Ну, была достойнейшая Анна Владимировна с Глуздиным на Иматре — что же это доказывает? Ровно ничего. Ведь, этак, если придавать всему значение, то и ваша поездка в Москву в одном купе с актрисой Ниловой...

— Нилова?!! — застонала жена...

— А что этот Глуздин, — быстро перебил муж, — как он, вообще...

— Что такое? — спокойно спросил Перескокин.

— Я не ревную, — со слезами на глазах сказала, вставая, Анна Владимировна, — но меня возмущает эта ложь. Ведь, я его тогда провожала в Москву, — обратилась она к Перескокину, — и спрашиваю его, — кто с тобой едет в купе? А он мне, представьте, отвечает: «какой-то священник». Спутать актрису со священником!!

— Но, милочка моя... В купе было так темно... Сходство причесок...

— Да? Было темно?! На сколько я знаю, в первом классе всегда бывает очень светло, и темнота устраивается только тогда, когда ее хотят!! И, кроме того, я... я... Я не могу больше!!... Проводи меня... Я тебе должна что-то сказать...

— Милая! Но, ведь, сейчас подымается занавес...

— А! ты думаешь, мне до занавеса твоего? Ты пойдешь?! Или я сама должна уйти?..

V

Мы сидели втроем, рядышком, у барьера ложи: Перескокин, прилизанный носатый молодой человек и я.

Было довольно удобно, но я видел, что Перескокин уже разошелся.

— Катя здесь, — интимно сообщил он прилизанному.

— Что вы говорите? — встревожился он. — Разве она уже приехала?

— Как же. Вчера. Узнала, что вы здесь, говорит: я ему, говорит, все припомню! Я ему, говорит, публичный скандал при всех закачу.

Перескокин, видя, что прилизанный продолжает упорно занимать свою позицию, помолчал и равнодушно добавил:

— Что-то в муфте прячет. Эти оправдательные приговоры обливательниц кислотой совершенно свели баб с ума. Каждая думает, что ей все с рук сойдет. Прямо возмутительно.

— Она знает, что я в этой ложе?

— Я не сказал. Только не советую вам красоваться на виду.

— Да, да... я... тово... Я пересяду.

Занавес поднялся. Мы спокойно облокотились на барьер просторной, удобной ложи и обратили свои взоры на сцену...

РОКОВОЙ ВЫИГРЫШ

Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читатель-брюзга, прочтя нижеизложенное, сделает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным безапелляционным тоном:

— Не может быть такого случая в жизни!

Читатель, конечно, способен спросить:

— А чем вы это докажете?

Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О, Боже мой! Да очень просто: такой случай возможен потому, что он был в действительности.

Надеюсь, другого доказательства не потребуется?

Прямо и честно глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю: такой случай был в действительности, в августе месяце в одном из маленьких южных городков! Ну-с?

Да и что здесь такого необычного?.. Устраиваются на общедоступных гуляньях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрывается в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову? Может!

Ну, вот и все. Корова — это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыгрываться вся пьеса или — ни я, ни читатель — ничего не понимаем в музыке.

В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено по случаю престольного праздника большое народное гулянье с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость (бег в мешках, бег с яйцом и пр.), а также вниманию отзывчивой публики будет предложена лотерея-аллегри с множеством грандиозных призов, среди которых — живая корова, граммофон и мельхиоровый самовар.

Гулянье имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю.

Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его полуголодной убогой жизни Настя Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежали мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных

мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта — «бега в мешках». Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом (другая отрасль спорта: «бег с яйцом»); уже был сожжен блестящий фейерверк; уже половина лотерейных билетов была раскуплена...

И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала:

— А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею... Вдруг, да что-нибудь выиграем!

Рыцарь Еня не прекословил.

— Настя! — сказал он. — Ваше желание — форменный закон для меня!

И ринулся к лотерейному колесу.

С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билетика, свернутых в трубочку, предложил:

— Выбирайте. Один из них мой, другой — ваш.

Настя, после долгого раздумья, выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно: «Пустой!» — и бросила его на землю, а Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик: «Выиграл!»

И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами:

— Если зеркало или духи — дарю их вам.

Вслед за тем он обернулся к киоску и спросил:

— Барышня! Номер 14 — что такое?

— 14? Позвольте... это корова! Вы корову выиграли.

И все стали поздравлять счастливого Еню, и почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго-долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь.

И — таково страшное действие богатства и славы — даже Настя потускнела в глазах Ени, и пришло ему в голову, что другая девушка — не чета Насте — могла бы украсить его пышную жизнь.

— Скажите, — спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась. — Я могу сейчас забрать свою корову?

— Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите? Мы бы ее взяли обратно за 25 рублей.

Бешено засмеялся Еня.

— Так, так! Сами пишете, что «корова стоимостью свыше 150 рублей», а сами предлагаете 25?.. Нет-с, знаете... Позвольте мне мою корову, и больше никаких!

В одну руку он взял веревку, тянувшуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал:

— Пойдемте, Настенька, домой, больше нам здесь нечего делать...

Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело:

— Неужели вы с ней будете так... таскаться?

— А почему же? Животное как животное? Да и не на кого же ее здесь оставить!

Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора. Поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы: Еня, Настя, корова.

Наоборот, широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему, а образ Насти все тускнел и тускнел...

Настя, нахмурив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала...

— Слушайте, Еня... Значит, вы меня домой не проводите?

— Провожу. Отчего же вас не проводить?

— А... корова??

— Чем же корова вам мешает?

— И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют, мальчишки на нашей улице проходу не дадут!!

— Ну, хорошо...— после некоторого раздумья сказал Еня, — сядем на извозчика. У меня еще осталось тридцать копеек.

— А... корова?

— А корову привяжем сзади.

Настя вспыхнула.

— Я совершенно не знаю: за кого вы меня принимаете? Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову!

— Вы думаете, это очень остроумно? — надменно спросил Еня. — Вообще, меня удивляет: у вашего отца четыре коровы, а вы одной даже боитесь, как черта.

— А вы не могли ее в саду до завтра оставить, что ли? Украли бы ее, что ли? Сокровище какое, подумаешь...

— Как угодно, — пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. — Если вам моя корова не нравится...

— Значит, вы меня не провожаете?

— Куда ж я корову дену? Не в карман же спрятать!..

— Ах, так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходить.

— Пожалуйста, — расшаркался обиженный Еня. — И послезавтра к вам не приду, и вообще могу не ходить, если так...

— Благо нашли себе подходящее общество!

И, сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда.

Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насте.

Потом очнулся...

— Эй, ты, корова... Ну, пойдем, брат.

Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно, но едва они вышли на освещенную многолюдную Дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу:

— Коровичий сын свою маму спать ведет.

— Вот я тебе дам по морде, так будешь знать, — сурово сказал Еня.

— А ну, дай! Такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет?

Это была чистейшая бравада, но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью.

На половине Дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее: бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня с рассеянной миной пошел сбоку, при-

няв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего...

Когда же поступательное движение коровы ослабевало и она мирно застывала у чьих-нибудь окон, Еня снова исподтишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше...

Вот Енина улица. Вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату... И вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль:

— А куда я сейчас дену корову?

Сарая для нее не было. Привязать во дворе — могут украсть, тем более что калитка не запирается.

— Вот что я сделаю, — решил Еня после долгого и напряженного раздумья. — Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате...

Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой:

— Эй, ты. Иди сюда, что ли... Да тиш-ше! Ч-черт! Хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь.

Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени да, пожалуй, коровы: потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей службы и к своему новому месту жительства.

Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки.

— Кш! Ишь ты, проклятая, — подушку грызет! Ты что... есть, может, хочешь? или пить?

Еня налил в тазик воды и подсунул его под самую морду коровы. Потом, крадучись, вышел на двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо сунул их в тазик же...

— На, ты! Как тебя... Васька! Ешь! Тубо!

Корова сунула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно густо и громко.

— Цыц ты, проклятая! — ахнул растерявшийся Еня. — Молчи, чтоб тебя... Вот анафема!..

За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату загля-

нул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад.

— Это вы, Иван Назарыч? — шепотом спросил Еня. — Входите, не бойтесь... У меня корова.

— Еня, с ума вы сошли, что ли? Откуда она у вас?

— Выиграл в лотерею. Ешь, Васька, ешь!.. Тубо!

— Да как же можно корову в комнате держать? — недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. — Узнают хозяева — из квартиры выгонят.

— Так это до завтра только. Переночует, а потом сделаем что-нибудь с ней.

— М-м-му-у! — заревела корова, будто соглашаясь с хозяином.

— А, нету на тебя угомону, проклятая!! Цыц! Дайте одеяло, Иван Назарыч, я ей голову закутаю. Постой. Ну, ты! Что я с ней сделаю — одеяло жует! У-у, черт!

Еня отбросил одеяло и хватил изо всей силы кулаком корову между глаз...

— М-мму-у-у!..

— Ей-Богу, — сказал жилец, — сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой.

— Так что же мне делать?! — простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние. — Ну, посоветуйте.

— Да что ж тут советовать... А вдруг она будет кричать целую ночь. Знаете что? Зарежьте ее.

— То есть... как это зарезать?

— Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам.

Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли на одном уровне с мыслительными способностями хозяина.

Еня тупо поглядел на жильца и сказал после некоторого колебания:

— А что же мне за расчет?

— Ну, как же! В ней мяса пудов двадцать... По пяти рублей пуд продадите — и то сто рублей. Да шкура, да то, да се... А за живую вам все равно не больше дадут.

— Серьезно? А чем же я ее зарежу? Есть столовый нож и тот тупой. Ножницы еще есть — больше ничего.

— Что ж; если ножницы вонзить ей в глаз, чтобы дошло до мозга...

— А вдруг она... станет защищаться... Подымет крик...

— Положим, это верно. Может, отравить ее, если...

— Ну, вы тоже скажете... Сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула, да откуда его сейчас возьмешь?..

— Му-у-у!.. — заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок.

За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплевывался от сна. Потом послышалось шарканье босых ног, дверь в Енину комнату распахнулась, и перед смятенным Еней предстал сонный растрепанный хозяин.

Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое:

— Вон!

— Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич...

— Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было. Я покажу вам, как безобразие заводить!

— То, что я вам и говорил, — сказал жилец таким тоном, будто все устроилось, как нужно; закутался в свое одеяло и пошел спать.

Была глухая, темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченными на корову (первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем).

— Ну, ты, проклятая! — сказал Еня сонным голосом. — Иди, что ли! Не стоять же тут...

Тихо побрели...

Маленькие окраинные домики кончились, раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором.

— Тепло, в сущности, — пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. — Посплю здесь у изгороди, а корову к руке привяжу.

И заснул Еня — это удивительное игралище замысловатой судьбы.

— Эй, господин! — раздался над ним чей-то голос.

Было яркое, солнечное утро.

Еня открыл глаза и потянулся.

— Господин! — сказал мужичонка, пошевелив его носком сапога. — Как же это возможно, чтобы руку к дереву привязывать. Это к чему же такое? .

Вздрогнув как ужаленный, вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик: другой конец привязанной к руке веревки был наглухо прикреплен к низкорослому, корявому дереву.

Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево, но Еня был просто глупо-практичным юношей.

Всхлипнул и завопил:

— Украли!!.....................................

— Постойте, — сказал участковый пристав. — Что вы мне все говорите — украли да украли, корова да корова?.. А какая корова?

— Как «какая»? Обыкновенная.

— Да какой масти-то?

— Такая, знаете... Коричневая. Но есть, конечно, и белые места.

— Где?

— Морда, кажется, белая. Или нет! Сбоку белое... На спине тоже... Хвост такой тоже... бледный. Вообще, знаете, как обыкновенно бывают коровы.

— Нет-с! — решительно сказал пристав, отодвигая бумагу. — По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете!

И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод... Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня...

И призадумался Еня над тщетой всего земного: вчера у Ени было все — корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно — и корова, и жилище, и любимая девушка.

Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все — ее слепые, покорные рабы.

МАЙ, ЗЕЛЕНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ!...

Управляющий министерством вн. дел А. Хвостов напечатал в петроградских газетах письмо в редакцию по поводу своей беседы с Савенкой.

В этот холодный осенний день все мы плакали теплыми весенними слезами — и редактор нашей газеты, и издатель, — а старый секретарь так прильнул в порыве любви и всепрощения к испуганному этой непривычной лаской метранпажу, что мы насилу его оттащили...

Все плакали. Да и было от чего.

* * *

Не было еще двенадцати часов дня (о, это мгновение врезалось мне в память, вероятно, навсегда) — когда в редакторский кабинет, где мы, несколько человек сотрудников, мирно беседовали с редактором, ворвался швейцаров мальчишка-подручный и завопил страшным ни на что не похожим голосом:

— Министр приехал!!

— Ш-ш-што-о?!.

Но сомнений в мальчишкином утверждении не могло быть: мы подскочили к окну и, действительно, увидели на улице автомобиль, из которого выходил новый министр... сам! своею персоной!..

Часть сотрудников продолжала жадно смотреть в окно, а часть подскочила к редактору, чтобы схватить его под руки: ибо он уже шатался, выражая всей своей фигурой самое недвусмысленное намерение — лишиться чувств и упасть на пол.

Ему дали воды и стали обмахивать его лицо конкурирующей газетой — это сразу привело его в чувство.

— Сколько? — слабым голосом спросил он.

— Что сколько?

— Сколько платить придется?

— Чего?

— Штрафу.

— За что?

— Будто в этом дело — за что? Главное, я рассчитываю так: когда являлся скромный чиновник полиции — он брал с нас 500 или 1000 или даже 3000... Какой же штраф мы должны заплатить теперь? Тысяч сто?!

Репортер Оськин пискнул в углу, как мышь, и умер от разрыва сердца. Около него захлопотали два товарища (один брызгал на него водой, другой писал на животе покойного некролог), а остальные сотрудники во главе с редактором ринулись навстречу министру.

* * *

На площадке сошлись.

— Ваше превосходительство! — сказал редактор, поддерживаемый под руки сотрудниками. — Уверяю вас, что эта заметка проскочила по недосмотру... Спешная ночная работа, отсутствие надлежащего состава — вы сами понимаете...

— Заметка? Какая заметка?

— Я сам, собственно, не знаю — какая. Но какая-нибудь, вероятно же, есть. И потом стотысячного штрафа никакая газета не выдержит.

— Сто тысяч?! — широко открыл глаза министр. — Кто на вас наложил? Когда?

— Ваше превосходительство! Я думал, что вы... если уж сами обеспокоились...

— Стыдитесь! — вспыхнул новый министр до корней волос. — Неужели, вы могли обо мне этакое подумать? Кажется, я не давал оснований... Я просто привез для напечатания письмо в редакцию.

Все икнули, открыли рты и ошалело взглянули на министра.

— Пись...

— Мо?!.

— В ре...

— Дак...

— Цию?!.

— Ну, да. Что же вас так удивляет? Разве это не принято?

Сердце редактора забилось шибко-шибко... Он потихоньку прижал его рукой. И подумал:

«Где я нахожусь? В России или во Франции? Может быть, я француз?».

И с сомнением шепнул секретарю:

— Парле ву франсе?

— Вуй.

— Кескесе са?

— Черт его знает. Не понимаю.

— Вот это ваша редакция и есть? — общительно спросил министр.

— Нет, ваше превосходительство... Это площадка только. А редакция там. Милости прошу.

* * *

Вошли в кабинет.

— Чаю, ваше превосходительство?

— Не откажусь. А это кто там в углу лежит?

— Так, сотрудничек один. Мертвый.

В это время мертвец пошевелился, сбросил с живота некролог, который его товарищ уже дописывал, встал и сказал загробным голосом:

— Ка-ак? Сам министр у нас в редакции, да чтобы я его не проинтервьюировал?! Да где же это видано? Да никогда же этого не будет! Ваше превосходительство! Имею честь кланяться! В качестве представителя от газеты «Петроградская Чернильница» осмелюсь обратиться к вам с несколькими вопросами. Как вы смотрите, ваше превосходительство, на роль банков в форсировании цен на продукты первой необхо...

Все почувствовали некоторую неловкость, но секретарь нашелся.

— Чудак этот Оськин, — тихо сказал он за спиной репортера. — Топчется тут, в то время, как в Гостином колоссальный пожар...

Оськин застонал, схватился за голову и убежал.

* * *

— Значит, это вот она, редакция, и есть? — с любопытством, оглядываясь, спросил министр.

— Да. Впрочем, там еще комнаты... другие.

— А этот шкаф зачем? Наверное для хранения бомб?

— Каких бомб?!!

— Ну, тех, которые бросают...

— Что вы, ваше превосходительство! Зачем же их бросать? Разве можно.

— Чудеса! Неужели, нет ни одной бомбы? Мне передавали, что в каждой редакции есть...

— Ваше превосходительство! Дробинки не держим, не то, что...

— Да что вы! Верю, верю. Привык верить голосу независимой печати. А мне передавали... Гм!.. Как мы, все-таки, мало знаем Россию... А это все сотрудники?

— Сотрудники, ваше превосходительство. Позвольте представить.

— Здравствуйте, господа. Очень рад. Как поживаете?

— Так себе, — сказал фельетонист. — Цензура жмет.

— Да, да, — грустно покачал головой министр. — Ах, уж эта цензура. Что и говорить... А где здесь Леонид Андреев?

— Его нет. Он у нас не работает.

— Хороший писатель. А Толстой-то... умер?

— Лев? Умер.

— Да, да. Грустно.

Помолчали.

— А я к вам, собственно, по делу. Разговаривал я, изволите видеть, на днях с Савенкой, и он, передавая в газеты нашу беседу, немного перепутал. Нельзя ли поместить мое письмо в редакцию с исправлением неточности...

Он вынул из кармана письмо и положил его на стол.

Сразу все повеселели. Лед был проломлен, и на всех подуло свежим весенним ветром.

Секретарь взял письмо, просмотрел его и кивнул головой.

— Хорошо. Собственноручно писали?

— Да. Сам.

— Хорошо, коллега. Напечатаем. Конечно, корпусом?

— Чем?

— Корпусом.

— Ка... ким корпусом?

— Может, эльзевир хотите?..

— Ну... Хорошо... пусть. Я уж пойду.

— Куда же вы? Еще стаканчик.

— Не много ли будет? ....

И хотя день был мрачный, осенний, пасмурный, но многообещающее солнце разливало свои сверкающие лучи по скромному редакторскому кабинету и многообещающие весенние птицы щебетали из темных углов вовсю.

МАЛЬЧИК КАЗЯ

Вечер был, сверкали звезды,
Проливая кроткий свет;
Шел по улице малютка,
А малютке — двадцать лет.
. . . .
Бог и в поле птичку кормит,
Всем тепло и свет дает —
В двадцать лет малютка тоже
Никогда не пропадет.

В. Горянский

Некоторая аналогия Кази Кшечковского с рождественским замерзающим мальчиком дает возможность автору пренебречь даже такими, казалось бы, важными противоречиями, как те, что: 1) Мальчику Казе было уже 26 лет... 2) Дело происходило не под Рождество, а в июне месяце... 3) Стоял не 20-градусный мороз, а, наоборот, 28-градусная жара.

Кроме же этих трех пунктов, судьба Кази Кшечковского очень напоминает судьбу бесприютного, замерзавшего и спасенного малютки.

Новоиспеченный помещик Кудкудахтов сидел на террасе помещичьего дома, утирал с лица обильный пот и думал:

— Черт его знает, какая это сложная вещь, сельское хозяйство! Без управляющего так и не знаешь толком — косить ли сейчас или сеять, молотить или боронить... А то еще есть слово «сковородить»!.. Черт его знает, что оно значит? Чрезвычайно жалко, что старый управляющий ушел сейчас же после смерти дяди. Вот теперь и прихо-

дится перед арендаторами, кучерами и разными мужиками корчить из себя понимающего человека. Нет, заведу управляющего. Хорошо это будет и стильно: утром сижу я у окна в халате, с трубкой в зубах, пью кофе. Приходит управляющий, степенно кланяется мне в пояс и останавливается скромно у притолоки. «Ну, что, Евстигнеич, как наши дела?» — спрошу я его. — «Да все как будто хорошо, Михал Миколаич... Кочевряжинские луга все, почитай, засковородили, а нынче овсы боронить учнем... Дал бы Бог только вёдро». — «Даст Бог и вёдро» — солидно замечу я. — «А что, кучер Игнашка все пьет?» — «Пьет, барин Михал Миколаич. Пьет, подлец. Выгнать бы его следовало...» — «Выгони, Евстигнеич, дело хорошее», — говорю я, попыхивая трубкой...

Занятый такими мыслями, Кудкудахтов и не заметил, как во двор вошел молодой человек в песочного цвета костюмчике, лаковых полусапожках и сиреневом галстуке с красными крапинками... В руках у него был прехорошенький хлыстик.

Он остановился в двух шагах от Кудкудахтова и, сняв соломенную шляпу-канотье, изящно раскланялся:

— Имею честь пожелать доброго здоровья.

— Здравствуйте, — приветствовал его и Кудкудахтов. — А чем могу вам служить?

— Скажите, не вы ли будете хозяином этого прекрасного поместья?

— Я. Как же! Я самый и есть.

— Так у меня к вам есть всенижайшая просьба. Это не ваш лес, вон там, виднеется за дорогой?

— Мой, мой.

— Не разрешите ли вы мне прогуляться в этом прекрасном лесу? В воздухе стоит такая жара, что хочется хоть на полчаса окунуться в прохладную сень дремучих деревьев.

— Ну, какие же могут быть вопросы, молодой человек. Да гуляйте себе хоть целый день.

Молодой человек снова раскланялся, взмахнул хлыстом, будто поощрив самого себя к ходьбе, и бодро зашагал по направлению к лесу...

Это и был рождественский мальчик Казя Кшечковский.

Было уже часов шесть вечера, когда Казя Кшечковский снова очутился перед террасой, на которой новоиспеченный помещик Кудкудахтов пил вечерний чай.

— А, это вы! — сказал Кудкудахтов. — Ну, как вам понравился мой лес?

— Лес прекрасный, — улыбнулся детской улыбкой Казя, сбивая хлыстиком пыль с брюк. — Я пришел, во-первых, поблагодарить вас за удовольствие, а во-вторых, вернуть вам одну вещь, которую я нашел в вашем лесу...

И Казя, вынув из кармана серебряный рубль, протянул его Кудкудахтову...

— Да почему ж вы мне его отдаете? — удивился Кудкудахтов.

— Лес ваш, рубль лежал в лесу под вашим деревом, следовательно — ясно — и рубль ваш, — сказал Казя, глядя на помещика честным открытым взором.

— Ну ладно, — усмехнулся помещик, — не буду спорить...

И, немного тронутый такой честностью (он уже заметил, что у Кази один лаковый ботинок лопнул и на брюках виднелась бахрома), сказал приветливо:

— Может, стаканчик чайку не откажетесь?

Казя не отказался.

Налив стакан чаю, Кудкудахтов заметил:

— А я в том лесу еще и не был. Получил я все это в наследство от дяди и теперь собираюсь все здесь благоустроить. Человек я городской, но, конечно, не боги горшки обжигают.

— Имение — золотое дно, — заметил Казя. — Лес, например... Что вы с ним думаете делать?

— Что ж с ним делать... Что обыкновенно делают, — рубить его потихоньку на дрова.

— На дрова?! — воскликнул Казя, испытующе глядя на хозяина. — Скажите, вы никогда не занимались сельским хозяйством?

— Да говорю ж вам, что человек я городской...

— Так это будет безумие!! Знайте — этот лес может дать сотни тысяч...

— Каким образом?!

— Мачты!

— Как, мачты? Да кому ж они тут нужны?

— О, Боже! До станции гужом, а оттуда на открытых платформах... Разница же вот какая: при рубке — десяток деревьев даст вам полторы сажени по цене четыре рубля сажень, то есть всего шесть рублей, а десяток мачтовых бревен, без пороков, будет стоить с доставкой около трехсот рублей. Там шесть, тут триста. При этом все крупные ветки идут на дрова, из мелких мы делаем древесную массу для писчебумажных фабрик (можно маленький заводик для обработки поставить), а хвою будем молоть и кормить ею свиней — лучший для них это корм...

— Господи ты, Боже мой, — удивился Кудкудахтов, — как вы это все хорошо знаете...

— Да! — усмехнулся Казя, — я ведь у тетки чуть не с детства занимался сельским хозяйством.

— Серьезно?! Родной мой! Объясните мне, что это за сельскохозяйственное слово: сковородить? Слышал я его, а что оно такое — не знаю.

Казя снисходительно улыбнулся. На мгновение призадумался — потом бодро тряхнул головой:

— Сковородить? Это вздор, суеверие. Видите ли, когда на ниву надвигается туча, которая может подмочить хлеб, то все жители деревни выходят со сковородками и начинают колотить по ним палками, чтобы прогнать тучу... «Сковородят». Конечно, в рациональном хозяйстве такие способы смешны. Вообще, по-моему, в сельском деле из всякого грошика можно сделать рубль. Да вот, например, я видел одним глазком ваш фруктовый сад. Скажите, зачем вам анисовка?

— Ка... кая анисовка?.. — робко спросил Кудкудахтов.

— Это такой сорт яблок. Оптовая цена его за пуд полтора рубля... А мы можем привить к стволу «золотое семечко» или «царский ранет» и уже платить нам будут по семи рублей за пуд!..

Кудкудахтов слушал Казю со сверкающими глазами...

— Скажите, вы сейчас чем занимаетесь? — спросил он его, осененный какою-то мыслью.

— Ничем. Поссорился с теткой из-за политических воззрений и теперь иду в город. Тетка у меня обскурантка.

Помещик призадумался: «Малый он знающий — это видно по разговору; честный — доказывает поступок с рублем; молодой — значит, энергичный... Лучшего управляющего мне пока не найти!»

Столковались быстро, — в условиях сошлись в десять минут.

Работа в имении кипела. Каждое утро Казя являлся к Кудкудахтову с докладом.

Правда, он не отвешивал низкого поклона и не становился у притолоки, как старозаветный управляющий, но это даже нравилось Кудкудахтову (нет этого хамского низкопоклонства), в остальном же разговоры шли самые деловые:

— Сегодня Кукушкин выгон пустил под пар, — сообщал весело Казя.

— Под пар? Гм!.. Это хорошо. Ну, и что же он?

— Кто?

— Да выгон-то?..

— Выгон? Ничего. Все как следует. Выписал из Риги семена винных ягод и бананов. Анализ, сделанный мною, показывает, что почва в некоторых местах может производить субтропическую флору. Кремнезему уйма.

— Сеяли уже?

— Нет. Нынче в пору только обмолотиться. Сковородить решил завтра.

— А вёдро как?

— Вёдро хорошее. Да, кстати! Продал нынче овес; вот вам семьсот пятьдесят два рубля, а вот отдельно пятьдесят.

— А это какие пятьдесят?

— Взятка.

— Что-о-о?!..

— Мне дали взятку за овес. А так как я овес запродал по настоящей цене, без ущерба для вас, то эти деньги, по справедливости, ваши.

— Почему же мои?

— Овес ваш и взятка, значит, ваша. Вам причитается.

— Чудак вы, — смеялся растроганный Кудкудахтов. — Ну, спасибо. А мне, знаете, Казимир Михайлович, скучно. Вам-то хорошо — вы все работаете, хлопочете, а я...

— Да чего ж вам тут сидеть, — возразил Казя. — Взяли бы, да и катнули в столицу.

— Я уж и сам об этом подумывал... Да как же я уеду, если вы мне чуть не каждый день бумаги разные подсовываете, да разные сельскохозяйственные запродажи...

— Выход есть, — вспыхнув, прошептал Казя. — Да согласитесь ли вы на него?.. Человек-то я новый и вам еще неизвестный...

— А что?

— Да если, например, доверенность мне выдать... Такую, как у управляющего князя Щербинского...

— А почему бы мне и не выдать такой доверенности, — пыхтя трубкой, сказал Кудкудахтов. — Чем вы хуже княжеского управляющего? Если это вас устроит, то меня тем более.

— Только имейте в виду, — сказал Казя. — Я вам могу высылать в столицу на прожитие не более двух тысяч ежемесячно...

— Две тысячи в месяц?! — ахнул Кудкудахтов. — Да неужели стотысячное имение может приносить 24 тысячи в год?!..

— Пока не благоустроено, — снисходительно усмехнулся Казя, — а когда устроим, то и все сорок будете получать. О, вы, батенька, еще не знаете, что такое сельское хозяйство!!..

Обрадованный Кудкудахтов выдал полную доверенность и укатил в столицу...

Третьего числа следующего месяца Кудкудахтов получил из банка четыре хрустящие пятисотрублевки.

Еще через месяц он получил две хрустящие пятисотрублевки и письмо: «От молнии сгорела рига. Ставлю другую, почему пока посылаю тысячу. В следующий присыл вышлю сразу три тысячи...»

Прошел еще месяц. От Кази ничего не получилось.

И еще месяц. Полное молчание.

Кудкудахтов забеспокоился и послал телеграмму.

Казя молчал.

Встревоженный Кудкудахтов наскоро собрался, взял из банка часть собственных денег и скорым поездом полетел в родные палестины.

Серый долгий дождик печально моросил, когда он подъезжал к своему имению в тарантасе, нанятом на станции...

— Что это?! — вскричал вдруг обескураженный Кудкудахтов. — Где же мой дом? Сплю я?!.. Поезжай скорей!!!

Унылый вид представляет остывшее пожарище, смоченное осенним дождем.

Несколько кирпичей, не успевших равалиться, высились по краям погорелого дома, а по мокрому пеплу и углям бродил, опустив голову, Казя и изредка поковыривал своей изящной тросточкой пепел, точно ища, что бы можно было еще отсюда извлечь с пользой...

— Казя!! — вскричал Кудкудахтов. — Что случилось?!.

— А, здравствуйте, — поднял голову Казя. — Как поживаете? А у нас вот видите — дом сгорел.

— Экая досада! — крякнул Кудкудахтов. — Хотя, положим, я все равно хотел строить новый дом вон там, на той полянке.

— На ней, пожалуй, нельзя построить дома, — компетентным тоном заметил Казя.

— Почему?!

— Она продана уже. Хорошую цену давали, я и продал.

— Почему ж вы меня не спросили?..

— Не успел. Да я ведь, собственно, действовал на основании доверенности... Я ведь и лес продал, и луга, и землю эту, что под домом... Очень хорошую цену дали. Для вас же старался.

— Да где же эти деньги?! — вскричал ошеломленный Кудкудахтов.

- Сгорели. В этом самом доме и сгорели. Такая обида.

Долго стоял Кудкудахтов среди кирпичей и покоробленных железных листов от бывшей крыши.

Потом поднял опущенную голову и сказал угрюмо:

— Казя! Ведь вы за это в тюрьме сгниете...

— А что вам за польза? — деловым тоном спросил Казя...

— Пользы нет, но вы будете наказаны за воровство и мошенничество.

— Тюрьма меня еще больше испортит, — сказал тихо Казя, расковыривая палочкой потухшие угли.

— Испортит!.. Да вы и так хороший гусь, — с досадой сказал Кудкудахтов.

— А тогда буду еще хуже.

— Но ведь вы у меня украли, если вычесть полученные три тысячи, ровно девяносто семь тысяч!!..

— Точно: девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто девять рублей. Рубль-то, который я вам дал при первом знакомстве, был мой собственный. Последний был. Конечно, я не спорю: купить за один рубль такое доверие — очень дешево. Все-таки вам от всего этого будет польза — не доверяйте кому попало!..

— Мерзавец! — отвечал Кудкудахтов, поворачиваясь к нему спиной, шагая к тарантасу и всем своим видом показывая, что расчеты с Казей покончены. — Мер-рзавец!

— Спасибо, — вздохнул облегченно Казя, устремив кроткий взгляд в его спину.

А когда бывший помещик уехал, Казя сказал сам себе:

— Пожалуй, это, действительно, мысль: выстроить новый дом на той полянке. Так я и сделаю...

История о замерзающем и спасенном мальчике окончена.

Этой историей я отнюдь не хочу сказать, что мальчиков не следует спасать...

Спасать мальчиков надо, но при этом надлежит всегда помнить о молодом человеке с тросточкой, робко попросившем у хозяина разрешения погулять в лесу, — и что из этого вышло.



ШАЛУНЫ И РОТОЗЕИ
(1915)

о маленьких – для больших



ПРЕДВОДИТЕЛЬ ЛОХМАЧЕВ

— Предводитель! Все исполнено. Завтрак готов. Мясо изжарено.

— Ого! По чести сказать, малец, ты довольно-таки исполнительный парняга. Это что у тебя в руках?

— Так себе, ничего, предводитель. Груша. Обыкновенная грушка...

— Дай-ка я откушу маленький кусочек.

Очевидно, эту фразу можно было толковать двояко, потому что Илья Лохмачев всунул в рот почти всю грушу, оставил маленький кусочек и великодушно протянул его мне.

Это была небольшая уютная лужайка, окруженная кустами боярышника и кривыми акациями. Мы помещались на краю лужайки в большой, неправильной формы яме, посредине которой весело пылал костер. На этом костре жарилось несколько кусков мяса, выпрошенных малышом Петькой у своей доброй, слабохарактерной кухарки.

Надо сказать несколько слов о яме, в которой мы помещались: она была вырыта нашими руками еще весною. Предполагалось сделать подземный ход под всем городом, до самого моря, куда мы ежедневно бегали купаться. Предполагалось ходить купаться именно через это подземелье, а выход его у берега моря заваливать каждый раз какой-нибудь скалой, которая могла бы поворачиваться на замаскированных петлях.

К рытью подземелья приступили очень охотно, вырыли яму в пол-аршина глубиной и бросили. Впрочем, яма была

и так хороша. Посредине разводили костер, а по краям, на свежей траве и листьях, располагалась шайка.

Шайка состояла из пяти человек; предводитель — Илья Лохмачев, и мы — Гичкин, Луговой, Прехин и малыш Петя, личность еще не определившаяся, но полезная тем, что могла доставлять провиант для пирушек, а также исполнять все мелкие черные работы.

Конечно, в любой благовоспитанной детской Илья Лохмачев производил бы дурное впечатление. Ходил он, заломив фуражку набок, изогнувшись боком и насвистывая все время разные грубые марши. Голос имел сиплый, и разговор его как раз подходил к голосу.

— Разрази меня гром, если я не голоден как собака! Пусть дьявол унесет мою душу, если я сейчас не расправлюсь с тобой по-свойски!

Он наводил ужас, но вместе с тем мы тайно его уважали. Вот почему, несмотря на его тринадцать лет, он был уже нашим предводителем.

Сегодня в нашей компании был еще посторонний мальчик, приглашенный Гичкиным, и поэтому Лохмачев старался казаться еще страшней, грубей и заносчивей.

— Тысяча пуль! — прохрипел он. — Если этот парень пережарил мясо, я вобью его ему в горло собственным шомполом!

О шомполе было, конечно, упомянуто для постороннего мальчика, потому что никакого шомпола у Лохмачева не было.

Однако, кроме шомпола, кое-что у Лохмачева было такое, отчего Посторонний Мальчик онемел от ужаса и изумления.

Именно Лохмачев лениво потянулся и сказал: «А теперь недурно бы промочить горло глоточком рома», наклонился к краю ямы и, отодвинув деревянную заслонку, вынул из тайника бутылку с желтой таинственной жидкостью.

Он говорил, что никакой напиток не действует так благодетельно на его организм, как обыкновенный матросский ром. Пил он его из горлышка, запрокинув голову, и все мы с тайным ужасом и замиранием сердца следили за этой страшной, грубой операцией. Каждый из нас ожидал, что вот-вот сейчас предводитель наш зашатается и грохнется смертельно пьяный на землю, но ничуть не бывало — отпив

приблизительно чайный стакан, Лохмачев опускал бутылку, утирал губы и, сказав хладнокровно: «Добрый ром», прятал бутылку в тайник.

Никто из нас, конечно, никогда и не думал о том, чтобы попробовать это ужасное пойло. Кроме того, Лохмачев однажды предупредил, что если хоть одна живая душа дотронется до его запаса, то он, Лохмачев, познакомит смельчака со своим пистолетом, который лежал в том же тайнике в стенке ямы — в черном длинном футляре.

На этот раз операция с ромом была проделана еще медленнее и торжественнее. Спрятав бутылку и осмотрев внимательно футляр таинственного страшного пистолета, Лохмачев развалился на краю ямы и, прожевывая жареное мясо, затянул старинную матросскую песню:

Никого мы не боимся.
Всех возьмем на абордаж,
В воду трупы побросаем —
Так проводим мы день наш.
Гоп! Гоп!

Помолчав немного, Лохмачев повернулся к ошеломленному его прекрасными разбойничьими манерами Постороннему Мальчику и сурово спросил его:

— Ты нас не выдашь?

— В чем? — робко спросил мальчик.

— Так, вообще.

— А вы что делаете?

— Мало ли что... Если на днях у Хрустальных скал найдут разбитый бриг и вся команда будет висеть на реях, ты помалкивай. Ладно?

— Ладно, — сказал мальчик. — А разве вы...

— Тссс! — сказал таинственно Лохмачев. — Тут стены имеют уши.

Ближайшая стена была по крайней мере на расстоянии полуверсты, но тем не менее Посторонний Мальчик умолк.

— Да, брат, — медленно сказал Лохмачев. — А если проболтаешься, тогда пеняй на себя, — тебя постигнет участь Одноглазого Джима.

— Какого Одноглазого Джима? — спросил заинтересованный Гичкин.

— Гром и молния! Они не знают, как я расправился с Одноглазым Джимом! Провались вы в преисподнюю, если стоит водить с вами компанию.

— Где же он жил? — спросил Гичкин.

— Где? Около Капштадта, в Южной Африке. Был он боэром.

— Да ты разве был в Южной Африке?

— Был, — сказал хладнокровно Лохмачев, поглядывая на костер. — Подбросить бы, ребята, дровец.

— Когда? Когда ты был?

— Да два года назад. С отцом. Он был торговцем невольниками.

— Да как же так: ведь твой отец служит в казначействе чиновником?

— Ну, и служит. Что тут удивительного: нельзя же заниматься все время одним делом.

— Так ты был в Южной Африке? Вот-то здорово! Там, наверное, зверей много, а?

— Ужас! Бывало, ложимся спать — всегда костер раскладываем. Два года так мы промучились.

— Но ведь если лев подкрадывается, я думаю, от него можно на мустанге ускакать?

Лохмачев с сожалением оглядел всю компанию:

— Эх вы, суслики!.. В огороде бузина, а в Киеве дядька! Где вы нашли мустангов? В Африке? Вот что значит знать все по учебникам географии, а не по собственному опыту. Во-первых, мустанги водятся только в Америке, а во-вторых, любая пума, американский лев, в три прыжка догонит мустанга. Меня однажды мустанг подвел так, что я чуть не погиб.

— Ты разве был в Америке?

— Был, — сказал Лохмачев, презрительно пожимая плечами. — Все мое раннее детство. Ах, моя родина! Эти пампасы, озаренные восходящим солнцем... Эти льяносы...*

Он погрузился в задумчивость, которую никто не смел нарушить. Только малыш Петя шмыгнул носом и спросил:

— А их едят?

— Кого?

— Лампасы.

---

* Льяносы —тип саванны.

— Ты бы, Петя, пошел прогуляться, — сказал Лохмачев под общий смех. — Тебе вредно слушать разговоры взрослых.

Петя засопел, сложил умоляюще руки и прошептал фразу, которую он подцепил в какой-то детской книжке:

— О, не гоните меня, добрый господин.

— А в Австралии ты не был? — спросил Гичкин.

— Ну, это даже нельзя сказать, что был, — пожал плечами Лохмачев. — Хотя я и прожил там три года, но мы жили около Мельбурна и вглубь не заходили.

— Разбойников боялись?

— Разбойников? Разбойников, милый мой, нужно бояться не там...,

— А где же?

— На Кавказе. Я до сих пор не могу забыть этих двух лет, которые прожил у них в плену.

— Да ты разве и на Кавказе был?

— Важное кушанье! Четыре года с отцом в ущелье прожили.

Если бы подсчитать все годы, которые непоседливый Лохмачев потратил на скитания, ему должно было бы быть лет пятьдесят. Но он говорил об этом так уверенно, с такой массой подробностей, что ни у кого не зарождалось сомнения.

— А как же ты освободился? — спросил Гичкин. — Убежал?

— Убежал, как же! От них убежишь... Просто отец заплатил им — разрази их гром! — выкуп.

— Много?

— Пустяки. Десять тысяч.

Он посидел немного и встал:

— Эх, воспоминания на меня нахлынули. Промочу-ка я горло ромом. Кстати, ребята, не знаете, где тут можно достать табаку для жевания?

— А ты разве... жуешь?

— Да, жеванул бы. От матросов научился, да и сам не знаю, что теперь с собой делать.

— От каких матросов?

— С которыми я плавал. Да недолго пришлось — на «купца» налетели и пошли ко дну.

— На какого купца?

— «Купец» — так называется купеческое судно. Они везли кошениль и сандаловое дерево, а мы — пятьсот чернокожих.

— Торговать рабами стыдно, — сказал я возмущенно. — Это позор для белых людей.

— Тысяча чертей! — взревел Лохмачев. — Этот щенок, кажется, собирается меня учить! Не хочешь ли ты, я поджарю тебя на этих угольях вместо говядины?

Простодушный Петя пришел мне на выручку. Он сложил ручонки и прошептал:

— О, пощадите его, добрый господин!

— Пощадить, пощадить... Надо помалкивать, господа, вот что.

Чтобы переменить разговор, кто-то спросил:

— А со львами тебе приходилось иметь дело?

— Изредка. Однажды я привязал лошадь к кусту алоэ и погнался за львицей, не заметив, как два львенка подобрались к лошади и растерзали ее чуть ли не в пять минут.

— Маленькие были львята? — спросил Посторонний Мальчик странным тоном.

— Маленькие...

— Тогда ты говоришь неправду. Маленькие львята не могут растерзать лошадь.

— Каррамба! — вскричал свирепо Лохмачев. — Не хотите ли вы, господинчик, сказать, что я лгу? О, лучше бы вам тогда и на свет не родиться!

— Я говорю только, что маленькие львята лошади не растерзают.

— Да ты откуда это знаешь?

— Видел...

— Что видел? Где видел?

— В Берлине... Мы с отцом были в Зоологиш-Гартен. Я видел, как сторож вынимал голыми руками за шиворот двух львят и они держали себя как котята. Он понес их через дорогу и пустил побегать около пруда.

Странно: все рассказы Лохмачева об Африке, мустангах и кавказских разбойниках сразу потускнели перед Берлином Постороннего Мальчика.

Наглый, развязный Лохмачев и сам это почувствовал.

— Ты говоришь вздор! Моим львятам было уже по три месяца, а твои, вероятно, только что родились.

— Нет... Я спрашивал у сторожа, и он сказал, что им уже по пяти месяцев.

— Как же ты спрашивал, — угрюмо захохотал Лохмачев, — если в Берлине сторож — немец?

— Потому что я говорю по-немецки, — коротко объяснил Посторонний Мальчик.

Все мы ахнули: такой маленький мальчик и уже говорит по-немецки.

— Врешь ты! — неожиданно сказал Лохмачев. — Ни в Берлине ты не был, ни львят не видел и по-немецки ты не говоришь.

— Я в Германии был, — сказал Посторонний Мальчик, пожимая плечами. — В Берлине, Лейпциге, Франкфурте и Дрездене. И по-немецки я говорю. А вот ты нигде не был, а просто выдумываешь все.

— Каррамба! Этот щенок, кажется, обвиняет меня во лжи?! Я вижу, тебе уже давно мешает твой собственный скальп, и я тебе его сниму по образцу моего краснокожего друга Серого Гриззли!

— О, пощадите его, добрый господин! — захныкал сердобольный Петя.

— Постойте, господа, — сказал, вставая, Посторонний Мальчик, губы которого дрожали от обиды. — Одну минутку. Так ты говоришь, что был в Америке?

— Был!

— По-индейски говорить умеешь?

— Ха-ха! Получше, чем ты по-немецки.

— На языке сиуксов говоришь?

— Это все равно — все племена: сиуксы, шавнии, гуроны и апачи говорят на одном языке.

— Ну, ладно, — усмехнулся таинственный Посторонний Мальчик. — Идем же!

— Куда?

— Сейчас мы разберем, кто из нас прав.

— Пойдем, — неуверенно сказал страшный Лохмачев. — Только имей в виду, если ты завлечешь меня в западню, мы будем защищаться, как львы.

— Не в западню, а в меблированные комнаты «Ялта». Не боитесь?

— Лохмачев ничего не боится! Дай только промочить горло глоточком ямайского рома, и я пойду хоть к дьяволу на рога.

Через полчаса вся наша молчаливая, приниженная компания поднималась по лестнице меблированных комнат.

У одной из дверей Посторонний Мальчик постучал и сказал:

— Отец! Можно к тебе?

— Входи.

— Я не один. С товарищами.

— Милости прошу.

Мы гурьбой ввалились в комнату. Небольшого роста, коренастый, с мускулистой шеей человек пожал нам руки и сказал:

— Гоп, гоп! Друзья мои! Я уже догадываюсь, зачем вы пришли. Хотите попасть сегодня в цирк?

— Это само собой, отец, — сказал Посторонний Мальчик, похлопывая его по руке. — А теперь ты скажи: Гарри дома?

— Дома.

— Можно к нему зайти?

— Если не спит, идите.

Коренастый человек распахнул боковую дверб и крикнул что-то по-английски.

Мы вошли туда и... испуганно прижались к двери — перед нами стоял высокий медно-красный мужчина с черными, длинными волосами, одетый в коричневый пиджак. В руках у него был огромный лук и ножик, которым он что-то исправлял в тетиве лука.

— Вот, господа, — сказал Посторонний Мальчик звонким смелым голосом. — Это индеец-сиукс, который сегодня выступит в цирке как знаменитый стрелок из лука. Лохмачев! Поговори с ним на его языке. Ты же разговариваешь.

— Он не настоящий! — растерявшись, пролепетал наш предводитель.

— Почему?

— У него нет перьев на голове.

Посторонний Мальчик засмеялся, снял со стены длинный пестрый ток из перьев и дружески нахлобучил индейцу на голову. Тот тоже засмеялся и сказал что-то Лохмачеву.

Лохмачев побледнел, потом покраснел и боком, опустив голову, выскочил из номера.

Все мы восторженно поглядывали на индейца и Постороннего Мальчика, а малыш Петя, по своей привычке, встал перед индейцем на колени и пролепетал, сложив руки:

— О, пощади нас, добрый господин!

Мы ушли, получив обещание коренастого человека пустить нас сегодня в цирк, а завтра на репетиции покатать на слоне.

Веселой гурьбой отправились мы на свою излюбленную лужайку за городом... Костер уже погас... Солнце склонялось к западу.

Посторонний Мальчик смело отодвинул заслонку и вынул знаменитую лохмачевскую бутылку с ромом и пистолет в футляре.

Бесстрашно открыл он футляр и вынул... трубку. Старую, прокуренную, поломанную трубку с длинным чубуком.

Мы придвинулись ближе...

Он откупорил зловещую бутылку и, подмигнув нам, отхлебнул.

— Гм! — сказал он. — Я предпочитаю его пить горячим.

— Что?

— Чай. Ведь это обыкновенный сладкий чай.

— Кто смеет трогать мое оружие и мой погреб?! — раздался за нами хриплый голос. — Кто нарушает приказание атамана?!

— Урра! — крикнули мы. — Да здравствует новый атаман! Ты уже больше не атаман... Можешь лгать кому хочешь, но не нам.

Лохмачев упер руки в боки и разразился страшным хохотом.

— Бунт? Ну, ладно! Вы еще повисите у меня на реях. Кто за мной? Кто еще остался мне верен?

И раздался неожиданно для нас тонкий голосок:

— Я!

Это был Петя.

— Ага. Молодчага. Лихой разбойник. Отчего же ты не хочешь покинуть своего старого атамана?

И добросердечный малыш Петя отвечал:

— Потому что мне тебя жалко.

ИНДЕЙСКАЯ ХИТРОСТЬ

После звонка прошло уже минут десять, все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых — именно тех, которые и не разворачивали вчера истрепанные учебники географии... Сладкая надежда:

— А вдруг не придет совсем.

Учитель пришел на двенадцатой минуте.

Полосухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом:

— Слава Богу. Наконец-то вы пришли. А мы тут так беспокоились — не случилось ли с вами чего.

— Глупости. Что со мной случится...

— Отчего вы такой бледный, Алексан Ваныч?

— Не знаю... У меня бессонница.

— А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.

— Ну и что же?

— Да ничего.

— При чем тут таракан?

— Я к тому, что он тоже две ночи не спал.

— Кто, таракан? — пошутил учитель.

Весь класс заискивающе засмеялся.

«Только бы не спросил, — подумали самые отчаянные бездельники, — а то можно смеяться хоть до вечера».

— Не таракан, а мой папаша, Алексан Ваныч. Мой папаша, Алексан Ваныч, три пуда одной рукой подымает.

— Передай ему мои искренние поздравления...

— Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо этого служит в банке директором — прямо смешно.

Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил иссякнуть, толстый (хохол) Нечипоренко решил «подбросить дров на огонь»:

— Я бы на вашем месте, Алексан Ваныч, объяснил этому глупому Полосухину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка — это личность уважаемая, а борец в цирке...

— Нечипоренко, — сказал учитель, погрозив ему карандашом. — Это к делу не относится. Сиди и молчи.

Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним разговором оттянуть несколько минут.

Натужился и среди тишины молвил свои слова:

— Молчание — знак согласия.

— Что? — изумился учитель.

— Я говорю: молчание — знак согласия.

— Ну так что же?

— Да ничего.

— Ты это к чему сказал?

— Вы, Алексан Ваныч, сказали Нечипоренке «молчи». Я и говорю: «молчание — знак согласия».

— Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придет твоя очередь говорить?..

— Гм, кхи, — закашлялся Карташевич.

— ... когда я спрошу у тебя урок. Хорошо?

Карташевич не видел в этом ничего хорошего, но принужден был согласиться, сдерживая свой гудящий бас:

— Горожо.

— Карташевич через двух мальчиков перепрыгивает, — счел уместным сообщить Нечипоренко.

— А мне это зачем знать?

— Не знаю... извините... Я думал, может, интересно...

— Вот что, Нечипоренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хитрее. Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу...

— «К отцу, весь издрогнув, малютка приник», — продекламировал невпопад Карташевич.

— Карташевич. Ступай приникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли? Дежурный! Что на сегодня готовили?

— Вятскую губернию.

— А-а... Хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну... спросим мы... Кого бы нам спросить?

Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить Нечипоренку, Патваканов — Блимберга, Сураджев — Патваканова, а все вместе они искренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать.

— Спросим мы...

Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не менее рассеянно взглянул на учителя.

«Ого! — подумал он. — Глядит на Блимберга. А ну-ка, Блимберг, раскошелив...»

— Челноков.

Челноков бодро вскочил, захлопнул под партой какую-то книгу и сказал:

— Здесь.

— Ну? Неужели здесь? — изумился учитель. — Вот поразительно. А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?

— Кхе. Кха. Хррр...

— Что это с тобой? Ты кашляешь?

— Да, кашляю, — обрадовался Челноков.

— Бедненький... Ты, вероятно, простудился?

— Да... вероятно...

— Вероятно... Может быть, твоему здоровью угрожает опасность?

— Угрожает... — машинально ответил Челноков.

— Боже мой, какой ужас! Может быть, даже жизни угрожает опасность?

Челноков сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершенно другим, прежним тоном:

— Ну-с... Расскажи нам, что тебе известно о Вятской губернии.

— Вятская губерния, — сказал Челноков, — отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России... По своей площади она занимает место, равное... Мексике и штату Виргиния... Мексика — одна из самых богатых и плодородных стран Америки, населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние иногда входят в соглашение с индейскими племенами шавниев гуронов, и горе тому мексиканцу, который...

— Постой, — сказал учитель, выглядывая из-за журнала. — Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?

— Не в Вятской губернии, а в Мексике.

— А Мексика где?

— В Америке.

— А Вятская губерния?

— В... Рос... сии.

— Так ты мне о Вятской губернии и говори.

— Кгм... Почва Вятской губернии имеет мало чернозему, климат там суровый, и потому хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница и овес — вот что, главным образом, может произрастать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов, ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом одолевает томагавк отважного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под немолчные крики обезьян и разноцветных попугаев, оглашающих воздух...

— Что?

— Оглашающих, я говорю, воздух.

— Кто и чем оглашает воздух?

— Попугаи... криками...

— Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губернии он ничего не рассказывает.

— Я, Алексан Ваныч, о Вятской губернии и рассказываю... Народонаселение Вятской губернии состоит из великороссов. Главное их занятие — хлебопашество и охота. Охотятся за пушным зверем — волками, медведями и зайцами, потому что других зверей в Вятской губернии нет... Нет ни хитрых, гибких леопардов, ни ягуаров, ни громадных свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льяносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина скваттэра...

— Кого-о?

— Скваттэра.

— Это что за кушанье?

— Это не кушанье, Алексан Ваныч, а такие... знаете... американские помещики...

— И они живут в Вятской губернии?

— Нет... я — к слову пришлось...

— Челноков, Челноков... Хотел я тебе поставить пятерку, но — к слову пришлось, и поставлю двойку. Нечипоренко!

— Тут.

— Я тебя об этом не спрашиваю. Говори о Вятской губернии.

Нечипоренко побледнел как смерть и, по принятому обычаю, сказал о Вятской губернии:

— Кхе.

— Ну, — поощрил учитель.

И вдруг — все сердца екнули — в коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену.

— Экая жалость! — отчаянно вздохнул Нечипоренко. — А я хотел ответить урок на пятерку. Как раз сегодня выучил...

— Это верно? — спросил учитель.

— Верно.

— Ну, так я тебе поставлю... тоже двойку, потому что ты отнял у меня полчаса.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГОЛУБОГО ШАКАЛА

I

— Михаил! — сказал отец. — Через две недели экзамены, а ты до сих пор и за книжку не брался.

Михаил Черепицин, ученик второго класса, держался на этот счет другого мнения.

— Еще рано готовиться, — ответил он, не задумываясь.

— Как так рано?!

— Еще две недели. Если я теперь все выучу, так к экзаменам и забуду.

— Нечего сказать, хороший ученик! Другие всю жизнь помнят, а он через две недели собирается забыть... Марш сейчас же за книгу!

Михаил Черепицин, ученик второго класса, покорно вздохнул и сел за книгу. На переплете было написано: «Малинин и Буренин. Арифметика».

Но если раскрыть эту книгу, на первой же странице можно было прочесть:

«Солнце склонялось к западу... Вдруг высокая трава заколебалась, чьи-то руки раздвинули ее, и на прогалину выполз краснокожий сиукс, свирепое лицо которого было покрыто татуировкой.

— Оах! — воскликнул он вполголоса, хватаясь за томагавк...»

Готовиться к экзаменам было еще рано. Так мирно шли дни, и каждое утро и каждый вечер сиукс Голубой Шакал хватался за томагавк. А когда до экзамена осталось два дня, ученик второго класса Михаил Черепицин, по примеру сиукса, схватился за книги.

Но, схватившись, увидел, что, пожалуй, к экзамену ему не приготовиться. Книг было много, а времени мало.

Вдумавшись в свое положение, Черепицин заметался, как зверек в клетке, но помощи ждать было неоткуда.

Даже сам гроза прерий Голубой Шакал не мог помочь Черепицину, несмотря на все свое влияние и связи на Дальнем Западе.

Сколько бы он ни кричал свое грозное «оах», сколько бы ни размахивал томагавком, учителя не обратили бы на него никакого внимания.

Черепицин тоскливо брал книги в руки, перелистывал их одну за другой, но вызубрить все это в несколько часов — он сам понимал — было невозможно.

— Ну, раз уже поздно, — решил Михаил Черепицин, — ничего не поделаешь. Попробую на авось.

Впрочем, в день перед экзаменом некоторые меры, которые были в ходу у ленивых товарищей, он принял: положил на ночь книги под подушку, что, по словам некоторых бездельников, якобы помогает в смысле запоминания предмета.

Кроме того, вырвал из книги самые трудные страницы и натощак съел их. Кто-то в училище уверил его, что если съесть какую-нибудь страницу, то уж никогда ее не забудешь.

Было очень противно: жеваная бумага не проходила в черепицино горло, но он запил водой и с трудом проглотил несколько отвратительных комков.

А отправляясь на экзамен, Черепицин решил сделать доброе дело: дал нищему две копейки и попросил помолиться за то, чтобы он, Черепицин, выдержал экзамен.

II

— Черепицин Михаил!

— Здесь.

— Подойдите к столу.

Ноги Черепицина дрожали, когда он подходил к экзаменационному столу.

«Эх, — подумал он, — хорошо бы, чтоб сейчас из-под этого покрытого зеленым сукном стола выполз вождь сиуксов Голубой Шакал! Все бы испугались, убежали, и экзамена бы не было».

Но чудес в наши дни не случается. Из-под стола никто не вылез, а учитель математики прищурился и сказал:

— Ну-с... Черепицин Михаил... Что такое арифметика?

Черепицин Михаил проглотил слюну и ответил, робко озираясь:

— Арифметика, это такое... такая книжка, которая... которая... орая...

— Которая что?

— Которая... в зелененьком таком переплете с корешочком...

— Нет, Черепицин, я с вами не о внешности книги говорю, а о сущности этого предмета. Какую цель преследует арифметика?

— Она преследует... цель.

— Ну, да. Какую же?

— Эту самую... Задачи. Берется задача и решается.

— Я вас не о задачах спрашиваю! Арифметика — это наука о числах.

— Наука о числах, — печально повторил Черепицин.

— Этого, очевидно, вы не знаете... Ну-ка, скажите нам что-нибудь о дробях. Сколько будет — половина от трех восьмых?

Черепицин опустил голову:

— Ну?

— Половина из трех восьмых?

— Да.

— Сейчас... сейчас, — забормотал Черепицин. — Половина из трех восьмых... трижды восемь... двадцать четыре, вычитаем половину, остается двенадцать... восемь и три — одиннадцать...

— Ну?!

— Сейчас, сейчас...

— Ну, у вас есть три восьмых. Сколько из них — половина?

Черепицин вытер пот со лба и прохрипел:

— Видите ли... Наверное я вам не могу этого сказать, только многого это не составит.

— Та-ак. А сколько будет, если сложить сорок семь и девяносто два?

— Рубль тридцать пять...

— Что-о-о?

— Пол... полтора рубля.

— О господи! Я вас не о деньгах спрашиваю, а о числах!

Один из экзаменаторов что-то шепнул другому, и тот, ответив «хорошо», обратился к Черепицину:

— Попробуем теперь письменный ответ. Вот садитесь за ту парту и решите вот эту задачку. Прочтите ее! Вы ее понимаете?

Черепицин прочел задачу и признался очень добросовестно:

— Нет, не понимаю. Ее нельзя решить.

— Да?.. Вы так думаете? А составитель задачи думал, вероятно, иначе. Он думает, что ее решить можно. Ну? Чего же вы молчите?

— Составить задачу легче, чем решить, — пролепетал Черепицин, водя пальцем по краю стола.

— Да? Вы так думаете? Знаете что? Садитесь вон за тот стол и составьте-ка задачу вроде этой. Посмотрим... Может быть, у вас действительно особый талант.

Экзаменатор улыбнулся и шепнул что-то соседу. Тот тоже усмехнулся.

III

— Готово?

— Готово.

— Ну-с... посмотрим: «Три мальчика имели двенадцать пушек: первый имел три пушки, второй вдвое больше, а третий имел остальные. Сколько пушек имел каждый мальчик?»

— Ну, милый мой, какая же это задача? Ее и шестилетний ребенок решит. Нет, ты составь задачу посложнее, подлиннее. Чтобы ее решить было не так легко.

— Подлиннее? — тоскливо сказал Черепицин. — Сейчас.

— Да, да. Понимаешь, чтобы она была запутаннее, а то что это такое — три строки, и готово. Так нельзя.

Усевшись снова за стол, долго тер бедный Черепицин свою бедную пустую голову.

— Длинную задачу... Ну, как ее там сочинишь, длинную-то?

Только через полчаса поднялся он с места и неуверенно подошел к экзаменатору.

— Сделал? Ну, давай. Гм... «Три виноторговца купили 12 кусков сукна. Один выехал из Москвы, другой ему навстречу из Петербурга, а третий устроил бассейн и выпустил туда все вино в четыре часа. Если из одного крана вода выливается в час стӧ ведер, а в другой кран вливается пятьдесят, то спрашивается, сколько было воды. От Петербурга до Москвы 6400 верст, а из Москвы в Петербург вдвое дешевле: спрашивается, сколько стоили билеты двух виноторговцев, если один выехал туда, а другой обратно. Сочинил ученик 2-го класса Михаил Черепицин!»

— Здорово! — сказал учитель. — Ступай домой, больше нам от тебя ничего не надо.

С искаженным от ужаса лицом вышел на улицу Черепицин. Увидел нищего, подошел к нему и сказал плачущим голосом:

— Ты, наверное, не молился... Отдавай мои две копейки!

ЯПОНСКАЯ БОРЬБА

Общий друг и благоприятель Саша Кувырков вошел в комнату, оглядел снисходительно всю компанию и очень бодро воскликнул:

— Ну, вы! Червяки дождевые! Что сидите, нахохлившись? Нужно быть радостными, бодрыми и здоровыми! Спортом нужно заниматься.

Это было что-то новое...

Все подняли головы и вопросительно поглядели на Сашу.

— Это ты с каких же пор стал спортсменом? — осведомился долговязый Бачкин.

— Я-то? Меня, братцы, всегда к этому тянуло. Что может быть лучше гармонически развитого тела... И теперь... Вы знаете, я будто снова на Божий свет народился...

— Господи! Еще раз? Нам тебя и одного было довольно.

— Вы — лошади! Поймите вы, что с тех пор, как я стал изучать джиу-джитсу, я хожу, дышу и говорю по-новому.

— Чего-о?

— Что «чего»?

— Как ты сказал, какое слово?

— Джиу-джитсу. Японская борьба.

— Ага. Очень приятно. Садитесь.

— Эх вы, деревянные мозги! Вы все готовы высмеять, над всем вы издеваетесь, а того не знаете, что джиу-джитсу такая борьба, в которой маленький хрупкий человек расшвыряет трех больших верзил.

— Что ты говоришь, Саша?!

— Вправду, Саша?

— А, что мне с вами говорить! Я вас просто отошлю к Ганкоку!

— Хорошо, что не дальше.

— Кто же этот удивительный Ганкок?

— Ганкок? О, это, братцы, человек! Он систематизировал и привел в порядок весь огромный материал по истории борьбы джиу-джитсу.

Раздались восторженные восклицания:

— Какой молодец!

— Тебе бы так,

— Обязательно запишу его имя в поминание за здравие.

— Боже, как вы омерзительны своей самовлюбленной тупостью. Я вам говорю серьезно, я раскрываю перед вами одно из лучших сокровищ великого японского народа, а вы хрюкаете, как меланезийские дикари над граммофоном!..

— Слава Богу! Наконец-то Кувырков вышел из себя.

— Да право! Я, может быть, и сам раньше думал, как вы, но, когда приступил к изучению джиу-джитсу, я благоговейно преклонил голову.

— Ну, не волнуйся, чудак. Расскажи лучше, в чем там дело?..

— Понимаете, это все основано на изучении мускулов и нервных центров человеческого тела. Нажатием известного места на тыльной части кисти руки можно, например, парализовать всю руку и привести человека в беспомощное состояние...

— А ну, покажи.

— Хорошо. Дай-ка ты, Володя, свою руку. Да не бойся, чудак. Джиу-джитсу тем и хорошо, что без злой воли не наносит членовредительства. Давай руку, Володя, не бойся.

— Я не боюсь, — простодушно сказал Володя, протягивая руку.

— Ну вот... Видите это место? Тут, между двумя суставами. Ну вот — я нажимаю это место... больно?

— Нет, ничего. Только ты ногтем не дави.

— Я не давлю, Боже меня сохрани. Больно? Чувствуешь ты, как рука постепенно немеет?

— Нет, как будто ничего.

— Постой... Ах, да, я не ту руку взял. Дай другую.

— На.

— Ну, вот. Больно?

— Да, как будто немножко больно, — сказал добряк Володя, сжалившись над пыхтящим, измученным Сашей Кувырковым.

— То-то и оно. Это еще ничего. А то есть страшные вещи: ребром ладони, если ударить наискосок, можно переломить руку.

— Чью? — робко спросил кто-то.

— Понятно, чужую. Что за дикий вопрос. А вы знаете, например, лучший способ обезвредить противника, не трогая его пальцем?

— Нет, нет. Покажи, Саша.

— Ну вот, скажем, возьмем Бачкина. Пойди сюда, Бачкин. Вот, например, Бачкин подходит ко мне с намерением напасть на меня. Подходи, Бачкин, с намерением напасть на меня.

— Ну, подходи же, Бачкин, — поощрительно зашумела заинтересованная компания. — Подходи, не бойся.

— Подходить, значит, нужно с намерением напасть? — переспросил добросовестный Бачкин.

— Ну да!

Бачкин выпучил самым злодейским образом глаза, растопырил руки и, рыча, стал приближаться к мужественно ожидавшему его Кувыркову.

— Ну вот, смотрите, господа: он приближается, я хватаю его за лацканы пиджака, дергаю их вниз и... Постой, черт! Чего ж ты лезешь? Где у тебя лацканы? Где пиджак?..

— А разве нужно пиджак? — смутился Бачкин. — Ну, извини, пожалуйста. У меня рабочая блуза.

— Так же нельзя, господа... В блузе человек, а туда же — на джиу-джитсу лезет. Дайте ему кто-нибудь пиджак сверх блузы. Вот так! Надевай, Бачкин... Подкрадывайся с целью напасть.

— Ну вот, глядите... Постой... ты только не поднимай руки; держи их так вот, опущенными. Ну, глядите: раз, два, три!

Кувырков схватил Бачкина за лацканы и дернул их вниз, спустив пиджак с плеч до половины. Руки у того действительно оказались ущемленными спустившимся пиджаком, что привело всех в восторг.

Поаплодировали.

Кувырков торжествующе держал Бачкина за лацканы.

— А дальше что? — кротко спросил Бачкин.

— Дальше ничего. Я тебя обезвредил.

— Но ведь ты меня должен так держать все время.

— Почему?!

— Да стоит тебе только выпустить мой ворот из рук, как я на тебя нападу.

— А ты не нападай, — благоразумно возразил кто-то.

— Позвольте, — сказал Кувырков. — Но если он на меня нападет, у меня явится другой прием. Ну вот, я тебя выпустил, нападай на меня.

Бачкин поднял руку и нерешительно схватил Кувыркова за горло.

— Постой, постой... Так нельзя. Ты пусти. Видишь ли, ты должен поднять обе руки кверху и напасть на меня.

Ну, нападай! А я приседаю, подныриваю под твои вытянутые руки, одной рукой схватываю за ближайшее колено, и... дальше я, кажется, забыл, что нужно делать... Пусти-ка... Да постой! Я посмотрю, в чем там дело?

Кувырков вылез из-под долговязого Бачкина, вынул из кармана книжечку в кирпичного цвета обложке и стал усердно ее перелистывать.

— А, вот: «Нападающий часто пускает в ход такую проделку: прыгнув вперед и выпрямившись, он тотчас же приседает под вытянутые руки противника, одной рукой схватывает его за ближайшее колено, а другой — возможно выше наносит удар. Во время удара надо тянуть схвачен-

ное колено вперед или в сторону, и у противника, приготовившегося отразить атаку на другой высоте, остается только один свободный выбор: падать или на спину, или на бок». Ну вот. Давай сначала! Ну, нападай. Руки вверх, как можно выше, ради Бога! Ну вот. Гоп! гоп! гоп! Чего ж ты не падаешь?

— А разве нужно упасть? — удивленно спросил Бачкин.

— Ну как же! Вот дикое существо! Я его и за колено тяну и в живот ударил, а он стоит, как колокольня Ивана Великого!

— Да там как сказано, в книжке-то?

— Просто сказано: «Противнику остается только один свободный выбор: падать или на спину, или на бок». А ты не падаешь.

— Просто Бачкин бездарный парень, — сказал Володя. — Если бы он изучил джиу-джитсу, он знал бы, когда нужно упасть. Охота тебе, Кувырков, со всяким бороться.

— Вот ты, Володя, смеешься, а на самом деле, ей-Богу, джиу-джитсу — замечательная вещь. Вы знаете, господа, знаменитый прием с нажатием основного сустава безымянного пальца?

— Нет... Откуда же нам знать!

— Мы люди темные.

— Прекрасный, так называемый «джентльменский» прием. Вам стоит только повернуть противника к себе вполоборота, захватить его руку и, нажав своими двумя пальцами верхний сустав безымянного пальца противника, совершенно обезвредить его. Володя, дай руку.

— На! Здравствуй, как поживаешь?

— Не шути. Сейчас тебе будет не до шуток. Ну вот. Видите? Я надавливаю на твой сустав. Теперь, — торжествующе закричал Кувырков, — бей меня по чем хочешь — по голове, по затылку, по груди — посмотрим, как тебе это удастся.

— Изволь, — сказал Володя и ударил Кувыркова по затылку довольно сильно.

— Постой, я, кажется, не тот сустав надавил... А ну-ка, дай этот! Ну? Теперь попробуй. Ой! Ну это уже свинство... Я тебе ведь только показываю, а ты обрадовался! Дерется, болван, что есть силы...

— Так ты же ведь говорил, что ударить нельзя!

— Конечно, нельзя. Вот тут и в книжке сказано: «В этом положении противник ни в коем случае не может коснуться ни одной части тела нападающего». Понял? *«Ни в коем случае»*.

— Ну, извини. Других приемов там нет?

Саша Кувырков погас, увял и тон его сделался лениво-покорным.

— Да, конечно, есть и другие приемы. Это ведь замечательная борьба. Еще древние самураи боролись.

— Земля им пухом, — благоговейно прошептал Бачкин.

А проворный Челябинский упругим прыжком вскочил на стол, принял позу и манеру старого профессора-лектора и сказал:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Искусство японской борьбы джиу-джитсу очень сложное и трудное искусство. Постольку, поскольку наш известный молодой чемпион Кувырков познакомил нас с этой борьбой — джиу-джитсу требует многого. Во-первых, при нападении враг должен быть в пиджаке; если же оного у него нет, он должен пойти домой, или к приятелю, или в магазин готового платья и там таковой пиджак приобрести. Во-вторых, противник должен быть вежлив, и, если вы утверждаете, что рука у него вашим приемом парализована, он должен немедленно согласиться с вами — иначе он хам и мытарь. В-третьих, если по учебнику джиу-джитсу после одного из ваших приемов противник должен лежать на земле, то пусть он, каналья, ложится, а не стоит, как каланча. И наконец, в-четвертых, если тебе нажимают на сустав, не смей драться, раз тебя уверяют, что в этом положении ты не можешь «ни в коем случае коснуться тела противника»! Резюмируя все вышесказанное и подводя, так сказать, итог, я должен сказать, что японская борьба джиу-джитсу — борьба замечательная, дающая вам бесценные преимущества, но только в том случае, если изучали ее не вы, а ваш противник... За здоровье самурая Кувыркова! Ура!

Все сделали вид, что растроганы, и принялись утирать платками сухие глаза.

И только по виду Кувыркова было заметно, что он не прочь заплакать по-настоящему.

ДЕЛОВОЙ МАЛЬЧИК

От автора

Милые дети! Верите ли вы мне, что я вас чрезвычайно люблю и что для меня нет лучшего удовольствия, как возиться с вами, разговаривать, а если вы еще малы, то качать вас на колене: гоп! гоп!

И мне на днях было чрезвычайно грустно, когда одна маленькая девочка пыталась уличить меня во лжи — будто бы я когда-нибудь был способен солгать детям!

Я рассказывал ей сказку и вскользь упомянул о мальчике, который съел свой двухколесный велосипед.

Услышав это, девочка широко открыла глаза и заявила мне крайне невежливо:

— Ты лжешь! Мальчик не может съесть велосипеда.

Я тогда не оправдывался... Но мне было очень, очень грустно и обидно!

И нижеследующий рассказ я пишу отчасти для того, чтобы той девочке было стыдно, отчасти же — чтобы мои маленькие читатели поверили, что не только мальчики могут в жизни глотать велосипеды, но случаются и более удивительные вещи.

Аркадий Аверченко

...Велосипед был прекрасный: двухколесный, с кожаным седлом и даже со звонком, в который можно было звонить, сколько влезет, предупреждая встречного путника об угрожающей ему опасности.

Можно было бы сказать, что владелец велосипеда, Николаша, ходит как именинник, если бы Николаша действительно не был сегодня именинником.

Подарков преподнесли много, но больше всего радовал Николашу велосипед — предмет его давнишних пылких мечтаний.

Едва кончился обед, как Николаша вскочил на свой велосипед и помчался на площадку около дачного театра.

На площадке шумела и веселилась чудеснейшая компания: маленькие гимназистики, штатские дети, еще не вкусив-

шие прелести гимназического мундира, и обойщиков сын Петраха — душа общества, балагур и гимнаст, которому было совершенно безразлично, как ни стоять: на голове или на ногах; первое он даже предпочитал, потому что в этом положении оставались свободными обе ноги, которыми он выделывал разные фокусы. Вообще, Петраха был пресимпатичным ребенком, и, если бы не его хриплый голос, вечное желание подвести ближнего под неприятность и способность божиться по всяким пустякам, он занял бы солидное положение в обществе.

Увидев подъехавшего Николашу, этот ребенок подпрыгнул, стал на голову и проревел, красный от натуги:

— Ник-колаша! Откуда у тебя велосипедяша?

— Подарили! — восторженно сказал Николаша. — Гляди-ка какой! Двухколесный и со звоночком.

Петрахе дома никогда ничего не дарили, кроме тумаков. Обойщик был того мнения, что всякий тумак приносит свою пользу: «один тумак — один пятак. Сто тумаков — сто пятаков». Зарабатывая в день иногда до двухсот таких пятаков, что составляло 10 рублей, Петраха, однако, был беден, как церковная крыса. Поэтому роскошный Николашин подарок поселил в его голодной душе самую отчаянную зависть.

— Ну, брат, — сказал он, критически осматривая велосипед, — штука неважная.

— Почему? — встревоженно спросил Николаша.

— Потому. Колес мало.

— Да ведь в настоящем велосипеде больше и не бывает.

— А трехколесные-то, значит, хуже?

— Конечно, хуже...

— Значит, чем меньше колес, тем лучше?

— Да, — неуверенно сказал Николаша.

— Значит, два лучше, чем три, а одно лучше, чем два?

— Да... да, — сказал ошеломленный Николаша.

— А без колеса, значит, еще лучше? Хо-хо!

— Отстань!

— Отстань... Вам бы все только отстать. По воде-то на нем ездить можно?

— По воде нельзя.

— Ну так что ж с него толку — по земле только таскаться.

Не успел он сказать этого, как велосипед сразу потускнел в глазах Николаши... Колеса показались маленькими, спицы слишком тонкими, а звонок своей трескотней действовал на нервы.

— Ты ничего не понимаешь, — расстроенно сказал Николаша.

Какой-то гимназистик приблизился к ним, держа в руках странный черный предмет со множеством разных кнопок и застежечек.

— Слушай, как тебя, Николаша... — солидно сказал он. — Хочешь меняться: отдай мне велосипед, а я тебе фотографический аппарат. Ладно?

— Ишь ты, какой ловкий, — быстро возразил Николаша. — На велосипеде ездить можно, а фотографический аппарат — куда он мне...

— Ну, знаешь ли, — пожал плечами гимназистик, — ты, я вижу, ничего не понимаешь: моим аппаратом что угодно снять можно — и будет, как в натуре. Дом выйдет, человек или лошадь — все равно. Можешь своих родителей снять — очень приятная штука.

— Велосипед лучше, — упрямо сказал Николаша.

— Лучше? Да ты своим велосипедом можешь фотографию снять?

— Нет... не могу.

— А моим аппаратом можно. Значит, что лучше?

— А зачем же ты хочешь меняться, если твой аппарат лучше?

— Да просто, вижу — хороший мальчик... Отчего бы ему и не принести пользы. Ежели бы ты был умный, ты бы сразу понял.

— А что мне дома скажут, когда я без велосипеда приду?

— Без велосипеда!.. Так зато, чудак ты человек, с фотографическим аппаратом. Дома-то будут все довольны во как!

— Петраха! — обратился полный сомнений Николаша к своему вероломному другу — обойщикову сыну. — Как ты думаешь: что лучше?

Гимназистик незаметно толкнул коленом Петраху и стал смотреть куда-то в сторону.

И вероломный друг Петраха сказал восторженно:

— О, Боже-ж! Конечно, фотография. Ты своим велосипедом даже мухи не снимешь, а тут накося! Что твоей душеньке угодно...

— Ну ладно, — со вздохом сказал Николаша, — бери. Только твой аппарат не испорчен?

— Сегодня только получил. Новехонький.

И гимназистик, вручив Николаше аппарат, взял велосипед.

— Настоящий-то, а? Велосипед-то? Может, деревянный?

— Конечно, настоящий. Честное слово.

— Ну то-то. Съездить домой, что ли...

Николаша уселся с Петрахой на скамеечке и оба углубились в рассматривание аппарата.

— Хлеб да соль! — сказал высокий, долговязый, веснушчатый мальчишка, подходя к скамье и похлопывая себя деревянным луком по колену. — Что поделываете?

— Здравствуй, Антонов. Вот аппарат рассматриваем.

— А у меня, братцы, лук такой, что загляденье. На двадцать шагов в цель попадает. Если даже будешь просить поменяться на твой аппарат — ни за что не поменяюсь.

— Да я и не хочу, — сказал Николаша.

— Почему не хочешь? Что ж, твой аппарат разве лучше моего лука?

— Лучше.

— Много ты понимаешь!.. Да я вчера стрелой стекло в третьем этаже выбил — так мне задали такую трепку, что мое почтение. Это тебе, брат, не фотография.

— А все-таки фотография лучше.

— Лучше?! — с негодованием вскрикнул веснушчатый мальчик. — Да если этой стрелой в человека попасть, так он тебя так исколотит, что ног не потянешь! Да я вчера, если хочешь знать, вазу на подзеркальнике вдребезги раскокал, а ты мне говоришь — аппарат лучше! Отец меня в погреб за это запер, а ты говоришь — аппарат лучше.

— Да чем же аппарат хуже, — спросил Николаша, наполовину уже убежденный этим стремительным вихрем странных доказательств.

— Чем? Ты вот что скажи: из твоего аппарата можно стрелять?

— Н...нет.

— Ну, и помалкивай. А из моего лука стреляй, сколько угодно. Да я на днях, может быть, соседнюю болонку так подцепил стрелой, что отец хотел меня в рассыльные мальчишки отдать. Так меня исколотил, что живого места нет.

Петраха в это время с внимательным видом знатока осматривал лук.

— Петраха, — сказал Николаша, смотря на лук разгоревшимися глазами. — Что лучше?

— Конечно, лук, — сказал Петраха, переталкиваясь локтями с долговязым мальчишкой. — Из твоей фотографии, действительно, не выстрелишь.

— А зато, — возразил Николаша, чувствуя, что он тонет в этом море противоречий, — зато я могу снимать, что хочу: папу, тетю, дом, собаку или птичку.

— Эх ты! «Птичку»... Да тебе что приятнее: снять птицу или подстрелить ее?! Подстрелить-то лучше.

— А стрелы есть? — спросил со вздохом Николаша.

— Две штуки целых! Идет, что ли? А то, брат, будешь просить — не поменяюсь. Пользуйся, что я сейчас такой добрый!

— Ну, ладно... — сказал Николаша.

— Вот добряга-то этот Антонов! — воскликнул лукавый Петраха. — Отдает такой хороший лук.

— Мне, Петраха, не жалко, — сладенько сказал долговязый Антонов. — Я, Петраха, предобрейший мальчик. Пусть человек пользуется — мне что! Носи на здоровье!

Очевидно, о Николаше разнеслись вести по всей площадке, потому что через минуту после ухода рыжего мальчишки к скамейке подлетел еще один мальчик самого добродушного вида.

— Эх ты, Николаша, — сказал он. — Жалко мне тебя... Ну зачем тебе этот лук? Ведь им рисовать нельзя?

— Рисовать нельзя, — возразил Николаша, голова которого горела от той массы дел, которые он совершил в столь короткий промежуток. — Рисовать нельзя, а стрелять можно.

— Куда стрелять? Зачем стрелять?

— Ну... в собаку... Или в вазу. Вчера вон Антонов в вазу попал, так его так отодрали, что мое почтение!

— Так что ж тут хорошего? — резонно сказал добродушный мальчик. — Его отодрали, и тебе то же будет. За рисование, брат, не отдерут!

— Почему... за рисование... не отдерут?

— «Почему, почему»?! Да ты видел когда-нибудь человека, которого наказывали бы за рисование?

— Нет, не видел.

— То-то вот. Я как раз сегодня получил целую коробку цветных карандашей... 16 штук. Это тебе не лук. Луком-то ты не очень разрисуешься.

— А Антонова вон за лук отец хотел отдать в рассыльные мальчишки.

Странное дело: те доказательства, которые в устах Антонова действовали так убедительно на Николашу, совершенно не убеждали карандашного мальчика.

— То-то и оно, — сказал карандашный мальчик. — С этим луком беды не оберешься. А карандаши — одно удовольствие: рисуй себе да рисуй, раскрашивай да раскрашивай...

— И не жалко тебе, — спросил Петраха карандашного мальчика, — такие хорошие карандаши за какой-то скверный лук отдавать?

— Да ведь ты давеча хвалил лук, — удивился Николаша.

— Хвалил потому, что карандашей не видал. Карандаши-то прямо загляденье.

— Ну, хорошо, — сказал Николаша. — Бери лук.

— Не желаю! — сказал добродушный мальчик. — Карандаши лучше.

— Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ты же сам предлагал... Теперь отказываться нечестно.

— Разве что нечестно, — покачал головой карандашный мальчик. — Потому только и меняюсь, что обещал. Эх-ма! Бери!

Когда Николаша и Петраха остались одни, Петраха огляделся и, отведя Николашу в сторону, таинственно спросил:

— А что, они вкусные?

— Что? Кто?

— Да эти карандаши-то?

— Что ты, братец! Их не едят.

— Да ну? Вот так влопался ты в историю.

Петраха посвистал, заложив руки в карманы.

— А что? — испуганно спросил Николаша.

— Да ведь я думал, что их есть можно, а то, что в них толку?

— Ими рисуют.

— Ну, что там рисуют. Это и черным карандашом можно.

Петраха подумал немного, вынул из кармана коробочку с двумя шоколадными сигарами и сказал:

— Вот это, по крайней мере, едят.

— Дай мне кусочек, — попросил Николаша, поглядывая на сигары.

— Эх, жалко мне тебя... Хочешь меняться? Уж так и быть, выручу. Больно ты парень хороший. И как это тебя угораздило?! Я думаю себе — их и съесть можно, и то, и се, — а они, оказывается, только для рисования... А ведь шоколадная сигара — это штука! Ее в рот возьмешь, будто куришь, а сам знай отъедай конец.

— Ну, хорошо, — сказал Николаша с деловым видом. — Дай мне за карандаши полторы, а себе возьми половинку...

Сошлись на том, что Петраха за карандаши дает одну из сигар, а другую съест сам, так как, по его словам, ему и то убыточно.

— Эти сигары, сам знаешь, — сказал он, — даром на полу не валяются...

. . . .

Усталый, печальный, возвращался Николаша домой. Когда он вошел на веранду, отец оглядел его и спросил:

— А где же велосипед?

И вдруг, как молния, озарило Николашу: велосипеда-то ведь действительно нет, и аппарата нет, и лука, и карандашей...

И, схватившись руками за голову, заплакал бедный именинник.

— Что с тобой? Где велосипед?

И, прерывая слова горькими рыданиями, едва сумел выговорить Николаша:

— Я... его... съел!..

СЕРЕЖКИН РУБЛЬ

Как его заработал

Звали этого маленького продувного человечка Сережка Морщинкин, но он сам был не особенно в этом уверен... Колебания его отражались даже на обложках истрепанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось: «Сергей Мортчинкин». То: «Сергей Мортчинкен».

Эта неустанная, суровая борьба с буквой «щ» не мешала Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались.

Писались стихи по совершенно новому способу... Таковы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой:

До соседей вдруг донесся слух,
Что в доме номер три, в кух
Не, горел большой огонь,
Который едва-едва потушили.
Кухарку называли «дурой» милли
Он раз, чтобы она смотрела лучше.

За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого, отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже.

Сережка долго плакал в сенях за дверью, твердо решив убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый, изобретательный умишко заработал в другом направлении... Он прокрался в детскую, заперся там и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой.

— Что это? — спросил дядя.

— Стихи.

— Твои? Хорошие?

— Да, эти уж, брат, почище тех будут, — важно сказал Сережка. — Самые лучшие стихи.

Дядя засмеялся.

— А ну, прочти-ка.

Сережка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло откашлявшись, прочел:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая...
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, синем кушачке...
Ему больно и смешно,
А мать грозит ему в окно.

— Гм... — сказал дядя. — Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?

— Уж сейчас и списал, — возразил Сережка, ерзая по дивану и пытаясь стать на голову. — На вас разве угодишь?

Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Сережку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал:

— Так как все поэты получают за стихи деньги — получай. Вот тебе рубль.

От восторга Сережка даже побледнел.

— Это... мне? И я могу сделать, что хочу?

— Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей.

В эту ночь Сережке спалось очень плохо — рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз.

Сделка

Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в девять часов. Выбрался он из дому в восьмом часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями...

Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе:

— Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?

Зашел в ближайшую лавочку. Разменял.

Действительно, по количеству монет оказалась целая уйма — чуть ли не в семь раз больше... но качество их было очень низкое — маленькие, потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.

— Скверные денежки, — решил Сережка. — Их тут столько, что немудрено одну монетку и потерять... Разменяю-ка я их обратно.

Он зашел в другую лавчонку с самым озабоченным видом.

— Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.

— Извольте-с.

Новая мысль озарила Сережкину голову.

— А может... у вас бумажный есть?

— Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.

— Ну, дайте трехрублевку.

— Это за рубль-то! Проходите, молодой человек.

Опять в Сережкином кармане очутился толстый, тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой:

— Даже лучше. Новее того. А много можно на него сделать: купить акварельных красок... или пойти два раза в цирк на французскую борьбу (при этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы) ... а то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок — ничего: живешь-то ведь один раз.

В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.

— Смерть приготовишкам! — прорычал зловещий голос. — Смерть Морщинкину.

По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса — драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов.

— Пусти, Тарарыкин, — прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.

— Скажи: «пустите, дяденька».

— Пустите, дяденька.

Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.

— Эх ты, Морщинка — тараканья личинка. Хочешь так: ты ударь меня по спине, как хочешь, десять раз, а я тебя всего один раз. Идет?

Но многодумная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему.

— Слушай, Тарарыкин, — сказал он после долгого раздумья. — Хочешь получить рубль?

— За что? — оживился вечно голодный прожорливый третьеклассник.

— За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене.

— А тебе это зачем?

— Чтоб меня все боялись. Будут все говорить: раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно. А ты получишь рубль... Можешь на борьбу пойти... красок купить коробку...

— Нет, я лучше пирогов куплю по три копейки тридцать три штуки.

— Как хочешь. Идет?

В Тарарыкине боролись два чувства: самолюбие первого силача и желание получить рубль.

— Что ж, брат... А если я тебе поддамся, так меня уж всякий и будет колотить?

— Зачем? — возразил сообразительный Сережка. — Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то... Ведь ты их целый месяц есть будешь.

— Неделю. Эх, Морщинка — собачья начинка, соглашаться, что ли?

Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.

— Эх! — застонал Тарарыкин. — Пропадай моя славушка, до свиданья-с, моя силушка. Согласен.

И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.

— Чего же ты дерешься?

— Так ведь чудак же: это в последний раз. Потом уж ты меня колошматить будешь.

И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк...

Драка

Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха. Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами, без помощи рук.

— Попробуй, Тарарыкин, — предложил Сивачев.

В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом:

— Куда этому Тарарышке прыгнуть — у него сейчас и ноги отвалятся.

— Ты-ы! — угрожающе зарычал Тарарыкин. — Знай, с кем говоришь! Котлету из тебя сделаю!

— Котлету! Ах ты, кухарка свинячья!

— Отойди лучше, Морщинка, — получишь по затылку!

— Очень я тебя боялся, — лихо захохотал Сережка. — Попробуй-ка, тронь только!

— Да и трону, — проворчал Тарарыкин.

— А ну, тронь!

— А что ж ты думаешь — не трону?

Сережка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкиным и, задрав голову, сказал иронически:

— Тронь только — кто тебя у меня отнимать будет?

Кругом засмеялись.

— Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!

— Ну, что ж ты, Тартарарыка, небось только на маленьких силач. До меня-то и дотронуться боишься.

— Я? Тебя? Боюсь? На ж тебе, получай!

Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.

— Съел?

— Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй!

Сережка взмахнул маленьким кулачонком и — о чудо! К ужасу и изумлению всех присутствующих, верзила Тарарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный

актер, честный Тарарыкин «переиграл», но простодушная публика не заметила этого.

— Ого! Ай да Сережка!

Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.

— А-а, так ты так-то!

— Да-с. Вот так! — нахально сказал Сережка. — На-ка еще, брат!

Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкинскую спину своими кулачонками.

Все были изумлены до чрезвычайности.

Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его:

— Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?

— Кто ж его знал, — ответил добросовестный Тарарыкин. — Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки — железо. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.

— Больно?

— Попробуй-ка. Завяжись сам с ним. Ну его к Богу. Я его теперь и не трону больше...

После победы

Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина и что тот, как приготовишка, плакал (последнее было уже прибавлено восторженными поклонниками), — эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться.

К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин и принес ему горькую жалобу:

— Морщинкин! Ильяшенко дерется — дай ему хорошенько, чтобы не заносился.

— Ладно! — нахмурился Сережка. — Я это устрою. А что мне за это будет?

— Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебряной бумажке.

— Тащи.

Потом подошел Португалов:

— Здравствуй, Сережка. Сердишься?

— А то нет! Свинья ты! Жалко было цветных карандашей, что ли? Обожди! Попадешься ты мне на нашей улице!

Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал:

— Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.

Три второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы.

Получили снисходнтельное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.

— Ты что, упражнялся? — спросил Гукасов.

— Упражнялся, — сказал Сережка.

В конце концов, Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу.

Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой.

— Стой! — крикнул Сережка. — Отдай булку!

— Ишь ты какой! А я-то?

— Отдай, все равно отниму!

Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке.

— На, подавись!

— То-то. Ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.

В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.

— Боишься? — спросил заносчиво Сережка.

— Еще бы. Я и не знал, что ты такой здоровый.

И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль... А что, если... Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти напролом... Насытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сереж-

ка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:

— Отдавай рубль!

— Что ты! — удивился Тарарыкин. — Ведь мы же условились...

— Отдавай! Все равно отниму!

— Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых — попробуй-ка.

На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу.

И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но... Тарарыкин опомнился.

— Ты... вот как!

Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красноватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет....................

....

И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава... Сережка лежал, избитый, в пыли и прахе, а мстительный Кочерыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы; подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал:

— Вот тебе цветные карандаши. Поросенок!

Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой; губа вспухла, щека вспухла; на лбу была царапина, рубль пропал бесследно, дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное...

Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок... он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать... Но в передней его ждал последний удар.

Дядя поймал его за руку и сердито сказал:

— Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои стихи? Списал у Пушкина да и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома — о цирке и зверинце забудь, а во-вторых, — возврати-ка мне мой рубль.

Сердце Сережки упало...

СИНЕЕ ОДЕЯЛО

— Грачев! У тебя есть двенадцатый выпуск Ната Пинкертона?

— Нет, девятый есть. Спроси у Замирайло.

— Замирайло! Дай двенадцатый выпуск Пинкертончика.

— Ишь ты какой хитрый... А что я буду читать?

— Так ведь сейчас урок арифметики будет, не будешь же ты читать на арифметике.

— Ах, господи! Сейчас арифметика... А я что называется — ни-ни. Всю ночь читал «Дик Викольчос — душитель миллионеров»...

— А что у нас на сегодня?

— Цепное правило и правило товарищества.

— Здорово. Пойдем мы сегодня как топоры ко дну. Вот тебе и Пинкертон. Красильников! Ты приготовил?

— Приготовил... Могилу я себе приготовил. Слушай, ты не знаешь случайно, что такое правило товарищества?

— По-моему, так: главное — не фискалить, поддерживать товарища в беде, кроме того...

— Дурной ты! Я тебя об арифметическом правиле спрашиваю. Ты еще на уроке ляпни такой ответ Александру Николаевичу...

— Краснокожие!.. — возгласил дежурный, заглянув в окно. — Стройся, как говорится, к расчету. Александр Николаевич идет.

Сдержанный болезненный стон пронесся по всему классу.

«Мне смертию кость угрожала», — прошептал Красильников, судорожно вчитываясь в Киселева, страницы которого были испещрены самыми загадочными цифрами и вычислениями.

Почти у всех в руках вместо Киселева была Бог его знает какая гадость: маленькие засаленные книжонки с аляповато, грубо раскрашенными обложками, крикливо вещавшими, что содержание их не менее зазвонисго: «Тайна мистера Пэка, или Три отрезанные головы», «Берлинский палач», «Подземелье дьявола» — все это сплошь грубое, глупое, тошнотворно-безграмотное. Весь этот вздор при первых же словах дежурного, обращенных к краснокожим, моментально нырнул в ранцы и ящики парт, а взамен «бер-

линских палачей» выскочили спокойные, солидные Киселевы, Киселевы, Киселевы — целое море глубокомысленной арифметики.

— Много будет сегодня убиенных младенцев, — пророчески провозгласил Красильников.

— Типун тебе на язык.

— Ну, типун-то — это вопрос, а единица в журнале — верная.

С первой скамьи раздался судорожный писк умиравшего от ужаса и дурных предчувствий Грачева:

— Замирайло! Золотой голубчик! Спаси нас!

— Как же я вас спасу, дурные! Надо было выучить и тройное и цепное.

— А сам-то ты учил?

— Нет, положим. Я вчера у одного мальчика достал «Фантомас, убийца детей»... Впрочем, постойте, господа... Надо, знаете, что сделать? Занять Александра Николаевича разговором. Гм!.. Стоп. Нашел. Чем ушибся, тем и лечись!.. Есть. Только вы уж поддержите.

* * *

Учитель математики с завидной медлительностью положил на кафедру журнал, вынул платок, протер очки, аккуратно сложил и спрятал платок и только тогда уселся на свое место.

— Ну-с... Перво-наперво мы проверим, кого нет в классе.

Он медлительно развернул журнал.

— Авилов Илья?

— Здесь.

— Агабашев Степан?

— Здесь.

— Андриевич Николай?

— Нет его, — отвечал дежурный.

— И не будет, — вдруг мрачно пробормотал Замирайло.

— Что? — поднял голову учитель.

Все молчали.

— Кто сказал «и не будет»?

Замирайло с деланной неохотой поднялся с места.

— Я сказал «и не будет».

— Что ж он, серьезно болен, что ли?

— Нет, — промямлил Замирайло, — не то... Да я уж и не знаю, говорить ли вообще, Александр Николаевич...

— А что такое? В чем дело? — встревоженно поднял голову добряк математик.

— Да я боюсь, как бы и мне в эту историю не запутаться... Будут еще по судам таскать как свидетеля... — И добавил с лицемерной заботливостью: — А это может отразиться на моих учебных занятиях.

— Нет, ты мне скажи, в чем дело с Андриевичем, — совсем уже встревожился учитель. — Что такое? При чем тут суд?

Замирайло, опустив голову, молчал.

— Ну же? Говори смело, не бойся.

— Ну хорошо... — вздохнул Замирайло. — Я скажу все, что знаю, там не мое дело. Вчера, как вам известно, было воскресенье. Я решил с утра пойти на реку, половить рыбу. Ну, конечно, взял с собой и учебные книжки... Киселева «Арифметику» взял. Думаю, что хотя и знаю все, но все-таки еще подзубрить не мешает. Иду это я к реке, встречаю Андриевича, под мышкой у него синее одеяло и книжки.

Замирайло на минуту замялся, потом великодушно закончил:

— Тоже учебные книжки. Он тоже шел на реку учить Киселева. «Здравствуй, голубчик Андриевич, — говорю я ему. — Куда это ты с книжками и одеялом направляешься?» — «А к реке, — говорит. — Лягу себе, — говорит, — под кустиком и тоже буду учить арифметику». — «Ну, хорошо, — говорю я ему, — только ты садись подальше, чтобы мы не мешали друг другу учить арифметику». Так мы и сделали. Я уселся под ивой на бережку, а он улегся, так... ярдов на сто...

— Ну, ну — и что же? — поощрил заинтересованный учитель.

— Сижу я, значит, ужу рыбку, учу арифметику (хотя, конечно, я знаю, но для верности учил еще), вдруг слышу за спиной на горке голоса... Кто эти проходящие, я не видел — сидел спиной, да и кусты мешали, но разговор я услышал такой: «Так, значит, решено, Манюк?» — «Значит, решено». — «Деньги получишь, как обещано. Это тебе получше лошадей». — «А вы верно знаете, что он

тут?» — «Здесь он, здесь. Взял одеяло и пошел на реку... Манюк!» — «А?» — «Только сделай же так, чтобы никаких следов не было». — «Да уж раз река под боком, какие же следы...» Тут они прошли, и я дальше ихнего разговора не слышал... Только минут через пять до меня донесся издали какой-то разговор, потом подавленный крик, потом плеск воды!.. А потом все смолкло.

— Ну, — поощрил учитель.

— Все... — глубоко вздохнул Замирайло. — Я больше ничего не знаю.

Учитель задумался, покусывая суставы пальцев.

— Я думаю, что все это вздор. Просто случайное совпадение. Кому, спрашивается, может понадобиться жизнь Андриевича... Ну-с... А теперь приступим к правилу товарищества. Кого бы мне вызвать?..

Вдруг с места поднялся Красильников и взволнованным голосом спросил Замирайло:

— Замирайло! А какого цвета было одеяло у Андриевича?

— Синего, — с готовностью ответил Замирайло.

— Синего? Гм... Странно. Все это очень странно, — потирая лоб, прошептал Красильников.

— Что тебе странно, Красильников? — удивленно спросил учитель.

— Такое странное совпадение. Как вы знаете, господа, дом моего отца стоит на Проломной, ярдах в четырехстах от реки. А у нас есть собака — Тигр. И этот Тигр вечно шатается по окрестностям и всегда норовит притащить какую-нибудь дрянь: то кусок дохлой кошки, то обглоданную кость. А вчера он является домой и приносит в зубах кусок синего... одеяла. И на куске какие-то красные пятна, запачканные землей. Тигр положил обрывок на пол и стал слизывать красные пятна...

Красильников потер ладонью лоб и умолк.

— Все? — спросил учитель.

— Все.

— Да, все это странно. Ну, я думаю, его родители сами все выяснят. Итак: правило товарищества... Вызовем мы...

— Теперь мне многое делается ясным, — громко сказал Грачев, ни к кому определенно не обращаясь.

— Что тебе ясно? — встрепенулся учитель.

Грачев встал и начал уверенным, полным тайного значения тоном:

— Вчера я зашел к Красильникову взять у него учебник арифметики. У меня мою книгу кто-то украл (мне говорили, что в городе действует какая-то шайка), а я хотел во что бы то ни стало приготовить на сегодня урок... Захожу к Красильникову, он сидит, учит правило товарищества. Поговорили о том о сем, об арифметике... Вдруг он рассказывает: «Понимаешь, — говорит, — наш Тигр принес странный обрезок одеяла». — «Обрывок, — поправляю я, — а не обрезок»... Ведь ты, Красильников, настаивал на том, что это обрезок?

— Настаивал, — с готовностью согласился Красильников, — и сейчас настаиваю. Кусок одеяла, именно срезок от целого, и нож, очевидно, был очень острый, потому что без рваных мест.

— Все-таки что же тебе ясно? — переспросил Грачева учитель.

— Когда он показал обрывок или там отрезок, я и говорю: «Постой, да ведь это одеяло Андриевича. Я у него как-то был, сидел на кровати и как раз обратил внимание на цвет и рисунок одеяла...» Мне как-то сразу сделалось беспокойно. «Знаешь что, — говорю я. — Пойду-ка я к Андриевичу, лучше у него возьму арифметику. Кстати же и проведаю его, как он живет». Попрощался с Красильниковым, иду...

— Да, это верно, — подтвердил обстоятельный Красильников, — он со мной попрощался и пошел...

— Не мешай, Красильников, — раздался гул голосов.

— Иду... Прихожу к Андриевичу, встречает меня ихняя домоправительница... Как известно, господа, Андриевич сирота, сын очень богатых родителей, и живет он у своего холостого опекуна. «Что вам?» — спрашивает меня домоправительница и все этак подозрительно на меня поглядывает. «Андриевич дома?» — спрашиваю. «Нет его, нет, и неизвестно, когда будет». И видно, что старая ведьма старается как можно скорее спровадить меня со двора. Вдруг вижу я, из дому на крыльцо выходит цыган Манюк, про которого говорят, что он конокрад и занимается вообще всякими темными делами... И вдруг тут меня будто что в бок толкнуло. «А я, говорю, к Андриевичу пришел по делу. Мы, видите ли, устраиваем любительский спектакль, и нам нужно для

занавеса синее одеяло... Андриевич говорил, что у него есть, обещал дать». Она ка-ак рассвирепеет. «Уходите, — кричит, — никаких одеял не могу вам дать! Молодого барина нет, а я без него не могу его вещей давать». А меня как будто кто-то в бок толкает. «Мадам, — говорю я. — Я этого одеяла и не собираюсь брать с собой, вы мне только покажите его, годится ли?» Тут она взвизгнула, схватила меня за плечи, вытолкала и захлопнула калитку перед самым моим носом.

— Гм!.. — промычал учитель. — Замирайло! Выскажи свое просвещенное мнение...

— Что ж я скажу, Александр Николаевич, — скромно встал Замирайло. — Я ничего не знаю, а только у Андриевича в будущем большие деньги, и опекуну выгодно отделаться от бедного Николая...

— Так ты думаешь, что это опекун говорил с Манюком за твоей спиной?

— Уверен, — бодро сказал Замирайло.

— В котором часу это было приблизительно? — спросил учитель.

— В десять часов утра или немного позже.

— Ну, так поздравляю вас: я был вчера около этого времени на вокзале и видел опекуна Андриевича — я его немного знаю в лицо. Он сел в десятичасовой киевский поезд и уехал.

Это сообщение учителя произвело большое впечатление. Все притихли. Воспользовавшись паузой, учитель снова развернул журнал и сказал:

— Кого же бы нам сейчас вызвать?..

— Понял! — вдруг раздался голос Азебашева Степана. — Теперь не буду больше ломать себе голову.

— Над чем это, Азебашев? Над чем ты не будешь ломать голову?

— Да это пустяк, Александр Николаич. Но все-таки меня он удивил. У меня есть товарищ, сын начальника станции... И он вчера утром позвал меня покататься на маневрирующем паровозе. Сели мы — паровоз стоял на запасном пути, сзади десятичасового пассажирского, вдруг раздается третий звонок, пассажирский трогается, и только что он тронулся, как на площадке показался пожилой господин с чемоданом,

открыл дверцу площадки да и выскочил с нашей стороны, то есть с противоположной перрону. Схватил чемодан да, сделав маленький крюк, помчался в город.

— Вздор ты говоришь, Азебашев; если, как я тебя понимаю, это был опекун Андриевича, то как он мог через колеса попасть на реку и встретиться с Манюком, если от вокзала до реки езды на извозчике не меньше часу. Просто совпадение. Ну, мы все тут болтаем, а час уже скоро кончается. Ну-с, пусть нам расскажет о правиле товарищества... Батуричев, что ли.

Батуричев встал, помолчал немного и сказал:

— Правилом товарищества называется... Нет, не могу припомнить! Может быть, это и пустяк, может, это и не имеет отношения, но сказать я обязан.

Учитель был чрезвычайно удивлен таким продолжением «правила товарищества»:

— Что это ты там бормочешь, Батуричев? Что ты обязан сказать?

— Вчера утром, Александр Николаевич, я встал очень рано. Хотя было воскресенье, но, думаю, встану, поучу хорошенько правило цепное и товарищества, а потом пойду гулять... а около нашего дома помещается гараж, оттуда можно брать автомобили. Смотрю, стоит автомобиль, весь в пыли, а около ходит шофер и о чем-то разговаривет с механиком. Я тоже остановился около автомобиля, любуюсь машиной, слушаю. «Чего ж он так гнал тебя?» — «Бог его знает. Я стоял у вокзала, вдруг он подбегает, с чемоданом, пожилой такой, верно, чем-то озабоченный, вскакивает в мотор и говорит: «Поднимите верх и, не жалея машины, летите к реке, пятьдесят рублей на чай получите!» Я и погнал. Около реки из-за кустов вышел какой-то чернобородый, и они о чем-то заговорили... А я уехал». Не знаю, почему мне запомнился этот рассказ шофера, но я...

Резкий звонок, возвещавший окончание учебного часа, прозвучал в коридоре.

Все облегченно вздохнули.

Учитель сделался задумчив.

— Да, любопытная история, любопытная. Хотел бы я знать, что случилось с Андриевичем и где он сейчас...

И вдруг встал доселе молчавший и погруженный в чтение какой-то раскрашенной книжки Авилов Антон.

— Александр Николаевич, — простодушно спросил он. — Вы, кажется, хотите знать, где сейчас Андриевич?

— Да! А ты разве знаешь?

— Я когда шел сегодня утром в гимназию, встретил его. Он сказал, что его опекун заболел и он должен бегать в аптеку и сидеть около него.

— Чего ж ты раньше молчал, чудак? — удивился учитель. — Мы тут целый час толкуем об Андриевиче, а он...

— А я не слышал. Я читал книжку... Арифметику Киселева читал. Так увлекся, что и не слышал, о чем говорят.

— Экая досада. А вы, господа, вечно какие-нибудь глупости выдумаете. Почудится им какой-нибудь вздор, они и пойдут расписывать, только время даром отнимают...

В этот момент в комнату вошел надзиратель. Сказал:

— Александр Николаич! Батюшка сейчас запиской сообщил, что на уроке закона божьего не будет. Директор просил вас заняться с классом на один час.

Сдержанный глухой стон как ветерок пронесся по классу.

— Ну-с, пинкертоны, — обратился учитель к поникшим ученикам. — Сейчас пятиминутная перемена, а через пять минут займемся правилом товарищества... Вы все так его вызубрили, что приятно будет вас спросить...

Волосы у пинкертонов встали дыбом. Будто целый лес тоненьких единиц пророчески поднялся на голове у каждого из них.



О МАЛЕНЬКИХ – ДЛЯ БОЛЬШИХ (1916)



ОТ АВТОРА

Вы,
которые
любите их смеющимися,
улыбающимися, серьезными и плачущими...
Вы, которым дороги
они — всякого цвета и роста —
от
еле передвигающихся
на неверных ногах крошек,
с ручонками, будто ниточками перехваченными
и губками, мокрыми и пухлыми, —
до
ушастых веснушчатых юнцов
с ломающимися голосами,
большими красными руками
и стриженными ежом волосами,
с движениями смешными и угловатыми —
для вас эта книга,
потому что
большая любовь к детям водила рукой автора...

Вы же,
которым
ненавистен детский плач,
которые мрачно и угрюмо прислушиваются
к детскому смеху,
находя его пронзительным и действующим
на нервы,

Вы, которые
в маленьком ребенке видите

бесформенный кусок мяса,
в чудесном лопоухом гимназистике — несносного
шалуна,
а в прелестном пятнадцатилетнем застенчивом
увальне —
неуклюжего, портящего стиль вашей гостиной
дурака —
Вы
не читайте этой книги...
Она —
не для Вас.

Аркадий Аверченко

О ДЕТЯХ
(*Материалы для психологии*)

У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей.

Мысли их идут по какому-то своему пути; от образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью.

Вот несколько пустяков, которые запомнились мне.

I

Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала:

— Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать... И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахару. Больших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-претолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар — величиной с лошадь...

— Да что это, в самом деле, у тебя, — нетерпеливо перебил я. — Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук...

Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами:

— А как же бы ты думал. Ведь он же слон?

— Ну так что?

— И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек сахару.

Я промолчал, но про себя подумал:

«Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку — психологию девочки».

II

Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил:

— Как ты думаешь: как меня зовут?

Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза:

— Я думаю — Андрей Иваныч.

На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ.

III

Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать.

Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп.

Я вздрогнул и открыл глаза.

Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал.

Так мы долго молча смотрели друг на друга.

Наконец он с любопытством спросил:

— Что ты лопаешь?

Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем: бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть

меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал:

— Что ты лопаешь?

Можно ли не любить детей?

ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

I

За все пять лет Ниночкиной жизни сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил на нее преядовитый стихотворный памфлет.

День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала:

— А теперь ступай на крыльцо, погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчасика, — постереги, чтобы дождик не пошел. А потом приди да мне скажи. Интересно, как оно там...

Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю со сдобными сухариками.

Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозрить в этом случае подвох... Она кротко одернула на животике передничек, сказала: «Ну что ж, пойду погляжу», — и сошла на крыльцо, залитое теплым золотистым солнцем.

Неподалеку от крыльца на яшике из-под пианино сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда и не видывала.

Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение — «постеречь, не пошел бы дождик», — один из трех мальчиков, пошептавшись с приятелями, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.

— Здравствуй, девочка, — приветствовал он ее.

— Здравствуйте, — робко отвечала Ниночка.

— Ты здесь и живешь?

— Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлен, няня, кухарка и я.

— Ого! Нечего сказать, — покривился мальчик. — А как тебя зовут?

— Меня? Ниночка.

И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчишка с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом, глядела Ниночка на негодяя, так порочившего ее, а он снова, подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О, Боже, Боже!.. За что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили?

Солнце померкло в ее глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она — серый поросенок?! Она — подавилась грязью?! Где? Когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железом, и жить не хотелось.

Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку — это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать, что «Нинёнок» прекрасно рифмуется с «поросёнком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.

Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.

— Пойдем, Колька, — сказал сочинителю памфлета один из его клевретов, — а то эта плакса пожалуется еще — нам и влетит.

Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с непросохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька... О, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, — с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часу просидала она так в темном углу передней, на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести.

И вдруг бог поэзии, Аполлон, коснулся ее чела перстом своим. Неужели?.. Да, конечно! Без сомнения, у нее на Кольку будут тоже стихи. И нисколько не хуже давешних!

О, первые радости и муки творчества!

Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те жгучие огненные строки, которые она швырнет Кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью: теперь Колька узнает, как затрагивать ее.

Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом, снова вышла на крыльцо.

Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трех в восторг игру... Именно — каждый по очереди, приложив большой палец к указательному, так, что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутрь кольца, не задев пальцев, счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а, вытерев мокрые пальцы о край блузы, с новым азартом погружался в увлекательную игру.

Ниночка полюбовалась немного на происходящее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:

— А тебя как зовут?

— А что? — подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всем этом какой-то подвох.

— Да ничего, ничего... Ты только скажи, как тебя зовут?

У нее было такое простодушное наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.

— Ну, Колька, — прохрипел он.

— А-а-а... Колька...

И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:

Колька-Колёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатился,
Подавился... грязью...

Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытою дверь, а вслед ей донеслось:

— Дура собачья!

II

Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав.

— Няня, дождик не идет.

— Ну и хорошо.

— Что ты делаешь?

— Не мешай мне.

— Можно смотреть?

— Нет, нет уж, пожалуйста. Пойди лучше посмотри, что делает Лиза.

— А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка.

— А потом скажешь мне.

— Хорошо...

При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит:

— Тебе чего надо?

— Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь.

— Уроки учу. Не видишь, что ли?

— А можно мне около тебя посидеть? Я тихо.

Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки.

— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.

— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.

— Ну так вот что... Пойди посмотри, где Тузик? Что с ним?

— Да он, наверное, в столовой около стола лежит.

— Ну вот. Так ты пойди, посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.

Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение — вот и все.

— А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? — серьезно спрашивает Ниночка.

— Нет! Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще посиди там у него, понимаешь?..

— Хорошо...

С видом домовитой хозяйки-хлопотуньи спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчится к отцу (вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу).

— Папа!

Папы в кабинете нет.

— Папа!

Папы нет в гостиной.

— Папа!

Наконец-то... Папа сидит в комнате фрейлен, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке.

При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением:

— А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет моих очей?

— Папа, я уже покормила Тузика хлебом.

— Ага... И хорошо, брат, сделала, потому они, животные эти, без пищи тово... Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.

— Куда, папа?

— Ну... пойди ты вот куда... Пойди ты... гм!.. Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает.

— Да я уже только была у нее. Она уроки учит.

— Вот как... Приятно, приятно.

Он красноречиво глядит на фрейлен, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит:

— Ну, в таком случае... пойди ты к этой самой... пойди ты к няньке и погляди ты... чем там занимается вышесказанная нянька?

— Она что-то шьет там.

— Ага... Да, постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?

— Два кусочка.

— Эка расщедрилась! Разве такой большой пес будет сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати... Кусочка этак четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола.

— А если грызет, прийти и сказать тебе, да? — глядя на отца светлыми, ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.

— Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее... Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с картинками, то ты ее, значит, тово... Просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?

— Поняла. Посмотрю и расскажу.

— Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?

— Хорошо. Завтра.

— Ну, путешествуй!

Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы.

— Лиза! Тузик не грызет ножку стола.

— С чем тебя и поздравляю, — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. — Ну, иди себе.

— Куда идти?

— Поди к папе. Спроси, что он делает?

— Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо все завтра рассказать...

— Ах ты, Господи! Что это за девчонка!.. Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.

Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усеченные пирамиды, конусы и треугольники.

— Посмотрела, — говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. — Теперь что?

— Теперь? Господи! Вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши: что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?

— Нет...

— Ну, пойди, посмотри. Потом мне расскажешь.

— Что ж... пойду.

У Ариши гости: соседская горничная и посыльный — «красная шапка».

— Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо посмотреть.

— Где там скоро! И через час не уберусь.

— Ну, я посижу, подожду.

— Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.

— А чего?

— Ну, там она знает — чего.

— Чтоб сейчас дала?

— Да, да, сейчас. Иди себе, иди!

III

Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений — по горло. И все самые важные, неотложные. Бедная «неприкаянная» Ниночка.

И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием.

— А-а, Ниночка, — бурно встречает ее тетя Вера. — Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка... Ты меня слушаешь?

— Да, тетя. Слушаю.

— Вот что, милая... Ко мне сейчас придет Александр Семеныч. Ты знаешь его?

— Такой, с усами?

— Вот именно. И ты, Ниночка... (тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце) ты, Ниночка... сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь... Слышишь?

— Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?

— Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут, и больше никаких. Поняла?

* * *

— Барыня! Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора.

— Нет-нет, она еще посидит со мною. Правда, Александр Семеныч?

— Да пусть спать идет, чего там? — говорит этот молодой человек, хмуря брови...

— Нет-нет, я ее не пущу. Я ее так люблю...

И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку...

А когда Александр Семеныч, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:

— А теперь ступай, детка, спать. Нечего тут рассиживаться. Вредно...

* * *

Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя, в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать: «А что, если и я помру? Кто тогда все делать будет?»

ГРАБИТЕЛЬ

I

С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело молодое, розовое лицо — черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились.

Я спросил:

— Чего тебе надо?

Он ухмыльнулся:

— Собственно говоря — ничего.
— Это наш сад, — деликатно намекнул я.
— Ты, значит, здешний, мальчик?
— Да. А то какой же?
— Ну, как твое здоровье? Как поживаешь?
Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезный разговор.
— Благодарю вас, — солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки. — Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли!..
Это вышло шикарно. Совсем как у тетки.
— Здорово, брат! Теперь ты мне скажи вот что: у тебя, кажется, должна быть сестра?
— А ты откуда знаешь?
— Ну, как же... у всякого порядочного мальчика должна быть сестра.
— А у Мотьки Нароновича нет! — возразил я.
— Так Мотька разве порядочный мальчик? — ловко отпарировал незнакомец. — Ты гораздо лучше.
Я не остался в долгу:
— У тебя красивая шляпа.
— Ага! Клюнуло!
— Что ты говоришь?
— Я говорю: можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад?
— Ну, это, брат, невозможно.
— Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка!
Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад.
Но спорт — это святое дело.
— Гоп! — И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты.
Это было так недосягаемо для меня, что я даже не завидовал.
— Ну, здравствуй, отроче. А что поделывает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут?

— Откуда ты знаешь?

— По твоим глазам вижу.

Это меня поразило. Я плотно зажмурил глаза и сказал:

— А теперь?

Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись бесплодно, сознался:

— Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь. Ты во что тут играешь, в саду-то?

— В саду-то? В домик.

— Ну? Вот-то ловко! Покажи-ка мне твой домик.

Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышовой палки и нескольких досок, но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня...

«О, Господи, — подумал я. — А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все то, что было скоплено таким трудом и лишениями: живая черепаха в коробочке, ручка от зонтика в виде собачьей головы, баночка с вареньем, камышовая палка и бумажный складной фонарик».

— А зачем тебе? — угрюмо спросил я. — Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать?

Он быстро, с некоторым испугом схватил меня за руку.

— Ну, не надо, не надо, не надо! Не уходи от меня... Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме.

— Почему?

— Мне без тебя будет скучно.

— Ты, значит, ко мне пришел?

— Конечно! Вот-то чудак! И ты еще сомневался... Сестра Лиза дома сейчас?

— Дома. А что?

— Ничего, ничего. Это что за стена? Ваш дом?

— Да... Вот то окно — папина кабинета.

— Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке.

— Да я не хочу. Что мы там будем делать?

— Я тебе что-нибудь расскажу...

— Ты загадки умеешь?

— Сколько угодно! Такие загадки, что ты ахнешь.

— Трудные!

— Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет?

— Никого. А вот отгадай ты загадку, — предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада. — «В одном бочонке два пива — желтое и белое». Что это такое?

— Гм! — задумчиво сказал молодой человек. — Вот так штука! Не яйцо ли это будет?

— Яйцо...

На моем лице он ясно увидел недовольство, разочарование: я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывались.

— Ну, ничего, — успокоил меня незнакомец. — Загадай-ка мне еще загадку, авось я и не отгадаю.

— Ну, вот отгадай: «Семьдесят одежек и все без застежек».

Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость.

— Шуба?

— Нет-с, не шуба-с!..

— Собака?

— Почему собака? — удивился я его бестолковости. — Где же это у собаки семьдесят одежек?

— Ну, если ее, — смущенно сказал молодой человек, — в семьдесят шкур зашьют.

— Для чего? — безжалостно улыбаясь, допрашивал я.

— Ну, мало ли... Если, скажем, хозяин чудак.

— Нет, это ты, брат, не отгадал!

II

После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие:

— Велосипед? Море? Зонтик? Дождик?

— Эх, ты! — снисходительно сказал я. — Это кочан капусты.

— А ведь в самом деле! — восторженно крикнул молодой человек. — Это замечательно! И как это я раньше не догадался. А я-то думаю: море? Нет, не море... Зонтик? Нет, не похоже. Вот-то продувной братец у Лизы! Кстати, она сейчас в своей комнате, да?

— В своей.

— Одна?

— Одна. Ну, что ж ты... Загадку-то!

— Ага! Загадку? Гм... Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик».

Я с сожалением оглядел моего собеседника: загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая.

Но внутренняя деликатность подсказала мне не отгадывать ее сразу.

— Что же это такое? — задумчиво промолвил я. — Вешалка?

— Какая же вешалка, если посередине гвоздик? — вяло возразил он, думая о чем-то другом. — Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась.

— А два конца, где они?

— Костыли? — лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью: — Ножницы!!..

— Вот, черт возьми! Догадался-таки! Ну и ловкач же ты! А сестра Лиза отгадала бы эту загадку?

— Я думаю, отгадала бы. Она очень умная.

— И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые?

— Есть. Эльза Либкнехт, Милочка Одинцова, Надя...

— Нет, а мужчины-то. Есть?

— Есть. Один тут к нам ходит.

— Зачем же он ходит?

— Он?

В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца.

Я пришел в восхищение:

— Сколько стоят?

— Пятнадцать рублей. Зачем же он ходит, а? Что ему нужно?

— Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора, он старый. А эти банты — завязываются или так уже куплены?

— Завязываются. Ну, а Лиза хочет за него замуж?

— Согни-ка ногу... Почему они не скрипят? Значит, не новые, — критически сказал я. — У кучера Матвея были новые, так небось скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь.

— Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отроче, а Лизе хочется за него замуж?

Я вздернул плечами.

— А то как же! Конечно, хочется.

Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи.

— Ты чего?

— Голова болит.

Болезни — была единственная тема, на которую я мог говорить солидно.

— Ничего... Не с головой жить, а с добрыми людьми.

Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу.

— Пожалуй, ты прав, глубокомысленный юноша. Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж?

Я удивился:

— А как же иначе?! Как же тут не хотеть? Ты разве не видел никогда свадьбы?

— А что?

— Да ведь, будь я женщиной, я бы каждый день женился: на груди белые цветочки, банты, музыка играет, все кричат ура, на столе икры стоит вот такая коробка, и никто на тебя не кричит, если ты много съел. Я, брат, бывал на этих свадьбах.

— Так ты полагаешь, — задумчиво произнес незнакомец, — что она именно поэтому хочет за него замуж?

— А то почему же!.. В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке бант повязан. Подумай-ка! Жду — не дождусь, когда эта свадьба начнется.

— Я знал мальчиков, — небрежно сказал незнакомец, — до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать...

Он затронул слабейшую из моих струн.

— Я тоже могу!

— Ну что ты говоришь! Это неслыханно! Неужели доскачешь?

— Ей-Богу! Хочешь?

— И по лестнице наверх?

— И по лестнице.

— И до комнаты Лизы?

— Там уж легко. Шагов двадцать.

— Интересно было бы мне на это посмотреть... Только вдруг ты меня надуешь?.. Как я проверю? Разве вот что... Я дам тебе кусочек бумажки, а ты и доскачи с ним до ком-

наты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом, хорошо ли ты доскакал!

— Здорово! — восторженно крикнул я. — Вот увидишь — доскачу. Давай бумажку!

Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне.

— Ну, с Богом. Только если кого-нибудь другого встретишь, бумажки не показывай — все равно тогда не поверю.

— Учи еще! — презрительно сказал я. — Гляди-ка!

По дороге до комнаты сестры, между двумя гигантскими прыжками на одной ноге, в голову мою забралась предательская мысль: что, если он нарочно придумал этот спорт, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой — эти люди превращаются в бессовестных грабителей.

Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему пойду.

— А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге? И заметь — все время на левой.

— Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно.

Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства.

— Ну, подождем, — сказал он. — Кстати, как тебя зовут?

— Ильюшей. А тебя!

— Моя фамилия, братец ты мой, Пронин.

Я ахнул:

— Ты... Пронин? Нищий?

В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего: под рукой костыль, на единственной ноге обвязанная тряпкой галоша и за плечами грязная сумка, с бесформенными кусками сухого хлеба.

— Нищий? — изумился Пронин. — Какой нищий?

— Мама недавно говорила Лизе, что Пронин — нищий.

— Она это говорила? — усмехнулся Пронин. — Она это, вероятно, о ком-нибудь другом.

— Конечно! — успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок. — У тебя брат-то какой-нибудь есть, нищий?

— Брат? Вообще брат есть.

— То-то мама и говорила: много, говорит, ихнего брата, нищих, тут ходит. У тебя много ихнего брата?..

Он не успел ответить на этот вопрос... Кусты зашевелились, и между листьями показалось бледное лицо сестры.

Пронин кивнул ей головой и сказал:

— Знавал я одного мальчишку — что это был за пролаза — даже удивительно! Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскать в сирени пятерки, да как! Штук до десяти. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков...

— Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно. Даже двадцать!

— Двадцать? — воскликнул этот простак, широко раскрывая изумленные глаза. — Ну, это, милый мой, что-то невероятное...

— Хочешь, найду?

— Нет! Я не могу даже поверить. Двадцать пятерок... Ну, — с сомнением покачал он головой, — пойди поищи... Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем...

Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. Двадцать пятерок были зажаты в кулак. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал:

— Ну! Не двадцать? На-ка, пересчитай!

Дурак я был, что искал ровно двадцать. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои пятерки.

— Ну и ловкач же ты, — сказал он изумленно. — Прямо-таки огонь. Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу.

— Большая важность! — презрительно засмеялся я. — Только идти не хочется.

— Ну, не надо. Тот мальчишка, впрочем, был попрытчей тебя. Пребойкий мальчик. Он таскал лестницу, не держа ее руками, а просто зацепивши перекладиной за плечи.

— Я тоже смогу, — быстро сказал я. — Хочешь?

— Нет, это невероятно! К самой стене!..

— Подумаешь — трудность!

Решительно в деле с лестницей я поставил рекорд: тот, пронинский, мальчишка только тащил ее грудью, а я при этом еще, в виде премии, прыгал на одной ноге и гудел, как пароход.

Пронинский мальчишка был посрамлен.

— Ну, хорошо, — сказал Пронин. — Ты удивительный мальчик. Однако мне старые люди говорили, что в сирени тройки находить труднее, чем пятерки...

О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадаются в сирени гораздо чаще, чем пятерки! Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал с деланным равнодушием:

— Конечно, труднее. А только я могу и троек достать двадцать штук. Эх, что там говорить! Тридцать штук достану!

— Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту?! О, чудо!

— Хочешь? Вот увидишь!

Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень, и углубился в благородный спорт.

Двадцать шесть троек были у меня в руке, несмотря на то что прошло всего четверть часа. Мне пришло в голову, что Пронина легко поднадуть: показать двадцать шесть, а уверить его, что тридцать. Все равно этот простачок считать не будет.

III

Простачок... Хороший простачок! Большего негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой. А во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости: загадки, пятерки, тройки, похищение сестры и прочие штуки — все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик... Действительно, не успел я подскакать к лестнице, как сразу увидел, что около нее уже никого не было, а домик мой, находившийся в трех шагах, был начисто ограблен: нянькин большой платок, камышовая палка и сигарная коробка — все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала

возле разбитой банки с вареньем...

Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика: через три дня пропавшая сестра явилась вместе с Прониным и, заплакав, призналась отцу с матерью:

— Простите меня, но я уже вышла замуж.

— За кого?!!

— За Григория Петровича Пронина.

Вдвойне это было подло: они обманули меня, надсмеялись надо мной, как над мальчишкой, да кроме того выхватили из-под самого носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было бы на свадьбе есть, сколько влезет — все равно никто не обращает внимания.

Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина:

— Сознайся, зачем ты приходил: украсть у меня мои вещи?

— Ей-Богу, не за этим, — засмеялся он.

— А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем?

— Платком укутал Лизу, потому что она вышла в одном платье, в коробку положил разные свои мелкие вещи, палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит, а банку с вареньем разбил нечаянно...

— Ну ладно, — сказал я, делая рукой жест отпущения грехов. — Ну, скажи мне хоть какую-нибудь загадку...

— Загадку? Изволь, братец. Два кольца, два конца, а посередине...

— Говорил уже! Новую скажи...

— Новую?.. Гм...

Очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе. Ничего другого у него не было... Как так живут люди — не понимаю...

— Неужели больше ты ничего не знаешь!..

И вдруг — нет! Этот человек был решительно не глуп — он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой:

— Стоит корова, мычать здорова. Хватишь ее по зубам — вою не оберешься.

Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примирившей с хитроумным шурином.

Оказалось — рояль.

ВЕЧЕРОМ

Посвящаю Лиде Терентьевой

Подперев руками голову, я углубился в «Историю французской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

— У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

— Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну, слушай... Ты про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

— Первый раз слышу.

— Ну, слушай... Жила-была Красная Шапочка...

— Виноват... Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения при развитии фабулы.

— А зачем?

— Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.

— В этом... В Симферополе.

— Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

— ... Взяла она маслице и лепешечку и пошла через лес к бабушке...

— Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

— Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

— По-латыни — Lupus.

— Что?

— Я спрашиваю: большой волк?

— Вот такой. И говорит ей...

Она морщит нос и рычит:

— Ккрасная Шапочка... Куда ты идешь?

— Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу:

— Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

— Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик...

— А где он жил? — ехидно спрашивает она.

— Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает:

«Папаша... яблоки имеют лапки?» — «Нет, милый». — «Ну, значит, я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

— Ай! Съел жабу?

— Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

Минут через двадцать знакомое дерганье за пиджак, легкое царапанье ногтем — и шепотом:

— Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно...

— Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

— Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые... груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: «Мама! Груши имеют лапки?» — «Нет, детка». — «Ну, значит, я курицу слопала!»

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замять разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке:

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о... Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

— Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу, перелистывает...

— Пойди сюда, дядя, — неуверенно подзывает она. — Вот твоя невеста...

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы.

— Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка... Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

— Я не могу... найти... для тебя... страшную... невесту.

Пожав плечами, сажусь за революцию; углубляюсь в чтение.

Тишина... Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы...

ДЕТВОРА

Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов, — рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете.

Рубрика эта — «наши дети».

Соль острот «наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно остроты «наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу:

— Бабушка, ты видела Лысую гору?

— Нет, милый.

— А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма?

Или:

— Володя, поцелуй маму, — говорит папа. — Поблагодари ее за обед.

— А почему, — говорит Володя, — вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?

Или совсем просто:

— Дядя, ты лысый дурак?

— Что ты, Лизочка!

— Ну да, мама. Ты же сама вчера сказала папе, что дядя — лысый дурак.

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном литературы». Таков сюжет «наши дети».

Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о «наших детях».

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:

«Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!»

Зашел в магазин.

— Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьми-девяти лет!

Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился...

— О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки... Обуреваемы любопытством — будет ли елка... О, золотое детство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.

— Я все-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее увешать хотят — пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну... можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов.

— А по-моему, просто, — сказал прямолинейный Вова, — нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска...

— Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика...

— И смешно, и противно, — усмехнулся Вова, — как это они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я нарочно спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там маме шьют новое платье!..» Секрет полишинеля!..

Все засмеялись.

— Братцы! — умоляюще сказал добросердечный Ванька. — Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести — без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы: порадуем стариков.

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.

— Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.

— Очень мило! — сказал Ваня, — захлопав в ладоши. — Как живой! Спасибо, папочка.

— Тебе это нравится?

— Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.

— Ванечка!!..

— Что такое?

— Милый мой! Ну, я тебя люблю, — ну, будь же и ты со мной откровенен... Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущенно опустил голову.

— Видишь ли, папа... Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не о себе говорю и не о Вове — о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком, — там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из виду, и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то, доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.

Понурив голову, молча слушал сына чиновник Плешихин.

— Так... Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

— Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать?.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны...

Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:

— Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.

На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.

— Пожалуйста! На твоей стороне сила — я знаю! И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, — нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка... Это общее место. И если хочешь — я даже тебя понимаю и оправдываю... Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение

подавленное, сердитое, скверное... Нужно на ком-нибудь сорвать злость — на мне или на другом — все равно! Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения — я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь. «Понять, — сказал философ, — значит, простить».

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.

— Что с тобой, папа? Что ты делаешь?

— Секи ты меня; что уж там! — сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.

Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное — ни более ни менее как сонное видение чиновника Плешихина...

Заснул чиновник — и пригрезилось.

И однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими — как умные детишки отсталого чиновника...

Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.

БЛИНЫ ДОДИ

Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год — он для всех Додя, и больше ничего.

И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой Додя, будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:

— Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?

И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остро-любопытную область жизни взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!..» О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.

— Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это нехорошо.

— О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женечки-то!) Петровна.

Однако все это в будущем. А пока Доде — шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).

* * *

Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному; в восторге от всего сладкого, ненавидит горькое; любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти... С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают, но и противоположное ощущение — ласки близких ему людей — вызывает в нем отвращение.

Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную соломку и стал рассеянно откусывать кусок за куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.

Додя отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борющегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека:

— Пусс... ти, дура! Ос... ставь, дура!

Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга.

Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои.

Однако справедливость требует отметить, что молодой человек в конце концов добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Додя. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: «Оставь, дура», а тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековечной мужской участи...

Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он — страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но, увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: «Хочу, чтобы дом был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городового, Додя, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь была моя; чтобы снег был мой; чтобы городовой был мой».

Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Додина мать сказала отцу: «А знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени», — Додя сейчас же прошептал себе под нос: «Хочу, чтобы у меня были камни в печени».

Славный, бескорыстный ребенок.

* * *

Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему: «Завтра у нас будут блины...» — Додя не преминул подумать: «Хочу, чтобы блины были мои», — и спросил вслух:

— А что такое блины?

— Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?

Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год — это что-то такое громадное, монументальное, что как Монблан заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти монбланы все уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок, увенчанный каменной плитой да покосившимся крестом.

Год жизни наглухо заслонил от Доди прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься?

Может, это народ такой — блины? Ничего в конце концов неизвестно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать блины, искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой.

Этого показалось ему мало.

— Я люблю тебя, Марья, — признался он дрожащим голосом.

— Ну, ну. Ишь какой ладный мальчушечка.

— Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?

Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.

И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:

— А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.

— А блины-то... будут?

— А для чего же опару ставлю!

— Ну, то-то.

Уходя, подкрепил на всякий случай:

— Ты красивая, Марья.

* * *

Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении...

Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра... Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота — эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. («Гм!.. Соленое».)

А впереди еще блины — это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.

«Посмотрим, посмотрим, — думает Додя, бродя вокруг стола. — Что это там у них за блины такие...»

Собираются гости...

Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений.

Сбивает его с толку поведение гостей.

— Анна Петровна — семги! — настойчиво говорит мама.

— Ах, что вы, душечка, — ахает Анна Петровна. — Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем!

«Дура», — решает Додя.

— Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?

— Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.

«Дурак!» — удивляется про себя Додя.

— Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..

«Врешь, — усмехается Додя. — Он ел больше всех. Я видел».

— Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.

«Сумасшедшая какая-то, — вздыхает Додя. — Хочу, чтоб сардинки были мои...»

Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.

«Ишь ты, — думает Додя. — Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохля».

Подают знаменитые долгожданные блины.

Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.

— Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?..

— Бли... ны...

— Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?

— Такие... круглые...

— Господи... Так что же из этого? Обрежу тебе их по краям — будут четырехугольные...

— И со сметаной...

— Так можно без сметаны, чудачина ты!

— Так они тестяные!

— А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?

— И... не сладкие.

— Хочешь, я тебе сахаром посыплю?

Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти тупоголовые дураки, что Доде блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить.

Плачет Додя.

Боже! Как это все красиво, чудесно началось — все, начиная от опары и вкусного блинного чада, — и как все это пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.

* * *

Гости разошлись.

Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:

— Ну ты... блиноед африканский... Наплакался?

И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость:

— А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича оскорбление действием.

И, подымая отяжелевшие веки, с усилием шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:

— Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.

Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом...

РЕСТОРАН «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ»

Глава первая ОТКРЫТИЕ

Недавно, плывя по ленивому венецианскому каналу на ленивой гондоле, управляемой ленивым грязноватым парнем, я подумал от нечего делать:

— Что, если бы судьба занесла моего отца в Венецию? Какую бы торговлю открыл этот неугомонный купец, этот удивительный беспокойный коммерсант?

И тут же мгновенно ответил сам себе:

— Торговлю лошадиной упряжью открыл бы мой отец. И если бы через месяц он ликвидировал предприятие за отсутствием покупателей, то его коммерческая жизнь потянула бы его на другое предприятие: торговлю велосипедами.

О, Боже мой! Есть такой сорт неудачников, который всю жизнь торгует на венецианских каналах велосипедами.

История ресторана «Венецианский карнавал», этого странного чудовищного предприятия, до сих пор стоит передо мною во всех подробностях, хотя прошло уже двадцать четыре года с тех пор, — как быстро несемся мы к могиле...

Я был тогда настолько мал, что все люди казались мне значительными, громадными, достойными всяческого уважения и преклонения, и значительнее и умнее всех казался мне отец, несмотря на то что к тому времени три бакалейных магазина его сгорели или прогорели — я в те годы не мог уяснить себе разницы между этими двумя почти одинаковыми словами.

Глухие разговоры об открытии ресторана начались среди взрослых давно, и чем дальше, тем больше росла и укреплялась эта идея. Мне трудно проследить полное ее развитие и начало осуществления, потому что в воспоминаниях детства часто, на каждом шагу, встречаются черные зияющие провалы, которые ослабевшая память не может ничем засыпать... Лучше уж обходить эти бездны, не пытаясь исследовать их туманную глубину, а то еще завязнешь и не выберешься на свежий воздух.

Основание ресторана «Венецианский карнавал» я считаю с того момента, когда стекольщик подарил мне кусок оконной замазки, которая целиком пошла на заделывание замочных скважин в дверях. Как член нашей деятельной семьи, я хотел этой работой внести свою скромную лепту в общее строительство, но меня поколотили, и я до вечера просидел в углу за печкой, следя за остатком замазки, прилипшей к башмаку моего отца и весело носившейся с ним из угла в угол...

Вот — замазка на башмаке отца, запах краски и растерянное лицо матери — это и было начало «Венецианского карнавала».

Открывая «Карнавал», отец, очевидно, искал новые пути. Несколько уже существовавших ресторанов группировались в центре на главных улицах нашего городка, и влачили они прежалкое существование, а отец выбрал для своего предприятия окраину — одну из бесчисленных «продольных», кольцом опоясавших центр маленького черноморского городка.

Мать возражала:

— Вот глупости! Ну кто пойдет сюда? Что за чушь! Ведь это форменная слободка.

Отец дружески хлопал ее по руке:

— Ничего... Будущее покажет.

Мне очень понравились большая прохладная комната, сплошь уставленная белоснежными столами, солидный буфет и прилавок, украшенный бутылками и вкусными засеками.

Глава вторая
ПЕРСОНАЛ «ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА»

Штат прислуги был невелик (отец предполагал значительно увеличить его на будущее время) — слуга Алексей, повар и поваренок.

Алексей обворожил меня своей особой: от него так вкусно пахло потом здорового, сильного парня, он был так благожелательно ленив, так безумно храбр, так ловко воровал у отца папиросы, что мечтой моей жизни сделалось — быть во всем на него похожим, а впоследствии постараться заполучить себе такое же местечко, которое он занимал теперь с присущим ему одному презрительным шиком. Я любовался его длинными кривыми ногами и мечтал: «Ах, когда-то еще у меня будут такие длинные кривые ноги», терся об его выгоревший засаленный пиджак и думал: «Сколько еще лет нужно ждать, чтобы моя курточка приняла такой приятный уютный вид». Да! Это был настоящий человек.

— Алексей! — спрашивал я, положив голову на его живот (обыкновенно мы забирались куда-нибудь в чулан со съестным или на диван в пустынной бильярдной и, лежа в удобных позах, с наслаждением вели длинные разговоры). — Алексей! Мог бы ты поколотить трех матросов?

— Я? Трех?

Презрительная, красиво-наглая мина искажала его лицо.

— Я пятерых колотил по мордасам.

— А что же они?

— Да что ж... убежали.

— А разбойники страшнее?

— Разбойники? Да чем же страшнее? Только что людей режут, а то такие же люди, как и мы с тобой.

— Ты бы мог их поубивать?

Он усмехался прекрасными толстыми губами (никогда у меня не будет таких прекрасных губ — печально думал я):

— Да уж получили бы они от меня гостинец...

— А ты кого-нибудь убивал?

— Да... бывало... — Зевота и плевок прерывали его речь (прекрасная зевота! чудесный неподражаемый плевок!). — В Перекопе четырех зарезал.

Это чудовищное преступление леденило мой мозг. Что за страшная личность! Что ему, в сущности, стоит зарезать сейчас и меня, беспомощного человечка.

— А знаешь, Алексей, — говорю я, гладя заискивающе его угловатое плечо, — я у папы для тебя выпрошу сегодня двадцать папиросок.

— Просить не надо, — рассудительно качает головой этот худощавый головорез. — Лучше украдь потихоньку.

— Ну, украду. — А что, Алексей, если бы тебя кто-нибудь обидел... Что бы ты...

— Да уж разговор короткий был бы...

— Убил бы? Задушил?

— Как щененка. Одной рукой.

Он цинично смеется. У меня по спине ползет холодок:

— А папа... Ну, если бы, скажем, папа отказал тебе от места?

— А что ж твой папа? Бриллиантовый, что ли? Туда ему и дорога.

После такого разговора я целый день бродил, как потерянный, нося в сердце безмерную жалость к обреченному отцу. О, Боже! Этот большой высокий человек все время ходил по краю пропасти и даже не замечал всего ужаса своего положения. О, если бы суровый Алексей смягчился...

Повар Никодимов, изгрызенный жизнью старичок, был человек другого склада: он был скептик и пессимист.

— К чему все это? — говаривал он, сидя на скамеечке у ворот.

— Что такое? — спрашивал собеседник.

— Да это... все.

— Что все?

— Вот это: деревья, дома, собаки, пароходы?

Собеседник бывал озадачен.

— А... как же?

— Да никак. Очень просто.

— Однако же...

— Чего там, однако, «однако же»! Глупо. Я, например, Никодимов. Да, может быть, я желаю быть Альфредом?! Что вы на это скажете?

— Не имеете права.

— Да? Мерси вас за вашу глупость. А они, значит, имеют право свое это ресторанное заведение назвать «Венецианский карнавал»? Почему? Что такое? Где карнавал? Почему венецианский? Бессмысленно. А почему, например, я в желе не могу соли насыпать? Что? Невкусно? А почему в суп — вкусно? Все это не то, не то и не то.

В глазах его читалась скорбь.

Однажды мать подарила ему почти новые отцовские башмаки. Он взял их с благодарностью. Но, придя в свою комнату, поставил на стол подарок и застонал:

— Все это не то, не то и не то!

Пахло от него жареным луком. Если Алексея я любил и гордился им, если к Никодиму был равнодушен, то поваренка Мотьку ненавидел всем сердцем. Этот мальчишка оказывался всегда впереди меня, всегда на первом месте.

— А что, Мотька, — самодовольно сказал я однажды, — мне мама дала сегодня рюмку водки на зуб подержать — у меня зуб болел. Прямо огонь!

— Подумаешь — счастье! Я иногда так нарежусь водкой, как свинья. Пьешь, пьешь, чуть не лопнешь. Да и вообще, я веду нетрезвый образ жизни.

— Да? — равнодушно сказал я, скрывая бешеную зависть (где он подцепил такую красивую фразу?). — А я нынче пробовал со ступенек прыгать — уже с четвертой могу.

— Удивил! — дерзко захохотал он. — Да меня анадысь кухарка так сверху толкнула, что я все ступеньки

пересчитал. Морду начисто стер. Что кровищи вышло — страсть!

Положительно, этот ребенок был неуязвим.

— Мой отец, — говорил я, напряженно шаркая ногой по полу, — поднимает одной рукой три пуда.

— Эге! Удивил! А у меня отца и вовсе нет.

— Как нет? А где же он?

— Нет и не было. Одна мать есть. Что, взял?

— А чем же лучше, если отца нет? По-моему, хуже...

— Ах ты, кочерыжка! Тебя-то иногда отец за ухо дернет, а меня накося! Никакой отец не дернет.

Этот поваренок умел устраиваться в жизни. Никогда мне не случалось видеть человека, который бы жил с таким комфортом и так независимо, как этот поваренок.

Однажды я признался ему, что не люблю его.

— Удивил! — захохотал он. — А я не только тебя не люблю, но плевать хотел и растереть.

Я молча ушел и про себя решил: лет через тридцать, когда я выросту, этот мальчишка вылетит из нашего дома.

Глава третья
ТОРГОВЛЯ

В первый день на открытии ресторана было много народа: священник, дьякон, наши друзья и знакомые. Все ели, пили и, чокаясь, говорили:

— Ну... дай Бог. Как говорится.

— Спасибо, — повторял, кланяясь всем, растроганный отец. — Ей-Богу, спасибо.

Я сидел возле него, и знакомые спрашивали:

— Ну, как ты поживаешь? Прехорошенький мальчишка! Славный ребенок.

Они целовали меня и трепали по щеке.

«Ага, — рассуждал я, — раз я такой хороший — можно от них кое-что и подцепить».

Когда отец ушел распорядиться насчет вина, я обратился к толстому купцу, который называл меня «славным мужчиной и наследником».

— Дайте мне сардинку, которую вы кушаете.

— Я тебе дам такую сардинку, — прошептал купец, — что ты со стула слетишь.

Худая благожелательная дама, назвавшая меня достойным ребенком, ела икру.

— Можно мне кусочек?.. — обратил я на нее молящий взор.

— Пошел вон, дурак. Проси у матери.

«Ловкая, — подумал я. — А если я уже получил у матери?»

Пришел отец.

— Ну, — сказал толстый купец. — Теперь за здоровье вашего наследника. Дай Бог, как говорится.

Я почувствовал себя героем.

— А что, — сказал я поваренку после обеда, — а они за мое здоровье пили.

— Удивил, — пожал плечами этот неуязвимый мальчишка, — да мне вчера мать чуть голову не разбила водочной бутылкой — и то ничего.

На другой день ресторан открыли в 12 часов дня. Было жаркое лето, и пустынная улица с рядом мелких домишек дремала в горячей пыли. Отец сидел на крыльце и читал газету. В половине третьего встал, полюбовался на вывеску «Венецианский карнавал» и пошел распорядиться насчет обеда.

В этот день в «Венецианском карнавале» не было ни одного гостя.

— Ничего, — сказал отец вечером, — еще не привыкли.

— Да кому же привыкать, — возразила мать. — Тут ведь и народу нет.

— Зато и конкуренции нет! А в центре эти рестораны, как сельди в бочке. И жалко их, и смешно.

На второй день в три часа пополудни в ресторан зашел неизвестный человек в форменном картузе. Все пришло в движение: Алексей схватил салфетку и стал бегать по ресторану, размахивая ею, как побежденные белым флагом. Отец, скрывая прилив радости, зашел солидно за прилавок, а сестренка помчалась на кухню предупредить повара, что «каша заваривается».

— Чем могу служить? — спросил отец.

— Не найдется ли разменять десять рублей? — спросил незнакомец.

Ему разменяли, и он ушел.

— Уже заходят, — сказал отец. — Хороший знак. Начинают привыкать.

И его взгляд задумчиво и выжидательно бродил по пыльной улице, по которой шатались пыльные куры, ребенок с деревянной ложкой в зубах и голыми ногами да тащился, держась за стены, подвыпивший человек, очевидно, еще не привыкший к нашему «Карнавалу» и накачавший себя где-либо в центре или на базаре...

Улица дремала, и только порывистый Мотька, мчавшийся из мелочной, оживлял пейзаж.

— Мотька, — остановил я его, — меня скоро учить начнут. Что, съел?

— Удивил! — захихикал он. — А меня не будут совсем учить. Это, брат, получше.

Этот поваренок даже пугал меня своей увертливостью и уменьем извлечь выгоду из всего...

Только на третий день бог Меркурий и бог Вакх сжалились над моим отцом и спустились на землю в виде двух чрезвычайно застенчивых юношей, собравшихся вести разгульную, порочную жизнь.

Эти юноши зашли в «Венецианский карнавал» уже вечером и, забившись в уголок, потребовали себе графинчик водки и закуски «позабористее».

Отец держался бодро, но втайне был потрясен, а Алексей так замахал белой салфеткой, что самый жестокий победитель был бы тронут и отдал бы приказ прекратить бомбардировку крепости.

Когда показалась в дверях не верившая своим глазам мать, отец подмигнул ей и засмеялся счастливым смехом:

— А что?! Вот тебе и трущоба!

Все население «Венецианского карнавала» высыпало в зал, чтобы полюбоваться на диковинных юношей. Сестренки прятались в складках платья матери, повар Никодим высовывал из дверей свою худую физиономию, забыв о заказанных битках, а Мотька за его спиной таращил глаза так, будто бы в ресторан забрели попировать двое разукрашенных перьями индейцев.

Юноши, заметив ту сенсацию, которую они вызвали, отнесли ее на счет своих личных качеств и приободрились.

Один откашлялся, передернул молодцевато плечами и сказал другому не совсем натуральным басом:

— А что, не шарахнуть ли нам по лампадочке?

Другой согласился с тем, что шарахнуть самое подходящее время, и оба выпили водки с видом людей, окончательно махнувших рукой на спасение грешной души в будущей жизни.

Вторую рюмку, по предложению младшего юноши, «саданули», третью «вдолбили»; и так они развлекались этой невинной игрой до тех пор, пока графинчик не опустел, а юноши — не наполнились до краев.

Отец приблизился к ним, дружелюбно хлопнул старшего по плечу и сказал:

— Ах, господа! Я так вам благодарен... Вы, так сказать, кладете основание... Почин, как говорится, дороже денег. Разрешите мне по этому случаю угостить вас бутылочкой вина за мой счет.

Старший юноша не прекословил. Кивнул головой и сказал:

— Царапнем. Как ты думаешь?

Младший согласился с тем, что «рассосать» бутылочку вина «недурственно».

Он показался мне тогда образцом благодушия, веселья и изящного балагурства.

Юноши выпили вино, и, когда спросили счет за съеденное и выпитое раньше, отец категорически воспротивился этому.

— Ни за что я этого не позволю, — твердо сказал он. — Будем считать, что вы мои гости.

— Да как же так, — простонал младший, хватаясь за воспаленную голову. — Это как будто не того...

— Мм... да-с, — поддержал старший. — Оно не совсем «фельтикультяпно».

Отец, наоборот, нашел в своем поступке все признаки этого джентльменского понятия, и юноши, одарив Алексея двугривенным, ушли, причем походка их поразила меня своей сложностью и излишеством движений. Два ряда столов показывали им прямой фарватер, выводивший на широкое открытое море — на улицу, но юноши, как два утлых суденышка, потерявших руль, долго носились и кружились по комнате, пока один не сел на мель, полетев с размаха на стол, а другой, пытаясь взять его на буксир, рухнул рядом.

Мощный Алексей снял их с мели, вывел на улицу, и они поплыли куда-то вдаль, покачиваясь и стукаясь боками о стены...

Глава четвертая
ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ

Лето прошло, и осень раскинула над городом свое серое, мокрое крыло. Пыль на нашей улице замесилась в белую липкую грязь, дождь постукивал в оконные стекла, в комнатах было темно, неуютно, и казалось, что мир уже кончается и жить не стоит, что над всем пронеслись упадок и смерть.

Память моя сохранила лица и наружность всех посетителей, перебывавших в «Карнавале»... С начала его основания их было человек семь: два старых казначейских чиновника, хромой провизор, околоточный, управский служащий, помещик Терещенко, у которого сломалась бричка как раз против нашего ресторана, и неизвестный рыжеусый человек, плотно пообедавший и заявивший, что он забыл деньги дома в кармане другого пиджака. Этот человек так и не принес денег: я решил, что или у него сгорел дом, или воры украли пиджак, или попросту его укокошили разбойники. И мне было искренне жаль рыжеусого неудачника.

... Был особенно грустный день. Ветер рвал последние листья мокрых облезлых уксусных деревьев, уныло высовывавшихся из-за грязных дощатых заборов. Улица была пустынна, мертва, и двери «Карнавала», которые так гостеприимно распахивались летом, теперь были плотно закрыты, поднимая адский визг, когда кто-либо из нас бепокоил их.

Я сидел с Алексеем в пустой бильярдной и, куря папиросу, изготовленную из спички, обернутой бумагой, слушал.

— И вот, братец мой, приходит ко мне генерал и говорит: «Вы будете Алексей Дмитрич Моргунов?» — «Так точно, я. Садитесь, пожалуйста». «Ничего, — говорит. — Я и постою. А только, — говорит, — такое дело, что моя дочка вас видела и влюбилась, а я вас прошу отступиться». — «Чего-с? Не желаю!» «Я вам, — говорит, — дом подарю, пару лошадей и десять тысяч!» «Не нужно, — говорю, — мне

ни золота вашего, ни палат, потому что это у вас наворовано, а дочка ваша должна нынче же ко мне притить!» Видал? Вот он и говорит: «А я полицеймейстеру заявлю о таком вашем деле». — «Да сделай милость. Хучь самому околоточному». Взял его за грудки да и вывел, несмотря что генерал. Ну, хорошо. Приезжает полицеймейстер. «Вы Алексей Моргунов?» — «А тебе какое дело?» «Такое, — говорит, — что на вас жалоба». «Один дурак, — говорю, — жалуется, другой слушает». «Отступитесь, — говорит, — Алексей Дмитрич. А то, — говорит, — добром не кончится». — «Чего-с? Ах ты, селедка полицейская». «Прошу, — говорит, — не выражаться, а то взвод городовых пришлю и дело все закончу». «Присылай», — говорю. Схватил его за грудки да в дверь. Ну, хорошо. Приезжает взвод, ружья наголо — прямо ко мне!..

Сердце мое замерло... Я знал храбрость этого молодца, был уверен в его диком неукротимом мужестве и свирепости, но страшные слова «ружья наголо» и «взвод» потрясли меня. Я посмотрел на него с тайным ужасом, замер от предчувствия самого страшного и захватывающего в его героической борьбе с генералом, но в это время скрипнула дверь... вошел отец. Он был суров и чем-то расстроен...

— Вот ты где, каналья, — проворчал он. — Мне это надоело. Целые дни валяешься по диванам, воруешь папиросы, а на столах в ресторане на целый палец пыли. Получай расчет и уходи подобру-поздорову.

Сердце мое оборвалось и покатилось куда-то. Я вскрикнул и закрыл лицо руками... Вот оно! Только бы не видеть, как этот страшный, безжалостный забияка будет резать отца, так неосторожно разбудившего в нем зверя. Только бы не слышать стонов моего несчастного родителя!

Алексей спрыгнул с дивана, выпрямился, потом наклонился и, упав на колени, завопил плачущим голосом:

— Вот чтоб я лопнул, если брал папиросы. Чтоб меня разорвало, если я не стирал пыли нынче утром! Только две папиросочки и взял! Что ж его, стирать пыль, если все равно уже неделя как никто в ресторан не идет. Простите меня — я никогда этого не сделаю! Извините меня!

О, чудо! Этот сокрушитель генералов и полицейместеров хныкал, как младенец.

— Я исправлюсь! — кричал он, бегая за отцом на коленях, с проворством и искусством, поразившими меня. — Я и не курю вовсе! Да и пыли-то вовсе нет!

— Э, все один черт, — устало сказал отец. — Я закрываю ресторан. Наторговались.

Глава пятая
ЛИКВИДАЦИЯ

...Ряд столов, с которых были содраны скатерти, напоминал аллею надгробных плит... Драпировки висели пыльными клочьями — впрочем, скоро и их содрал бойкий, чрезвычайно разговорчивый еврей. Уже не пахло так весело и обещающе замазкой и масляной краской — в комнатах стоял запах пыли, пустоты и смерти.

В темной столовой наша семья доедала запасы консервов и паштетов, какие-то мрачные, зловещие, выползшие из неведомых трущоб родственники с карканьем пили из стаканов вино — остатки погреба «Венецианского карнавала», — а в кухне повар Никодимов сидел на табуретке с грязным узелком в руках и шептал саркастически:

— Все это не то, не то и не то!..

Посуда была свалена в кучу в темном углу, а Мотька сидел верхом на ведре и чистил картофель — больше для собственной практики и самоуслаждения, чем по-необходимости.

Я бродил среди этого разгрома, закаляя свое нежное детское сердце, и мне было жалко всего — Никодимова, скатертей, кастрюль, драпировок, Алексея и вывески, потускневшей и осунувшейся.

Отец позвал меня.

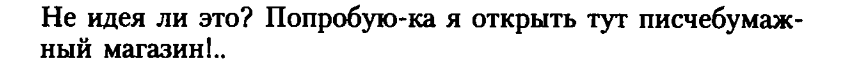
— Сходи, купи бумаги и больших конвертов. Мне нужно кое-кому написать.

Я оделся и побежал. Вернулся только через полчаса.

— Почему так долго? — спросил отец.

— Да тут нигде нет! Все улицы обегал... Пришлось идти на Большую Морскую. Прямо ужас.

— Ага... — задумчиво прошептал отец. — Такой большой район, и ни одного писчебумажного магазина. — А... гм...


Не идея ли это? Попробую-ка я открыть тут писчебумажный магазин!..

....

— А что, — говорил я Мотьке вечером того же дня. — А отец открывает конверточный магазин.

— Большая штука! — вздернул плечами этот анафемский поваренок. — А моя матка отдает меня к сапожнику. Сапожник, брат, как треснет колодкой по головешке — так и растянешься. Какой человек слабый — то и сдохнет. Это тебе не конверты!

И в сотый раз увидел я, что ни мне, ни отцу не угнаться за этим практическим ребенком, который так умело и ловко устраивал свои делишки..........................

....

ГАЛОЧКА

Однажды в сумерки весеннего, кротко умиравшего дня к Ирине Владимировне Овраговой пришла девочка двенадцати лет Галочка Кегич.

Сняв в передней верхнюю серую кофточку и гимназическую шляпу, Галочка подергала ленту в длинной русой косе, проверила, все ли на месте, и вошла в неосвещенную комнату, где сидела Ирина Владимировна.

— Где вы тут?

— Это кто? А! Сестра своего брата. Мы с вами немного ведь знакомы. Здравствуйте, Галочка.

— Здравствуйте, Ирина Владимировна. Вот вам письмо от брата. Хотите, читайте его при мне, хотите — я уйду.

— Нет, зачем же; посидите со мной, Галочка. Такая тоска... Я сейчас.

Она зажгла электрическую лампочку с перламутровым абажуром и при свете ее погрузилась в чтение письма.

Кончила...

Рука с письмом вяло, бессильно упала на колени, а взгляд мертво и тускло застыл на освещенном краешке золоченой рамы на стене.

— Итак — все кончено? Итак — уходить?

Голова опустилась ниже.

Галочка сидела, затушеванная полутьмой, вытянув скрещенные ножки в лакированных туфельках и склонив голову на сложенные ладонями руки.

И вдруг в темноте звонко — как стук хрустального бокала о бокал — прозвучал ее задумчивый голосок:

— Удивительная это штука — жизнь.

— Что-о? — вздрогнула Ирина Владимировна.

— Я говорю: удивительная штука — наша жизнь. Иногда бывает смешно, иногда грустно.

— Галочка! Почему вы это говорите?

— Да вот смотрю на вас и говорю. Плохо ведь вам небось сейчас.

— С чего вы взяли...

— Да письмо-то это, большая радость, что ли?

— А вы разве... Знаете... содержание письма?

— Не знала бы, не говорила бы.

— Разве Николай показывал вам?

— Колька дурак. У него не хватит даже соображения поговорить со мной, посоветоваться. Ничего он мне не показывал. Я хотела было из самолюбия отказаться снести письмо, да потом мне стало жалко Кольку. Смешной он и глупый.

— Галочка... Какая вы странная... Вам двенадцать лет, кажется, а вы говорите, как взрослая.

— Мне вообще много приходится думать. За всех думаешь, заботишься, чтоб всем хорошо было. Вы думаете, это легко?

Взгляд Ирины Владимировны упал на прочитанное письмо, и снова низко опустилась голова.

— И вы тоже, миленькая, хороши! Нечистый дернул вас потепаться с этим ослом Климухиным в театр. Очень он вам нужен, да? Ведь я знаю, вы его не любите, вы Кольку моего любите — так зачем же это? Вот все оно так скверно и получилось.

— Значит, Николай из-за этого... Боже, какие пустяки! Что же здесь такого, если я пошла в театр с человеком, который мне нужен, как прошлогодний снег.

— Смешная вы, право. Уже большой человек вы, а ничего не смыслите в этих вещах. Когда вы говорите это мне, я все понимаю, потому что умная и, кроме того, девочка. А Колька большой ревнивый мужчина. Узнал — вот

и полез на стену. Надо бы, кажется, понять эту простую штуку...

— Однако он мне не пишет причины его разрыва со мной.

— Не пишет ясно почему: из самолюбия. Мы, Кегичи, все безумно самолюбивы.

Обе немного помолчали.

— И смешно мне глядеть на вас обоих и досадно. Из-за какого рожна, спрашивается, люди себе кровь портят? Насквозь вас вижу: любите друг друга так, что аж чертям тошно. А мучаете один другого. Вот уж никому этого не нужно. Знаете, выходите за Кольку замуж. А то прямо смотреть на вас тошнехонько.

— Галочка! Но ведь он пишет, что не любит меня!..

— А вы и верите? Эх, вы. Вы обратите внимание: раньше у него были какие-то там любовницы...

— Галочка!

— Чего там — Галочка. Я, слава Богу, уже 12 лет Галочка. Вот я и говорю: раньше у него было по три любовницы сразу, а теперь вы одна. И он все время глядит на вас, как кот на сало.

— Галочка!!

— Ладно там. Не подумайте, пожалуйста, что я какая-нибудь испорченная девчонка, а просто я все понимаю. Толковый ребенок, что и говорить. Только вы Кольку больше не дразните.

— Чем же я его дразню?

— А зачем вы в письме написали о том художнике, который вас домой с вечера провожал? Кто вас за язык тянул? Зачем? Только чтобы моего Кольку дразнить? Стыдно! А еще большая!

— Галочка!.. Откуда вы об этом письме знаете?!

— Прочитала.

— Неужели Коля...

— Да, как же! Держите карман шире... Просто открыла незапертый ящик и прочитала...

— Галочка!!!

— Да ведь я не из простого любопытства. Просто хочу вас и его устроить, с рук сплавить просто. И прочитала, чтобы быть... как это говорится? В курсе дела.

— Вы, может быть, и это письмо прочитали?

— А как же! Что я вам, простой почтальон, что ли? Чтобы втемную письма носить?.. Прочитала. Да вы не беспокойтесь! Я для вашей же пользы это... Ведь никому не разболтаю.

— А вы знаете, что читать чужие письма неблагородно?

— Начихать мне на это. Что с меня можно взять? Я маленькая. А вы большой глупыш. Обождите, я вас сейчас поцелую. Вот так. А теперь — надевайте кофточку, шляпу — и марш к Кольке. Я вас отвезу.

— Нет, Галочка, ни за что!

— Вот поговорите еще у меня. Уж вы, раз наделали глупостей, так молчите. А Колька сейчас лежит у себя на диване носом вниз и киснет, как собака. Вообразите — лежит и киснет. Вдруг — входите вы! Да ведь он захрюкает от радости.

— Но ведь он же мне написал, что...

— Чихать я хотела на его письмо. Ревнивый этот самый Колька, как черт. Наверное, и я такая же буду, как вырасту. Ну, не разговаривайте. Одевайтесь! Ишь ты! И у вас вон глазки повеселели. Ах вы, мышатки мои милые!..

— Так я переоденусь только в другое платье...

— Ни-ни! Надо, чтобы все по-домашнему было. Это уютненькое. Только снимите с волос зеленую бархатку, она вам не идет... Есть красная?

— Есть.

— Ну, вот и умница. Давайте, я вам приколю. Вы красивая и симпатичная... Люблю таких. Ну, поглядите теперь на меня... Улыбнитесь! То-то. А Кольке прямо, как придете, так и скажите: «Коля, ты дурак». Ведь вы с ним на ты, я знаю. И целуетесь уже. Раз видела. На диванчике. Женитесь, ей-Богу, чего там.

— Галочка! Вы прямо необыкновенный ребенок.

— Ну да! Скажете тоже. Через четыре года у нас в деревне нашего брата уже замуж выдают, а вы говорите ребенок. Охо-хо!.. Уморушка с вами. Духами немного надушитесь — у вас хорошие духи, — и поедем. Дайте ему слово, что вы плевать хотели на Климухина, и скажите Кольке, что он самый лучший. Мужчины любят это. Готовы, сокровище мое? Ну, айда к этой старой крысе!

«Старая крыса», увидев вошедшую странную пару, вскочил с дивана и, растерянный, со скрытым восторгом во взоре, бросился к Ирине Владимировне.

— Вы?!.. У меня?.. А письмо... получили?..

— Чихать мы хотели на твое письмо, — засмеялась Галочка, толкая его в затылок. — Плюньте на все и берегите здоровье. Поцелуйтесь, детки, а я уже смертельно устала от этих передряг.

Оба уселись рядом на диване и рука к руке, плечо к плечу — прильнули друг к другу.

— Готово? — деловым взглядом окинула эту группу с видом скульптора-автора Галочка. — Ну, а мне больше некогда возитьея с вами. У меня, детки, признаться откровенно, с арифметикой что-то неладно. Пойти подзубрить, что ли. Благословляю вас и ухожу. Кол-то мне из-за вас тоже, знаете, получать не расчет...

СТРАШНЫЙ МАЛЬЧИК

Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.

Широким полем расстилается умилительное детство — безмятежное купание с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатании по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, «большая перемена» в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцать, сорок раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка тонка, а Ока широка» или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише», переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый сладкий сердцу запах непроветренного класса — запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весен-

ним солнышком, по протоптанным среди густой грязи, полупросохшим, упругим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы, и, наконец, среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт, кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.

Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на Ваньку Аптекаренка, а я в пугливом кротком сердце моем окрестил его Страшным Мальчиком.

Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах совершенно неисследованных — в нагорной части Цыганской слободки; носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посредине самым вкусным образом.

Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.

Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека или двух или трех, он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.

Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами... Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот — и так далее.

Если же на него напали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто, в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.

Вот что это был за человек — Аптекаренок.

Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?

* * *

Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купанья на «Хрусталке», или бродил с товарищем по Историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда, по неведомым делам, все время налет тайного неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренок в поисках своих жертв... Вдруг он поймает меня и изобьет меня вконец — «пустит юшку», по его живописному выражению.

Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились...

Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:

— Ты чего на нашей улице задавался?

Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:

— Я... не задавался.

— А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?

— Я не отнял их. Он их проиграл.

— А кто ему по морде дал?

— Так он же не хотел отдавать.

— Мальчиков на нашей улице нельзя бить, — заметил Аптекаренок и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:

— А ты... (это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи) ... А ты что? Может, тоже хочешь получить?

— Нет, — пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекаренка. — За что же... Я ничего.

Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.

— Я до тебя давно добираюсь... Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!

«Все знает проклятый мальчишка», — подумал я. И спросил, осмелев:

— А на что они тебе... Ведь это не твои.

— Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана — лучше бы тебе и на свете не родиться.

Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.

Страшно жить на свете маленькому человеку.

* * *

Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту.

Ходил он всегда один, несмотря на то что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла.

Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно

притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.

А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания:

— Братцы! А ну, покажем ему «рака».

В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала — так хорошо проклятый Аптекаренок умел делать «рака».

Столпившиеся темные поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец... И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:

— Рак! Рак!

— Смотри, рак! Черт знает какой агромадный! Ну и штука же!

— Вот так рачище!.. Гляди, гляди — аршина полтора будет.

Мужичище — какой-нибудь булочник, или пекарь, или грузчик в гавани, — конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь «колодца».

А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».

Целый фонтан — нечто вроде смерча — взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.

Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик — одетый и после «рака» начинал напоминать вытащенного из воды утопленника.

Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то под-

водные ворота и выплыть на широкую гладь бухты — мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.

* * *

Пятнадцати лет от роду мы все начали «страдать».

Это совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже южное арго) было:

— Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?

— За Маней Огневой. А ты?

— А я еще ни за кем.

— Ври больше. Что же ты дрюгу боишься сказать, чтолича?

— Да мине Катя Капитанаки очень привлекаеть.

— Врешь?

— Накарай мине господь.

— Ну, значить, ты за ней стрядаешь.

Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Капитанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство.

После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц.

Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.

Страшный Юноша, Аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:

— Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?

— Гуляю... — ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.

— Чиво ж ты гуляешь?

— Да так себе.

Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.

— А ты за кем стрядаешь?

— Да не за кем..

— Ври!

— Накарай меня госп...

— Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?

И тут сердце мое сладко сжалось; когда я выдал свою сладкую тайну:

— За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.

— Ну, это можно.

Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце.

Помолчав, спросил:

— А ты знаешь, за кем я сгрядаю?

— Нет, Аптекаренок, — ласково сказал я.

— Кому Аптекаренок, а тебе дяденька, — полушутливо-полусердито проворчал он. — Я, братец ты мой, страдаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я стрядал (произносить «я» вместо «а» — был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то...

Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.

— Видал? А так ничего, гуляй. Что ж... всякому стрядать приятно.

Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.

* * *

12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос:

— Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого.

Я с недоумением поглядел на него и спросил:

— Вы это мне?

— Так-то, не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься ты на нашей улице — узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.

— Аптекарев?!

Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

— Милый Аптекаренок? Офицер?

— Да.

— Ранен?

— Да. (И, в свою очередь): Писатель?

— Да.

— Не ранен?

— Нет.

— То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?

— Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?

— А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.

— Почему?

— Потому что мне самому хотелось воровать.

— Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь...

— Да, брат, — усмехнулся он. — И вообразить не можешь.

— А что?

— Да вот, гляди.

И показал из-под одеяла короткий обрубок.

— Где это тебя так?

— Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого... Меньше.

Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой назад рукой слепо бросался на пятерых, — и промолчал.

Бедный Страшный Мальчик!

* * *

Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:

— За кем теперь страдаешь?

И такая жалость по ушедшему сладкому детству, по книжке «Родное слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду под акациями, по украденным пучкам сирени, — такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.

РАССКАЗ ДЛЯ «ЛЯГУШОНКА»

Редактор детского журнала «Лягушонок», встретив меня, сказал:

— Не напишете ли вы для нашего журнала рассказ?

Я не ожидал такой просьбы. Тем не менее спросил:

— Для какого возраста?

— От восьми до тринадцати лет.

— Это трудная задача, — признался я. — Мне случалось встречать восьмилетних детей, которые при угрозе отдать их бабе-яге моментально затихали, замирая от ужаса, и я знавал тринадцатилетних детишек, которые пользовались всяким случаем, чтобы стянуть из буфета бутылку водки, а при расчетах после азартной карточной игры в укромном месте пытались проткнуть ножами животы друг другу.

— Ну да, — сказал редактор. — Вы говорите о тринадцатилетних развитых детях и о восьмилетних — отставших в развитии. Нет! Рассказ обыкновенно нужно писать для среднего типа ребенка, руководствуясь приблизительно десятилетним возрастом.

— Понимаю. Значит, я должен написать рассказ для обыкновенного ребенка десяти лет?

— Вот именно. В этом возрасте дети очень понятливы, сообразительны, как взрослые, и очень не любят того сюсюканья, к которому прибегают авторы детских рассказов. Дети уже тянутся к изучению жизни! Не нужно забывать, что ребенок в этом возрасте гораздо больше знает и о гораздо большем догадывается, чем мы полагаем. Если вы

примете это во внимание, я думаю, что рассказец у вас получится хоть куда...

— Ладно, — пообещал я. — Завтра вы получите рассказ.

В тот же вечер я засел за рассказ. Я отбросил все, что отдавало сюсюканьем, старался держаться трезвой правды и реализма, который, по-моему, так должен был подкупить любознательного ребенка и приохотить его к чтению.

Редактор прочел рассказ до половины, положил его на стол и, подперев кулаками голову, изумленно стал меня разглядывать:

— Это вы писали для детей?

— Да... Приблизительно имел в виду десятилетний возраст. Но если и восьмилетний развитой мальчишка...

— Виноват!! Вот как начинается ваш рассказ:

День Лукерьи

«Кухарка Лукерья встала рано утром и, накинув платок, побежала в лавочку... Под воротами в темном углу ее дожидался разбитной веселый дворник Федосей. Он ущипнул изумленную Лукерью за круглую аппетитную руку, прижал ее к себе и, шлепнув с размаху по спине, шепнул на ухо задыхающимся голосом:

— Можно прийти к тебе сегодня ночью, когда господа улягутся?

— Зачем? — хихикнула Лукерья, толкнув Федосея локтем в бок.

— Затем, — сказал простодушный Федосей, чтобы...»

Ну, дальше я читать не намерен, потому что, я думаю, от такого рассказа вспыхнет до корней волос и солдат музыкантской команды.

Я пожал плечами.

— Мне нет дела до какого-то там солдата музыкантской команды, но живого любознательного ребенка такой рассказ должен заинтриговать.

— Знаете что? — потирая руки, сказал редактор. — Вы этот рассказ попытайтесь пристроить в «Вестнике общества защиты падших женщин», а если там его найдут слишком пикантным — отдайте в «Досуги холостяка». А нам напишите другой рассказ.

— Не знаю уж, что вам и написать. Старался, как лучше, избегал сюсюканья, как огня...

— Нет, вы напишите хороший детский рассказ, держась сферы тех интересов, которые питают ребенка десяти-одиннадцати лет. Ребенок очень любит рассказы о путешествиях — дайте ему это со всеми подробностями, потому что в подробностях для ребенка есть своеобразная прелесть. Вы можете даже не стесняться фантазировать, но чтобы фантазия была реальна — иначе ребенок ей не поверит, — чтобы фантазия была основана на цифрах, вычислениях и точных размерах. Вот что дает ребенку полную иллюзию и что приковывает его к книжке.

— Конечно, я это сделаю, — сказал я, протягивая руку редактору «Лягушонка». — Через два дня такой рассказ уже будет у вас в руках.

И я, обдумав, как следует, тему, написал рассказ:

Как я ездил в Москву

«Недавно мне пришлось съездить в Москву. В путеводителе я нашел несколько поездов и после недолгого размышления решил остановиться на отходящем ровно в 11 часов по петербургскому времени. Правда, были еще два поезда — в 7 час. 30 мин. и в 9 час. 15 мин. по петербургскому времени, но они не были так удобны. Для того чтобы попасть на вокзал, я взял извозчика, сторговавшись за 40 копеек. Ехали мы около 25 минут, и на вокзал я приехал за 16 минут до отхода поезда. Известно, что от Петербурга до Москвы расстояние 604 версты, каковое расстояние поезд проходит в 12 часов с остановками или в 10 часов без остановок, т. е. 60 верст в час. Мне досталось место № 7 в вагоне № 2...»

В этом месте редактор, читавший вслух мой рассказ о путешествии, остановился и спросил:

— Можно быть с вами откровенным?

— Пожалуйста!

— Никогда мне не приходилось читать более скучной и глупой вещи... Железнодорожное расписание — штука хорошая для справок, но как беллетристический рассказ...

— Да, рассказ суховат, — согласился я. — Но самый недоверчивый ребенок не усомнится в его правдивости. По-моему, самая печальная правда лучше красивой лжи!..

— Вы смешиваете ложь с выдумкой, — возразил редактор. — Ребенок не переносит лжи, но выдумка дорога его сердцу. И потом мальчишку никогда не заинтересует то, что близко от него, то, что он сам видел. Его тянет в загадочно-прекрасные неизвестные страны, он любит героические битвы с индейцами, храбрые подвиги, путешествия по пустыне на мустангах, а не спокойную езду в вагоне первого класса с плацкартой и вагон-рестораном. Для мальчишки звук выстрела из карабина в сто раз дороже паровозного гудка на станции Москва-товарная. Вот вам какое путешествие нужно описать!

«Вот осел, — подумал я, пожимая плечами. — Сам не знает, что ему надо».

— Пожалуй, — сказал я вслух, — теперь я понял, что вам нужно. Завтра вы получите рукопись.

На другой день редактор «Лягушонка» вертел в руках рукопись «Восемьдесят скальпов Голубого Опоссума», и на лице его было написано все, что угодно, кроме выражения восторга, на которое я имел право претендовать.

— Ну? — нетерпеливо сказал я. — Чего вы там мнетесь. Вот вам рассказ без любви, без сюсюканья, и сухости в нем нет ни на грош.

— Совершенно верно, — сказал редактор, дернув саркастически головой. — В этом рассказе нет сухости, нет, так сказать, ни одного сухого места, потому что он с первой до последней страницы залит кровью. Послушайте-ка первые строки вашего «путешествия»:

«Группа охотников расположилась на ночлег в лесу, не подозревая, что чья-то пара глаз наблюдает за ними. Действительно, из-за деревьев вышел, крадучись, вождь Голубой Опоссум и, вынув нож, ловким ударом отрезал голову крайнему охотнику.

— Оах! — воскликнул он. — Опоссум отомщен.

И, пользуясь сном охотников, он продолжал свое дело... Голова за головой отделялась от спящих тел, и скоро груда темных круглых предметов чернела, озаренная светом костра. После того как Опоссум отрезал последнюю голову, он сел

к огню и, напевая военную песенку, стал обдирать с голов скальпы. Работа спорилась...»

— Извольте видеть! — раздраженно сказал редактор. — «Работа спорилась». У вас это сдирание скальпов описано так, будто бы кухарка у печки чистит картофель. Кроме того, на следующих двух страницах у вас бизон выпускает рогами кишки мустанга, две англичанки сгорают в пламени подожженного индейцами дома, а потом индейцы в числе тысячи человек попадают в вырытую для них яму и, взорванные порохом, разлетаются вдребезги. Согласитесь сами — нужно же знать границы.

— Да что вам жалко их, что ли? — усмехнулся я. — Пусть их режут друг другу головы и взрывают друг друга. На наш век хватит. А зато ребенок получает потрясающие захватывающие его страницы.

— Милый мой! Если бы существовал специальный журнал для рабочих городской скотобойни, ваш рассказ явился бы лучшим его украшением... А ребенка после такого рассказа придется свести в сумасшедший дом. Напишите вы лучше вот что...

Я видел, что мы оба чрезвычайно опротивели друг другу. Я считал его тупоумным человеком со свинцовой головой и мозгами, работающими только по неприсутственным дням. Он видел во мне бестолковую бездарность, сказочного дурака, который при малейшем принуждении к молитве сейчас же разбивал себе лоб. Он не понимал, что человек такого исключительного темперамента и кипучей энергии, как я, не мог остановиться на полдороге, шел вперед напролом и всякую предложенную ему задачу разрешал до конца.

Я чувствовал, что мой энергичный талант был той оглоблей, которой нельзя орудовать в тесной лавке продавца фарфора.

— Напишите-ка вы, — промямлил редактор «Лягушонка», — лучше вот что...

— Стойте, — крикнул я, хлопнув рукой по столу. — Без советов! Попробую я написать одну вещицу на свой страх и риск. Может быть, она подойдет вам. Сдается мне, что я раскусил вас, почтеннейший.

Через час я подал ему четвертую и последнюю вещь. Называлась она:

Лизочкино горе

«Мама подарила Лизочке в день ангела рубль и сказала, что Лизочка может истратить его, как хочет.

Лизочка решила купить на эти деньги занятную книжку, чтобы в минуты отдыха своей мамы читать ей из этой книжки интересные рассказы для самообразования.

Лизочка оделась, вышла на улицу и, мечтая о книжке, которую она должна сейчас купить, весело шагала по тротуару.

— Милая барышня, — послышался сзади нее тихий голос. — Подайте, Христа ради. Я и моя дочка целый день не ели.

Лизочка обернулась, увидела бедную больную женщину и, не раздумывая больше, сунула ей в руку рубль.

— Нате, купите себе на эти деньги горячей пищи!

И вернувшись домой без книжки, Лизочка припала к плечу мамы и, рассказав ей о своей встрече, горько заплакала.

— Чего ты плачешь, — спросила мама удивленно. — Не оттого ли, что тебе жалко своего доброго порыва?

— Нет, мама, — отвечала благородная девочка. — Мне жалко, что я не имела трех рублей».

* * *

Ну, вот видите, — сказал редактор «Лягушонка». — Я был уверен, что в конце концов вы и напишете то, что нам нужно!

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

Гуляя по лесу, чиновник Плюмажев вышел к берегу реки и, остановившись, стал бесцельно водить глазами по тихой зеркальной поверхности воды.

Близорукий взгляд чиновника Плюмажева скользнул по другому берегу, перешел на маленькую желтую купальню и остановился на какой-то фигуре, стоящей по колена в воде и обливавшей горстями рук голову в зеленом чепчике.

«Женщина! — подумал Плюмажев и прищурил глаза так, что они стали похожи на два тоненьких тире. — Ей-Богу, женщина! И молоденькая, кажется!»

Его худые, старческие колени задрожали, и по спине тонкой струйкой пробежал холодок.

— Эх! — простонал Плюмажев. — Анафемская близорукость... Что за глупая привычка — не брать с собой бинокля.

Он протер глаза и вздохнул:

— Вижу что-то белое, что-то полосатое, а что — хоть убей, не разберу. Ага! Вон там какой-то мысок выдвинулся в воду. Сяду-ка я под кустик да подожду, может, подплывет ближе. Эх-хе!

Спотыкаясь, он взобрался на замеченную им возвышенность и только что развел дрожащими руками густую заросль кустов, как взгляд его упал на неподвижно застрявшую между зеленью веток гимназическую фуражку, продолжением которой служили блуза хаки и серые брюки.

— Ишь, шельма... Пристроился! — завистливо вздохнул Плюмажев и тут только заметил, что лежащий гимназист держал цепкой рукой черный бинокль, направленный на противоположный берег.

Гимназист обернулся, дружески подмигнул Плюмажеву и, улыбнувшись, сказал:

— А, и вы тоже!

«Подлец! Еще фамильярничает», — подумал Плюмажев и хотел оборвать гимназиста, но, вспомнив о бинокле, опустился рядом на траву и заискивающе хихикнул:

— Хе-хе! Любопытно?

— Хорошенькая! — сказал гимназист. — Одни бедра чего стоят. Колени тоже: стройные, белые! Честное слово.

— А грудь... А грудь? — дрожащими губами, шепотом осведомился Плюмажев.

— Прелестная грудь! Немного велика, но видно — очень упруга!

— Упруга?

Плюмажев провел кончиком языка по сухим губам и нетерпеливо произнес:

— Не могли бы вы... одолжить на минутку... бинокль!

Гимназист замотал головой:

— Э, нет, дяденька! Этот номер не пройдет! Надо было свой брать.

Плюмажев протянул дрожащую руку.

— Дайте! На минутку.

— Ни-ни! Даром, что ли, я его у тетки из комода утащил! Небось, если бы у вас был бинокль, вы бы мне своего не дали!

— Да дайте!

— Не мешайте! Ого-го.

Гимназист поднялся вперед и так придавил к глазам бинокль, что черепу его стала угрожать немалая опасность.

— Ого-го-го! Спиной повернулась... Что за спина! Я, однако, не думал, что у нее такой красивый затылок...

Лежа рядом, Плюмажев с деланным равнодушием отвернулся, но губы его тряслись от негодования и обиды.

— В сущности, — начал он срывающимся, пересохшим голосом, — если на то пошло — вы не имеете права подглядывать за купальщицами. Это безнравственно.

— А вы у меня просили бинокль! Тоже!.. Самому можно, а мне нельзя.

Плюмажев молчал.

— Захочу вот — и отниму бинокль. Да еще приколочу. Я ведь сильнее...

— Ого! Попробуйте отнять... Я такой крик подниму, что все дачники сбегутся. Мне-то ничего, я мальчик — ну, выдерут, в крайнем случае, за уши, а вот вам позор будет на все лето. Человек вы солидный, старый, а скажут, такими глупостями занимается... Теперь она опять грудью повернулась. Живот у нее... Хотите, я вам буду рассказывать все, что видно?

— Убирайся к черту!

— Сам поди туда! — хладнокровно возразил гимназист.

— Грубиян.

— От такого слышу.

Плюмажев закрежетал зубами и решил — наградивши мальчишку подзатыльником — сейчас же уйти домой, но вместо этого проглотил слюну и обратился к гимназисту деланно-ласковым тоном:

— Зубастый вы паренек... Вот что, дорогой мой, ежели не хотите одолжить на минутку, то... продайте!

— Да... продайте... А тетка мне потом покажет, как чужие бинокли продавать!

— Я уверен, молодой человек, — заискивающе сказал Плюмажев, — что тетка ваша и не подумает на вас! Теперь

прислуга такая воровка пошла... Я бы вам полную стоимость сейчас же... А?

Лицо гимназиста стало ареной двух противоположных чувств, он задумался.

— Гм... А сколько вы мне дадите?

— Три рубля.

— Три рубля? Вы бы еще полтинник предложили. Он в магазине восемь стоит.

Гимназист с презрением повел плечом и опять обратился к противоположному берегу.

— Ну, вот что — пять рублей хотите?

— Давайте десять!

— Ну, это уж свинство. Сам говорит, что новый восемь стоит, а сам десять дерет. Жильник.

— Мало ли что! Иногда и двадцать отдашь... Вот... теперь она наклонилась грудью! Замечательно у нее сзади получается... Перешла на мелкое место, и видны ноги. Икры, щиколотки, доложу вам, замечательные!

Раньше гимназист восхищался бесцельно. Но теперь он делал это с коммерческой целью, и восторги его удвоились.

— Эге! Что это у нее? Ямочки на плечах... Действительно! А руки белые-белые... Локти красивые!! И на сгибах ямочки...

— Молодой человек, — хрипло перебил его Плюмажев, — хотите... я вам дам восемь рублей...

— Десять!

— У меня... нет больше... Вот кошелек... восемь рублей с гривенником. Берите... с кошельком даже! Кошелек новый, три рубля стоил.

— Так то новый! А старый — какая ему цена — полтинник!

Плюмажев хотел возразить, что сам гимназист, однако же, ломит за старый бинокль вдвое, но втайне побоялся: как бы мальчишка не обиделся.

— Ого! Стала спиной и нагнулась! Что это! Ну, конечно! Купальный костюм расстегнут и...

— Слушайте! — перехватывающимся от волнения голосом воскликнул Плюмажев. — Я вам дам, кроме восьми рублей с кошельком, еще перочинный ножичек и неприличную открытку!

— Острый?

— Острый, острый! Только вчера купил!

— А папиросы у вас?

— Есть, есть. Позволите предложить?

— Нет, вы мне все отдайте. А! Кожаный портсигар... Вот если папиросы с портсигаром, ножичек, открытку и деньги — тогда отдам бинокль!

Плюмажев хотел выругать корыстолюбивого мальчишку, но вместо этого сказал:

— Ну, ладно... Только вы мне пару папирос оставьте... на дорогу...

— Ну, вот новости! Их всего шесть штук. Не хотите меняться — не надо.

— Ну, ну... берите, берите... Вот вам, можете посчитать: восемь рублей десять копеек! Вот ножичек. Слушайте... А она не ушла?

— Стоит в полной красе. Теперь боком. Нате смотрите.

Гимназист забрал все свои сокровища, радостно засвистал и, игриво ущипнув Плюмажева за ногу, скрылся в лесной чаще.

Плюмажев плотоядно улыбнулся, приладил бинокль к глазам и всмотрелся; на песчаной отмели перед купальней в полосатом купальном костюме стояла жена Плюмажева Марья Павловна и, закинув руки за голову, поправляла чепчик.

У Плюмажева в глазах пошли красные круги... Он что-то пробормотал, в бешенстве размахнулся и швырнул ненужный бинокль прямо в воду.

До моста, по которому можно было перейти на тот берег, где стояла его дача, предстояло идти версты три...

Ноги ныли и подгибались, смертельно хотелось курить, но папирос не было...

ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ

I

— Небось, теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым — тогда, небось, заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал,

так задержали бы меня, извинились... Но лучше нет! Пусть смерть... Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете — всего восемь годочков!

План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки.

Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа.

Подумал:

«Пусть убивают!»

Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания.

— Пожалуйста, не притворяйся, — сердито сказала мать. — Убирайся отсюда!

Она схватила его за руку и, несмотря на то что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.

Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям...

Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: «Духи, духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе». Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, разражается грубым, оскорбительным смехом: «Духи тебе? А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться?..» Или может быть так, что он находит на улице деньги... сто рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и разражается изредка оскорбительным смехом... Хорошо, если бы у него

был какой-нибудь ручной зверь — леопард или пантера... Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки, холодный, как скала... А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнется, иголки приподымаются и — трах! Обидчик так и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери... Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья — чтобы она не была косая... Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь...

Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп... Подымется визг, оханье и плач. Прибежит мать: «Пустите меня к нему! Это я виновата!» «Да уж поздно!» — подумает его труп и совсем, навсегда умрет...

Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния...

Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника неподходяща, улегся на ковре. Были сумерки; от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то заглушенные двойными рамами далекие крики с улицы:

— Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе пары уволокли... Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец паршивый, хучь одну пару!

«Кричат... — подумал Мишка. — Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы».

Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос: «Отчего ж, в сущности, он умирает? Просто так — никто не умирает... Умирают от болезней».

Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало.

«Вот оно, — подумал Мишка, — чахотка. Ну и пусть! И пусть. Все равно».

В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из «Нивы», изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена набок и глаза закрыты.

Поза была найдена.

Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать...

II

Но ему помешали.

Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.

— Только на одну минутку, — говорила тетя Ася, входя. — А потом я вас сейчас же выгоню.

— Настасья Петровна! Десять минут... Мы так с вами редко видимся, и то все на людях... Я с ума схожу.

Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами?..

— Вы говорите вздор, Кондрат Григорьич, — совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя. — Не понимаю, почему вам сходить с ума?

— Ах, Настасья Петровна... Вы жестокая, злая женщина.

«Ого! — подумал Мишка. — Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал — она б тебе показала».

— Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.

— Не находите? А мучить, терзать человека — это вы находите?

«Как она там его терзает?»

Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов — этих необходимых спутников терзания.

Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы — ничего подобного. Никого не терзали... Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову, и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.

«Вот уронишь еще баночку — она тебе задаст», — злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с флаконом.

— Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?

— Чем? И вы не догадываетесь?

Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг.

«Вот-то здорово! — подумал Мишка. — Надо бы потом попробовать».

О своей смерти он стал понемногу забывать; другие планы зародились в его голове... Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть — еще почище теткиного верчения будет.

III

К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шепотом произнес:

— И вы не догадываетесь?!

— Нет, — сказала тетя, кладя зеркальце на колени.

— Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!

«Вот оно... Уже начал с ума сходить, — подумал со страхом Мишка. — На колени стал. С чего, спрашивается?»

— Я день и ночь о вас думаю... Ваш образ все время стоит передо мной. Скажите же... А вы... А ты? Любишь меня?

«Вот еще, — поморщился за ширмой. Мишка, — на «ты» говорит. Что же она ему, горничная, что ли?»

— Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинке сесть...

«Что-о такое?! — изумленно подумал Мишка. — Что он такое собирается делать?»

— Ну, скажи — любишь? Одно слово... Да?

— Да, — прошептала тетя, закрывая лицо руками.

— Одного меня? — навязчиво сказал офицер, беря ее руки. — Одного меня? Больше никого?

Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не верил своим ушам.

«Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму? Хорошо же... Пусть-ка она теперь подойдет к нему с поцелуями — он ее отбреет».

— А теперь уходите, — сказала тетя, вставая. — Мы и так тут засиделись. Неловко.

— Настя! — сказал офицер, прикладывая руки к груди. — Сокровище мое! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.

Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором. «Настя! — говорит мужественный офицер. — Сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью...» Тетя плачет: «Ну, жертвуй, что ж делать». Трах! И голова падает с плеч, а палач, по Мишкиному шаблону в таких случаях, скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом.

Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял.

— Ах, — сказала тетя, — мне так стыдно... Неужели я когда-нибудь буду вашей женой...

— О, — сказал офицер. — Это такое счастье! Подумай — мы женаты, у нас дети...

«Гм... — подумал Мишка, — дети... Странно, что у тети до сих пор детей не было».

Его удивило, что он до сих пор не замечал этого... У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тетя без детей.

«Наверно, — подумал Мишка, — без мужа их не бывает. Нельзя. Некому кормить».

— Иди, иди, милый.

— Иду. О, радость моя! Один только поцелуй!..

— Нет, нет, ни за что...

— Только один! И я уйду.

— Нет, нет! Ради Бога...

«Чего там ломаться, — подумал Мишка. — Поцеловалась бы уж. Будто трудно... Сестренку Труську целый день ведь лижет».

— Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам!

Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тетю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.

Мишке сделалось немного неловко. Черт знает что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху: высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник: «Вы чего тут делаете?!»

Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала.

IV

Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат.

«Ложки звякают, чай пьют... Небось, меня не позовут. Хоть с голоду подыхай...»

— Миша! — раздался голос матери. — Мишутка! Где ты? Иди пить чай.

Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери.

«Сейчас будет извиняться», — подумал он.

— Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?

«Эх, — подумал добросердечный Миша. — Ну и Бог с ней! Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит, обувает».

Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко сказал:

— Мама, поцелуй-ка меня!

— Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.

Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении вздернул плечами:

«Что тут особенного? Не понимаю... Полжизни... Прямо — умора!»

МАНЯ МЕЧТАЕТ

Хорошо идти, идти, да вдруг найти на улице миллион. Вот бы тогда...

Мане четырнадцать лет, кожа на лице ее прозрачна, и подбородок заострен; глаза большей частью красные; конечно, не от природы, а от усиленной работы в мас-

терской madame Зины, где она работает и сейчас, несмотря на вечер Страстной субботы и заманчивый перезвон колоколов...

Наблюдал ли кто-нибудь за взаимоотношением между положением человека и его желаниями? Как-никак, Маня все же сидит более или менее сытая, в более или менее теплой комнате, и ей хочется найти миллион; броди она босая, в изорванном платье — венцом ее мечтаний было бы найти десять или даже сто миллионов. Неправда, что у нищих скромные желания. Нищие больны лихорадкой ненасытности. Если бы Маня сидела не в мастерской, а у себя дома, в уютной гостиной, за пианино, и отец ее был бы не пьяный рассыльный технической конторы, а статский советник — ее материалистические мечты сузились бы пропорционально благосостоянию. («Хорошо бы найти где-нибудь пятисотрублевую бумажку. Чего только на пятьсот рублей не сделаешь!..») А некоторые немецкие принцессы, как о том писали в газетах, получают от родителей десять марок в месяц, и, конечно, венец их желаний — найти где-нибудь стомарковую монету.

Маня мечтала о миллионе; из этого можно заключить, что жилось ей совсем неважно.

«Пасха тут на носу, — угрюмо думала Маня, переезжая со своего излюбленного миллиона на предметы более реальные, — а ты сиди, работай, как собака какая-нибудь. Уйти бы теперь, да на улицу!.. Хорошо, если бы вдруг пожар случился. Чтобы вспыхнуло у старшей мастерицы платье, которое она так внимательно расправляет на манекене. И чтобы огонь перескочил на всю эту кучу тряпок... Все визжат, бегут... Я бы тоже завизжала, да на улицу... Ищи меня тогда...»

— Опять задумалась? Тебя что же взяли сюда — работать или раздумывать? Скоро одиннадцать часов, а у тебя что сделано, дрянь этакая?

У Мани так и вертелся на языке ошеломляющий по своей ядовитости ответ:

— Дрянь, да с дворян, а ты халява моя.

Она и сама не знает, где впервые услышала это «возражение по существу», но элемент сатанинской гордости, заключенный в вышеприведенной угрозе, чрезвычайно привлекает ее.

Конечно, она никогда не рискнет сказать эту фразу вслух, но даже про себя произнести ее — так заманчиво.

Даже элемент неправдоподобия не смущает ее: она далеко не дворянка, да и мадам Зина никогда не была ее халявой; да и еще вопрос, что означает странное обидное слово — халява; а помечтать все же приятно: «Вдруг я скажу это вслух! Крики, истерика, да уж поздно. Слово сказано при всех, услышано, и мадам Зина опозорена навеки».

— Опять ты задумалась?! И что это в самом деле за девчонка такая омерзительная?!

Легкий толчок в плечо; иголка впивается в палец; первая мысль — профессиональная: боязнь запятнать работы кровью, для чего палец берется в рот и тщательно высасывается; вторая мысль: «Тебя бы мордой на иголку наткнуть, узнала бы тогда...»

Но этого мало; когда мысли начинают течь по обыкновенному руслу, судьба madame Зины определяется более ясно:

«Хорошо бы ошпарить ей голову кипятком, когда она моет волосы; под видом, будто нечаянно. Вылезшие волосы поползут вместе с водой по плечам, по спине, и забегает она, проклятая Зинка, с красным лицом, страшная, обваренная, и только тогда поймет, какая она была дрянь по отношению к Мане».

Однако этот проект быстро забраковывается, и, нужно сказать правду, — не по причинам милосердия и душевной доброты мстительницы.

«Кипятком, пожалуй, и не обваришь как следует. Наденет вместо волос парик, а красные пятна запудрит. Нет, нужно что-нибудь такое, чтобы она долго мучилась, чтобы страдала и чувствовала, страдала и чувствовала».

И совершенно неожиданно страшный, злодейский план приходит в голову закоренелой преступнице Мане.

«Хорошо бы купить такую машину, которую я давеча видела в магазине, где покупала ветчину... Машина эта специально и сделана для резки ветчины: около небольшой площадки вращается с невероятной быстротой колесо; края у него острые, как бритва, на площадке лежит окорок ветчины, и стоит только пододвинуть этот окорок к колесу, как колесо режет тонкий, как бумага, ломоть ветчины».

Страшные мысли бродят в многодумной Маниной голове.

«Взять бы эту анафемскую Зинку да положить ногами вместо ветчины... Отрезать сначала кончики пальцев да и посмотреть в лицо: «Приятно ли тебе, матушка?» Пододвинуть немножко опять, завертеть колесо да снова заглянуть в лицо: «Что, сударыня, приятно вам?» Целый час резать можно по тоненькой такой пластиночке — а она все будет чувствовать».

Выкупавшись досыта в Зинкиной крови, Маня переходит на месть более утонченную, более женственную. Правда, тут без миллиона не обойтись, ну что же делать — можно ведь, в конце концов, найти и миллион (иду, а он у стенки валяется в белом пакете) ...

«У меня свой дом; большая мраморная лестница, и на каждой ступеньке пальма и красный лакей. Я сижу в зале, всюду огни, а меня окружает золотая молодежь! Все во фраках. Я играю на рояле, а все восхищаются, охают и говорят: «До чего же вы хорошо играете, Мария Евграфовна! Подарите розу с вашей груди, Мария Евграфовна! Я вас люблю, Мария Евграфовна, — вот вам моя рука и сердце».

«Нет, — печально говорю я, — я люблю другого. Одного князя... — Вдруг на лестнице шум, лакеи кого-то не пускают, слышен чей-то женский голос: «Пустите меня к ней, она, наверное, не забыла свою старую хозяйку, мадам Зину! Я так разорилась, и она мне поможет...»

Рука с иголкой опустилась. Широко открытые глаза видят то, чего никто не видит. Видят они захватывающую, полную глубокого драматизма, сцену:

«Услышав шум, я встаю из-за рояля... Барон, взгляните, что там за шум?.. Встаю, иду на середину зала; за мной все мои гости, ну, конечно, и мастерицы некоторые, здешние. На мне корсаж из узорчатого светлого шелка; воротник из тонкого линобатиста. Юбка в три волана, клеш. Спереди корсажа складки-плиссе. Шарф из тафты или фай-де-шинь. На шее сверкает кулуар. Мадам Зина одета криво, косо, юбка из рыжего драпа спереди разорвана, застежка на блузе без басонных пуговиц — позор форменный! Я смотрю на нее в лорнетку и удивляюсь как будто бы: «Это еще что за чучело?»

«Манечка! — кричит она. — Это же я, мадам Зина!» — «Кескесе, Зина? — спрашиваю я, опираясь на плечо барона. — Кто осмелился пустить эту не-пре-зен-табельную женщину? Мой салон не для нее». — «Манечка, — кричит она. — Я несчастная, прости меня!» Я снова осматриваю ее в лорнетку, холодно говорю: «Вон!» — и сажусь играть за рояль. Ее выводят, она кричит, а я играю «Сон жизни», и все танцуют. А лакеи смеются над ее драповой юбкой и сбрасывают ее с лестн...

— Ну что, Маня, кончила? — раздается над ее головой голос inadame Зины.

Странно — голос как будто потеплел, без сухих деревянных раздражительных ноток.

— Немножко осталось, мадам. Только эту сторону притачать.

— Заработалась? — улыбается мадам Зина, поглаживая ее жидкие волосы. — Все уже ушли, только ты и Софья остались. Ну, да ладно. Отложи пока — тут на полчаса работы, пойдем ко мне.

— Зачем, мадам? — робко шепчет кровожадная, честолюбивая Маня.

— Разговеешься, дурочка. Что ж так сидеть-то, спину гнуть в такой праздник?.. Разговеешься, окончишь то, что осталось, и иди домой спать. Ну, пойдем же.

Она увлекает пораженную, сбитую с толку Маню во внутренние, такие таинственные, такие заманчивые комнаты, подводит ее к столу, за которым сидят уже мастерица Соня, старуха — мать хозяйки и два молодых человека в смокингах, с громадными цветками в петлицах.

— Господа, христосуйтесь! — смеется madame Зина, подталкивая Маню. — Ну, Маня, иди, я тебя поцелую. Христос Воскресе!

— Воистину... — шепчет ужасная Маня, касаясь дрожащими губами упругой, надушенной сладкими духами щеки madame Зины.

— Садись сюда, Маня. Вот выпей, это сладенькое. Мама, передайте ей священого кулича. Барашка хочешь или ветчины? Что именно?

...Маня задумчиво жует ветчину. Что-то ассоциируется в ее мыслях с тонкими ломтиками ветчины. Что именно?

Взгляд ее падает на красиво обтянутую шелковым чулком стройную ногу, выставленную из-под черного бархатного платья madame.

Маня хочет представить, как эта нога, обнаженная, сверкая белизной, ляжет у острого, как бритва, колеса, как колесо врежется в розовую, нежную, как лепесток цветка, пятку, как она, Маня, будет глядеть в искаженное лицо madame — хочет Маня все это представить и не может.

Жует кулич, потом сладкую творожную пасху, запивает душистым портвейном и снова глядит немигающими глазами на madame.

— Что, Маня? — спрашивает madame, снова кладя теплую ладонь на светлые Манины волосы. — Покушала? Ну, иди, детка, кончай, а потом ступай себе спать. Впрочем, пойдем, я тебе помогу... Вдвоем мы скорее справимся. Извините, господа! Я через десять минут...

Привычные руки быстро порхают над куском белого, как весеннее пасхальное облачко, газа...

А мысли, независимо от работы рук, текут по раз и навсегда прорытому руслу:

«Хорошо бы найти где-нибудь миллион да взять его, купить дом с садом и мраморной лестницей. Конечно, на каждой ступеньке лакеи и все, что полагается... Сижу я в зале, всюду огни, играю на рояле, все сидят во фраках, слушают... Вдруг шум, крики: «Пустите меня к ней, это моя бывшая мастерица Манечка». Я еще не знаю, в чем дело, но уже говорю графу: «Впустите эту добрую женщину». Впускают... «Боже мой! Это вы, мадам Зина? В таком виде? В грязи, в старом платье?!! Эй, люди, горничная! Принесите сейчас же туалет легкого шелка, заложенного в складки-плиссе. То самое, низ складок которого скреплен рюшем с выстроченными краями, а на рубашечку надевается веста-кимоно из фая мелкими букетиками вяло-розовых цветов!! Дайте сюда это платье, наденьте его на мадам и вообще обращайтесь с ней, как с моим лучшим другом. Мадам! Вы, может быть, голодны? Могу вам предложить барашка, ветчины или чего-нибудь презентабельнее? Кескесе вы пьете?» Я плачу, мадам плачет, гости и лакеи — тоже плачут.

Потом все, обнявшись, идем в столовую и пьем за здоровье мадам. «Жить вы будете у меня, как подруга!» Тут же я снимаю с шеи алмазный кулуар и вешаю его на мадам. Все плачут...»

Обилие слез в этой фантастической истории не смущает Маню.

Главное дело — чувствительно и вполне отвечает новому настроению...

....



ИЗ СБОРНИКА “ТЁПЛАЯ КОМПАНИЯ (ТЕ, С КЕМ МЫ ВОЮЕМ)” (1915)



ТУРЦИЯ

Введение

Мы почти ничего не знаем о Турции. Нужно иметь мужество признать это. А так как мы, русские, в смысле искренности — народ чрезвычайно мужественный, то мы охотно признаем, что о Турции ничего не знаем.

Есть, конечно, несколько русских ученых, которые с легким сердцем жонглируют такими загадочными словами, как вилайет, редиф, низам, Новобазарский (?) Санджак (?), но и эти люди в тиши ночей, когда совесть остается глаз на глаз с человеком — проводят время, назначенное для сна, в терзаниях и сомнениях: правильно ли они употребили в своей статье слово «вилайет» — обозначив этим понятием свадебный обычай турецкого низама? Не ошиблись ли они, полагая, что Новобазарский Санджак — это род одежды, носимой горскими племенами восточного редифа.

А в какое положение ставят ученых такие слова, как «ливы», «казы» и «нагиры».

В чем тут дело?

Съедобны ли эти ливы и живут ли в этих «казах»? Покрываются ли нагирами или сморкаются в них?

Единственное турецкое слово, которое не возбуждает никаких сомнений это –кофе; но легко ли по одному слову вывести заключение об этнографическом, политическом и административном устройстве современной Турции.

Никому также доподлинно неизвестно — чем занимаются турки? Сидение в константинопольских кофейнях и игра

в домино на чашку крепкого кофе — еще не есть занятие, приносящее деньги, потому что, кроме оплаты выпитого кофе, нужны средства для содержания жен детей, евнухов* и, вообще, всего, сложного турецкого хозяйства.

Судя по газетным телеграммам за последние несколько лет, — главное турецкое производство внутри страны — это резня армян, но и тут едва ли турки преследуют меркантильную цель. Вышеуказанное нужно рассматривать скорей, как развлечение, чем — как труд.

Это соображение подкрепляется еще тем, что после каждой такой увеселительной резни, европейская дипломатия делала представление Турции.

Неопытные в дипломатических закорючках турки понимали слово «представление» в бытовом, театральном смысле, и не найдя в дипломатическом представлении элементов зрелища, разочарованные, снова обращали свой взор на армян.

И снова армяне умирали, как мухи, от этого взора, и снова европейская дипломатия делала «представление».

Это уже стало переходить в быт. Маятник турецкой жизни мирно покачивался от армянской резни к представлению и обратно, и неизвестно — долго ли бы еще продолжалось это мирное тиканье турецких часов, если бы в конце текущего года честный русский кулак не хватил изо всей силы по турецкому циферблату...

* * *

Что мы знаем о Турции?

Ничего.

Пишущему эти строки некий молодой человек однажды сказал:

— Почему все так восхищаются знаменитой «Джокондой»? Ничего в ней особенного.

— Да вы «Джоконду» когда-нибудь видели?

— Господи! — изумился молодой человек. — «Джоконду» — то? Сколько раз! Каждый день.

— Где?

— Да на папиросной же коробке. Я теперь только и курю папиросы «Джоконда». И не потому, чтобы мне картина

---

* Разновидность мужчины.

нравилась — обыкновенная женская головка, — а просто табак легкий.

Конечно, есть в России миллионы людей, которые знакомятся с «Джокондой» только по папиросам 10 штук 6 коп., с упаковкой.

Но это еще пустое. «Джоконда» только картина, ничего более. И превратное о ней понятие никого огорчить или взбесить не может.

Но ведь мы, русские, и с Турцией знакомы только по курительному делу.

В самом деле: 1) Есть табак — турецкий; 2) Есть табак под названием — султанский; 3) Есть папиросы «Звезда гарема»; 4) Есть сигаретки «Одалиска».

По табачной коробке русский средний человек изучает Турцию: красками нарисован толстый человек с черными усами, в широких шальварах, сидящий на полосатом диване, с какой-то кишкой в зубах, другой конец которой прикреплен к замысловатому кувшинчику. Турок окружен несколькими пестро и бестолково одетыми женщинами, в шароварах и с босыми ногами, на кончике которых висит красная туфелька.

Вот и все. Тут тебе и этнография, тут тебе и семейный уклад, тут тебе и род занятий.

Долго рассматривает любознательный русский человек это произведение искусства и долго потом головой качает:

Так вот она какая — Турция.

— А что?

— Да вон, видите, так всю жизнь и проводят на диванах за курением, около баб! За другим занятием его ни на одной коробке не увидишь. Одно слово — Новобазарский санджак.

— То есть?

— Да уж будьте покойны. Кишка то изо рта торчит не зря. Все подличают.

— Именно?

— Ленивы они очень, сударь. Видали, какой кувшинчик закрутили? Все шатай-болтай, как говорится. А в голове — ничего. И одеться норовит, как почудней. Действительно, такому чучелу только на диване и сидеть. Нешто на улицу можно в энтаком виде показаться? Моментально вилайеты сцапают и в наргиле предоставят — потому не безобразь.

— Вы думаете?

— И думать не желаю. Стану я над турком каким-нибудь голову ломать. Это уж известно, каждому свое; и пословица такая есть: турок курит трубку, курка клюет крупку. Вы уж со мной, сударь, о Турции не спорьте. Все это нам известно.

Вот и вся русская осведомленность...

По справедливости — целый сонм русских ученых не сделал для популярности Турции в России столько — сколько поработал на этом деле дядя Михей, вот уже сколько лет насаждающий этнографическо-турецко-табачную поэзию среди малых сих:

Вот курите табак турецкий,

Остальные табаки имеют вкус зверский.

Или:

Отворяйте окна, двери,

Сейчас закурю султанский табак «Пэри».

Юношество заучивало эти стихи наизусть и, таким образом, в России незаметно прививался интерес к экзотичной Турции...

Но все же мало мы знаем Турцию.

И вот, поэтому, я, пишущий эти строки, поставил себе задачей — благородной, возвышенной задачей! — ознакомить Россию с Турцией на основании строго проверенных научных данных...

Происхождение турок

Впервые выползли на свет Божий турки — из глубины центральной Азии.

Было это в средние века, а точнее — трудно определить год и месяц турецкой авантюры

Историков тогда не было, а если бы и были, то они от стыда за поступки своего народа и пера бы в руки не взяли...

Еще до Рождества Христова турки уже вступили в длительную борьбу с китайцами.

Китайцы называли турок пе-ти или гионг-ну.

Если ваш благосклонный читатель не говорит по-китайски, то мы не советуем, вообще, вставлять этих двух слов

в разговор где-нибудь на светской вечеринке и не шептать на ухо барышне после тура вальса:

— Вы танцуете, как гионг-ну! Ваши глазки — настоящие пе-ти!..

Этого не следует делать.

Ибо, пе-ти означает западная собака, а гионг-ну — презренный раб.

(Автор в этом месте надеется, что его осведомленность вызовет изумление благосклонных читателей) ...

Турки, впрочем, тоже мастера ругаться, и в отместку за китайские оскорбления называют всех европейцев — гяурами.

Но европеец справедливо рассуждает, что от «слова не станется» и, поэтому, не обижаясь, постепенно захватывает турецкие концессии и таможенные льготы.

Турецкая история

Впервые свою прыть турки показали, когда еще их называли не турками, а сельджуками.

Откуда произошло слово сельджук — неизвестно. Мы пробовали даже разбивать его на составные части, но кроме бессмысленной сельди и жука ничего не получалось.

Мы думаем, что это слово придумано турками в качестве псевдонима — лишь бы как-нибудь потихоньку пробраться в Европу.

А пробравшись, турки сразу сбросили с себя личину псевдонима и, цинично захохотав, объявили:

— А мы вовсе турки, а не сельджуки... Что, взяли, голубчики? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

И устроили ряд скандалов.

* * *

Поведение турок в Европе было ниже всякой критики — они завоевывали все, что подвертывалось под руку.

Первым и самым знаменитым их полководцем-победителем был Отман или Осман. Турки так обрадовались умному человеку, вынырнувшему среди них, что не знали даже, как его и называть — Отманом или Османом. Называли и так, и этак, — благо тот откликался.

Впоследствии, образуя свою империю (тоже хотели, как у людей!), турки назвали ее Оттоманскою, а себя османлисами. Тут-то два имячка и пригодились!

Сына Отмана называли попросту Аркан.

Даже не каламбуря, можно сказать, что в то время вся новоиспеченная Оттоманская Империя только Арканом и держалась. Все упования были на Аркане, и он оправдал их: сочинил войско — янычар.

Приготовление янычар происходило по простому шаблону: выискивали семью христиан; матери и отцу перерезывали горло, а мальчишку-сына забирали в янычары. Не имея ни отца, ни матери, мальчишка получал отвратительное воспитание, что от янычара и требовалось.

Получив воспитание, такой отпетый мальчишка мог по приказанию начальника сделать, что угодно, памятуя, что терять нечего — отец не высечет и мать не оставит без сладкого.

С этими безобразниками турки сделали много завоеваний, хотя янычар было всего 12.000–20.000 человек.

Пропустив незначительного Солимана, отметим его брата Амурата I, о котором историк Коллас говорит:

«Этот государь был мужественным, но в то же время невежественным до такой степени, что на государственных бумагах, вместо подписи, прикладывал свою руку, обмокнутую в чернила».

Облизывал ли он потом, подобно приготовишке, свою руку — историк не говорит, но что обмениваться с ним рукопожатием не было больших охотников — так это верно.

И подделать такую подпись ничего не стоило. Только безрукие не решались на это.

О преемнике Амурата, Баязете, историк говорит просто:

«Баязет начал с удушения своего брата, чем подал пример, которому преемники следуют до наших дней».

Впрочем, Баязет нашел на себя палку, на него напал Тимур, взял его в плен, и по словам того же историка «как утверждали одни — обращался с ним великодушно, а по словам других — возил его с собою заключенным в железную клетку».

Мы думаем, что здесь противоречие только кажущееся: просто первая категория историков была настолько неиз-

балованной, что и железная клетка казалась им верхом великодушия и комфорта.

Все 15-е столетие Оттоманы только и делали, что воевали с кем попало. Мирная жизнь была им несвойственна.

Был, впрочем, султан Магомет II (1451–1481), который любил искусство, но любил он его как-то странно: когда итальянский художник Беллини писал картину «Усекновение главы Иоанна-Крестителя», то Магомет II собственноручно отрезал голову одному невольнику, чтобы дать возможность художнику видеть конвульсивные сокращения мускулов. Магомет даже не обратил по своей недалекости внимания на то, что в данном случае интересы искусства и невольника резко разошлись...

Кроме искусства Магомет увлекался пинкертоновщиной и сыском, но тоже налагал на это занятие печать своеобразности: приказал однажды распороть животы 14 пажам, ради того лишь, чтобы узнать, кто из них съел дыню. Очевидно, первые тринадцать оказались пустыми, невинными и только четырнадцатый понес тяжкую кару за сластолюбие.

Тот же Магомет не нравившихся ему людей приказывал распиливать (?) надвое, будучи справедливо уверен, что эти люди, умножаясь в количестве, теряли в качестве.

Вообще, о таком негодяе автор больше не хочет писать. Необходимо только упомянуть, что это именно он отнял Константинополь у греков и устроил им такую резню, что «янычарам надоело резать несопротивляющееся население».

Можно вообразить, что это было, если даже трудолюбивым «янычарам надоело».

* * *

Родственник Магомета II, Селим I, был юношей с богатыми задатками: чтобы облегчить себе вступление на престол, он «зарезал пятерых племянников и двух братьев». За это современники прозвали его Непреклонным.

Очевидно, мало было слов в арсенале современников, если они не могли подобрать словечка, более подходящего...

Селима сменил Солиман, который был столь воинственным, что даже во сне размахивал кулаками, задевая любимую жену.

Дрался он с кем только можно и, истощенный войнами, не мог дожить до нашего времени, что удалось нам — мирным, уравновешенным людям.

После этого Солимана пошли уже повторения, оттиски прежних могущественных оригиналов: Селим II, Амурат III, Амурат IV, Магомет IV, Солиман II — все мелкота, ничем особым не выделившаяся. Пытались, конечно, тоже вести воинственный образ жизни, но это было уже не то. Как говорит простодушный историк того времени — «у них была кишка тонка».

Жили скучно, грязно, ели баранину вместо вилок руками, а руки потом вытирали взамен салфеток об голову, нося, так сказать, с собой на территории между руками и головой весь столовый прибор... Таким образом, со времен Амурата I, турецкая рука претерпела эволюцию от — письменного до столового прибора.

Среди этих султанов, как оазис в пустыне, блеснул только один Ахмет III: вступив на престол, он приказал утопить 15000 янычар. Эта реформа доставила ему уважение многих.

Около того же времени в истории обрисовался силуэт одного короля, которого справедливо можно было охарактеризовать словами распространенной поговорки:

— Погиб, как швед под Полтавой.

Ни к кому другому, так, как к нему — не была применима эта поговорка.

Этот человек был — Карл XII, разбитый Петром Великим под Полтавой и бежавший в Турцию.

Он имел сильное влияние на султана и заставил его даже объявить войну России, но из этого ничего не вышло. Петр счастливо ускользнул от превосходных турецких сил на берегу Прута...

Дальше — предоставляем слово историку:

«Карл XII сильно упрекал визиря султана Балтажи Магомета за невзятие в плен Петра. «А кто же стал бы тогда управлять его государством?» — отвечал хладнокровно Балтажи; «нехорошо, если все короли будут жить не у себя дома» (Каллас).

Так как шведский король сам в это время болтался в Турции, вместо того, чтобы сидеть дома — то ядовитая стрела попала в цель.

Историк прибавляет:

«Шведский король в бешенстве разорвал своими шпорами кафтан бесстрашного мусульманина».

Мы лично считаем этого мусульманина одним из самых умных османлисов. Вот уж, действительно можно воскликнуть: Балтажи, а какой умный!

Со времени исторической фразы Балтажи началось падение Империи Османов — на нее набросилось столько народу, что от Османов только клочья летели.

Однако, клочья эти были такого размера, что автор настоящего исследования удовольствовался бы половиной любого клочка — как гонораром за свои исторические изыскания: Турция потеряла Белград, Тамашвар (есть и такой), Валахию до реки Алуты, и часть Сербии, Албанию и «кое-что около Персии».

Во внутренней турецкой жизни в эти годы сыграл большую роль какой-то Патрон-Халил, торговец платьем. Он ни больше, ни меньше, как сместил султана и посадил на его место другого.

Времена были не нынешние: теперь даже самый большой торговый дом в Вене, одевающий венок и издающий собственный журнал «Венский шик» — если бы вздумал сместить Франца-Иосифа и посадить на его место кого-нибудь поумнее — на такой торговый дом все посмотрели бы, как на сумасшедший дом.

А тогда Патрон-Халил играл большую роль, хотя весь его магазин был перекинут через левую руку и все рекламное дело основывалось на устной публикации:

— Халат, халат!

Свергнув старого султана и явившись к новому, Патрон-Халил сказал:

— Я знаю, что ожидает людей, берущихся низлагать падишахов, но смерти не боюсь, так как счастлив видеть тебя на троне.

Султан ответил:

— Клянусь тебе моими предками, что не посягну на твою жизнь. Напротив, проси у меня чего хочешь. Я награжу тебя.

Патрон-Халил ограничился просьбой об отмене тяжелых налогов, отягощавших бедный класс.

Умиленный султан сделал даже больше просимого: он приказал заколоть Патрона-Халиля.

Таким образом принцип «патронов не жалеть» был впервые проведен в жизнь Махмудом I! (1731).

....

Наблюдали ли вы когда-нибудь, читатель, что делается с куском сахара, опущенным в горячий чай. Сначала сахар пустит несколько пузырей — верный признак, что вода проникла во все его скважины. Проникнув, вода начинает откалывать мельчайшие частицы от граней сахарного куска. Отпадает кристалл за кристаллом, середина куска зловеще проваливается и, наконец, весь кусок распадается на мелкие бесформенные кристаллы...

То же самое произошло с Турцией... Лакомый кусок, опущенный в горячую воду европейских государств, стал таять не по дням, а по часам: нынче отвалился кристалл — Албания, завтра кристалл — Крым, потом Сербия, Молдавия, Валахия — тает, тает турецкий сахар, до сих пор тает...

И до того дошло все это, что теперь осталось только чьей-нибудь энергичной руке сунуть в горячий чай стальную ложку — да и размешать хорошенько оставшиеся кристаллы.

Когда я пишу эти строки, Россия, вызванная на драку одряхлевшей, поглупевшей Турцией — уже делает вышеозначенную операцию.

В исходе ее сомневаться невозможно.

Элиас Реньо говорит о Турции сороковых годов:

«Турция представляла собою поле битвы, на котором великие державы вели войну между собою».

Представьте себе, что к некоему человеку пришли гости... Уселись за стол, стали пить-есть, но вот среди еды один из гостей вдруг начинает поглядывать на жену хозяина самым недвусмысленным образом.

— Послушайте, не смотрите на нее так, — замечает другой гость.

— Это еще почему?

— Она мне самому нравится.

— Наплевать, что она вам нравится. Вот буду смотреть и буду.

— Попробуй! Если еще раз взглянешь, разобью бутылкой эту лампу. Ах, так?! Бац!

— Послушайте, — робко замечает хозяин. — Зачем же вы разбили лампу?

— И разобью! Еще как разобью! Пусть он не заглядывается на твою жену!! Я сам на нее хочу заглядываться.

Первый гость вскипает:

— Как, и ты к ней лапы протягиваешь? Так вот же тебе за это: разбиваю стулом буфет и выливаю суп в рояль!!

— Позвольте, господа, — стонет хозяин, бегая за разбушевавшимися гостями. — Зачем же вы обстановку портите?

— Не допущу я, чтобы он рояль супом поливал. Если он так, — так я этим подсвечником продырявливаю картину... Хлоп!

— Ты картины портишь? А я за это на ковер керосин пролью и подожгу!

— Не смеешь! Если ты это сделаешь, граммофон в окно выброшу и вымажу вареньем диван!

— Господа, ради Бога...

Но увлеченные распрей гости уже не слышат стонов и уверений хозяина...

Все трещит, падает, лопается и разбивается... Уставший, охрипший хозяин уже сидит в уголке на поломанных стенных часах и молча наблюдает за состязанием гостей...

Вот что переживала Турция в эти годы.

Султаном тогда был Абдул-Азис, который ничем особенным не отличался, кроме коварства и жестокости. К концу своей жизни он сделал одно важное для себя открытие: открыл ножницами вены на своей руке.

Это открытие стоило ему жизни.

Ему последовал Мурад V. Царствовал он недолго и кончил тем, с чего многие турецкие султаны начинали — лишился рассудка.

Ему последовал — знаете кто?

Абдул-Гамид II, ни более, ни менее.

Этот султан мог на свободе подсчитать, что принадлежало Турции и что уже не принадлежит!! Именно — Турция потеряла за истекший век: Грецию, Румынию, Сербию, Черногорию, Болгарию, Восточную Румелию, Кипр, Боснию и Герцеговину, Тунис, Триполи и часть Закавказья, Египет, Крит.

Собственно говоря, турецким султанам приходилось обращаться с географической картой своей родины, как

с процентной бумагой — каждый год отстригать от нее купоны — Сербию, Черногорию, Триполи и т.д.

Преемнику Абдул-Гамида, Магомету, досталась одна голая процентная бумага без купонов... Эта бумага так мала, что он каждый день рискует ее потерять.

Территория и население

Ошибочно думать, что если Турция — Турция, так уж она и должна быть населена турками.

Пример Нидерландов, населенных совершенно посторонним народом — голландцами, должен бы удержать географа от столь поспешного утверждения.

Действительно, Турция населена османами и то изредка.

А слово «турок» употребляется в Оттоманской империи, как ругательное слово, означающее понятие «грязный, невежественный мужик...! (См. И. Голобородько).

Так что турки часто переругиваются на базарах.

— Ах ты, турок этакий!

— От такого слышу!

Восточные границы Турции соприкасаются с Россией. Если мы у них что-нибудь и отвоюем, то границы все-таки будут соприкасаться. Да и послужит это лукавым османам некоторым утешением!

Северная — примыкает к Черногории, Австрии, Сербии и Румынии. Нельзя сказать, чтобы страны эти были польщены таким соседством.

Западная — проходит по Адриатическому и Ионическому морям, а южная — теряется в бесплодных пустынях Аравии и Африки. Впрочем, и предыдущие границы тоже постепенно теряются.

В этих границах заключены разные народы, связанные общностью жизненных интересов. Общность заключается в том, что одна часть населения режет другую, а другая часть населения протестует.

Турецкие города

Турецкие города строятся крайне своеобразно: каждый строит дом, где хочет. То, что у нас называется улицей, у ту-

рок не существует. Дома часто строятся посредине улицы. Конечно, есть узкие переулочки, но они созданы именно условиями постройки — нужно же было по какому-нибудь пути подвозить строительные материалы.

Переулки эти так узки, что два встретившихся осла (четвероногих, а не строители) застревают между стен; поддерживая традиции своего племенного упрямства, разойтись не могут и, большей частью, гибнут. Скелеты их растаскивают собаки впредь до новой ослиной встречи (Элизе Реклю).

Крыши домов напоминают остроты бульварных газет — они плоски, стары и исполняют чуждую им роль — на них сидят по вечерам.

Часто узкие кривые переулки перерезываются... кладбищем. Дело в том, что турецкие кладбища не выносятся за черту города, а устраиваются тут же, под боком.

Делается это для того, чтобы не тащить далеко покойника — лень. Да и жарко.

И если турок, потерявши родственника, имеет возможность спустить его из окна комнаты прямо в яму у стены — такой турок считает себя удачником и баловнем судьбы.

Много ли, действительно, турку надо.

Турецкие дома устраиваются кое-как. Назначение дома очень ограничено — насовать туда побольше жен и детей, а самому сидеть в кофейной.

Холостые и бездетные турки домов не имеют — живут в кофейне.

Дома турки не обедают — едят в кофейне.

Они бы и спали в кофейне, но нельзя, нужно идти к женам — так велит шариат (кажется, автор к месту ввернул это турецкое словечко).

Вот картинка турецкой улицы:

...Жарко. Узкая каменистая улица, посредине которой бьет фонтан. На припеке у фонтана томятся ослы, буйволы, верблюды и лениво потягивают из фонтана холодную воду. Тут же под многочисленными копытами копошатся ребятишки — ничего если кое-кого и раздавит буйволово копыто — детей много, а поднимать скандал по этому поводу лень.

Хозяева и погонщики животных забрались в полутемную прохладную кофейню и потягивают черный густой кофе

из таких маленьких чашечек, что проглотить ее по рассеянности — не представляет особого вреда для здоровья. Пьют кофе, молчат, затягиваются наргилэ*.

Молчат.

Турок вообще не разговорчив.

Между восемью часами утра и шестью часами вечера, турок способен поддержать только такой разговор:

— Кофеджи! Кофе.

— Да.

Подсаживается сосед. Молчат.

В исходе двенадцатого часа первый замечает:

— Жарко. Э?

Спрошенный турок погружается в глубокую задумчивость. Очевидно, его внутренне взволновал и вызвал массу соображений вопрос соседа.

После долгого молчания, он вздыхает и разражается речью:

— Да, — говорит он.

Солнце жарит вовсю. Кофе выпить. Вода, полагающаяся к нему, тоже выпита. Оба поворачивают глаза и сосредоточенно глядят на ослепительно сверкающую горячую улицу.

— Осел прошел, — выдавливает из себя один.

— Да, — после минутного раздумья соглашается сосед. — Это верно.

— Наверное, — Абдулки кривого.

— Его. С подпалиной.

— Стало прохладней.

— Да. Вечер.

— Уходишь? Храни тебя Аллах.

— И тебя. Кофеджи! Еще.

— Ты же хотел уходить?

— Промочить горло надо; от разговора пересохло.

А дома, укладываясь на оттоманку, он говорит жене, толстой Фатиме:

— Заговорился с Ибрагимом, не заметил, как и день прошел. Охо-хо.

— Аллах велик, — замечает Фатима.

— Еще бы, — соглашается турок.

---

* Некоторые турковеды полагают, что наргилэ — род корсета, но это неточно. Хотя им и можно затянуться, однако, это не более, курительный прибор. — *Автор*.

И засыпает.

Если турок не идет — он сидит. Стоять он не может — лень. Сейчас же садится.

Автору только однажды удалось увидеть несидящего турка. И то, в этом зрелище не оказалось ничего удивительного, ибо он лежал.

Стремление турок к лени, к лежанью на диванах, отразилось даже на наименованиях европейской меблировки:

Оттоманка — слово турецкое.

Тахта — слово турецкое.

Диван — слово турецкое.

Даже государственный совет так и назван: диван.

До того дошло, что «оттоманка» так и происходит даже от наименования нации: оттоманы.

А можно представить себе мебель под названием тевтонка или шведка? Нет. Наоборот, нет ничего быстрее шведок.

Отсюда ясно, что климат оказывает прямое влияние на подвижность народонаселения.

Турецкая лень выражается еще и в другом — в страсти к слугам.

Знаток Турции И. Голобородько говорит: «нигде нет такой специализации домашних обязанностей, как в Турции. Каждому из слуг вверяется определенное дело, от которого он ни на шаг не уклонится в сторону. Кофеджи, на обязанности которого лежит варка кофе, — тот не принесет воды для омовения, а чубукчи, в ведении которого находятся курительные принадлежности, сочтет немыслимым побежать для хозяина за кофе. Да и вообще (заключает Голобородько), стараются прикасаться к работам возможно меньше».

В богатых турецких домах специализация эта доходит до того, что существует палач пойманных блох (ловит их другой слуга), выбрасыватель обгоревших спичек и хранитель ящика, в котором лежит ключ от другого ящика, где ничего не лежит.

Кроме этой своей специальности, перечисленные слуги ничего не делают.

Правда, Голобородько об этом ничего не говорит, но говорю это я, автор настоящих строк — сам хохол, не хуже Голобородьки. И лгать и выдумывать ни он, ни я — мы себе не позволим.

Слуги турку обходятся дешево. Пищей им служит горсть рису с кусочком баранины (горсть — в прямом смысле слова, потому что ложек и вилок нет), а одежда носится десятки лет, ибо при турецком климате и простоте нравов, вся одежда слуги ограничивается висящим в шкафу халатом и туфлями, стоящими в передней.

Что касается хозяев, то они стараются навертеть на себя как можно больше материй: на голове наверчено, на животе наверчено, а шаровары такие широкие, что бедное турецкое семейство может моментально спрятаться в них при виде кредитора.

Подробно описывать одежду турок и турчанок не стоит — всякий курящий читатель мог видеть это на табачных коробках, и, конечно, может просветить на этот счет некурящего.

Турецкий характер

Искусство ничегонеделания турки довели до совершенства...

Попробуйте поймать какого-нибудь европейца, свяжите его веревками, чтобы он не убежал, накормите его, обеспечьте его семью, положите его, связанного на диван, суньте ему в рот чубук, обложите его подушками и скажите ему:

— Не смей ничего делать!

Так он вас и послушает! Сейчас же мозг его лихорадочно заработает, тысячи новых мыслей, образов и представлений зашевелятся в голове его.

Начнется сложная, хлопотливая внутренняя жизнь.

А поставьте в эти условия турка — он будет в восторге, он будет думать, что рай Магомета осуществился...

Если вы придете к нему после этого и скажете:

— Сейчас я буду тебе резать горло, — он поднимет на вас ленивые черные глаза и согласится:

— Режь.

Вы думаете, это фатализм? Просто ему лень спорить.

Что касается характера турчанки, то с ним произошла странная история: или его нет (у гаремных женщин) или он настолько напоминает характер европейской суфражистки (у эмансипированных турчанок), что о нем не стоит и говорить.

Не стоит, так и не стоит.

Честность турок вошла в пословицу.

Жульничество турок, мздоимство и всяческие утеснения тоже вошли в пословицу.

Все вошло в пословицу. Тому, кому это покажется странным, отвечу, что это вовсе не должно казаться, странным. Дело в том, что турки резко разделяются на две категории: чиновники и вообще начальство — жулики, а простые турки — честный, трудолюбивый работящий народ.

Если честного простого турка из народа сделать чиновником — он, после некоторой борьбы с собой, переходит в лагерь жуликов. Но если вы чиновника разжалуете в простые турки — он уже честным турком не сделается. Так в жуликах и застрянет до конца жизни.

Это то, что у многослуживших солдат называется «выправкой».

Военный и в штатском платье будет производить впечатление военного.

Турецкий чиновник и в штатском платье будет ошеломлять окружающих своим жульничеством.

Турецкая торговля очень своеобразна. Она ничуть не напоминает еврейских или армянских купеческих приемов.

Еврейский купец на турецком базаре, увидя проходящего человека, как пуля, вылетает из дверей лавки, обрушивается на прохожего и категорически заявляет:

— Пожалуйте, господин. У нас покупали.

Простодушный иностранец впадает в глубокое изумление:

— Я? У вас? покупал? Да я только нынче утром впервые приехал в этот город из Бейрута.

— Пожалуйте, господин... Своему покупателю уступим!

— Ей-Богу, уверяю вас — тут какое-нибудь недоразумение... Вы, вероятно, ошиблись, благодаря случайному сходству... Я никогда ничего у вас не покупал.

— Ну, так вы зайдите в лавку, что вам, трудно, что ли?

— Зачем же... Покупок я делать не собираюсь.

— Так что вы — посмотреть товар, больной будете? Эти ковры, скажете, плохие? Ну, вот, я вам говорю: Этот ковер мы продаем по 60 пиастров, а вам я отдам за 35. А сами мы платим фабрике 40.

— Боже! Но ведь это, значит, вы продаете в явный убыток!

— Так что? Для такого хорошего покупателя можно взять и убыток!..

— Действительно, — думает доверчивый иностранец, — может быть, во мне и есть что-нибудь обаятельное, влекущее к себе людей. Недаром же этот добрый торговец, движимый чувством непобедимой симпатии, готов идти на все жертвы, вплоть до убытка.

Покупатель бросает быстрый взгляд в близ висящее зеркало и, уверившись в своих себялюбивых предположениях, покупает дрянной реденький ковер, отплачивая тем самым продавцу за исключительно симпатичное отношение.

Если же вы зайдете в лавку к турку (сами зайдете — никто вас не потащит), турок медленно поднимется со своего места, молча выслушает вас и неторопливо развернет спрашиваемую вещь.

Стоит, ждет, равнодушно поглядывая в пыльное, тусклое окно.

— Сколько?

— 28.

— Ну, что вы! И двадцати будет предовольно.

— Нельзя. 28.

— Ну, хоть 23. Неужели, не можете уступить?!

Дремлющий взгляд, устремленный на одну из деревянных полок:

— Нельзя.

— Ну, тогда я уйду.

В обычной торговле есть такой психологический момент, когда покупатель, не согласившись с ценой продавца, делает вид, что уходит, а продавец делает вид, что отпускает покупателя, но оба из-под опущенных век зорко следят друг за другом — не поколеблется ли, не дрогнет ли та или другая сторона.

Покупатель, скажем, уже взялся за ручку выходной двери, а продавец делает вид, что прячет несходную по цене вещь. И вот, если покупатель скажет, будто бы уходя: «неужели не уступите? Ей-Богу, дорого» — значит, он уже сдается, уже слабеет и продавец тогда сразу забирает силу над ним.

Если же скажем продавец: «Взяли бы. Уверяю вас, нигде дешевле не найдете»...— значит, его дело проиграно; покупатель может брать его голыми руками.

С турком эта психологическая сцена никогда не удается.

— Не уступите? — угрожающе скажет покупатель. — Хорошо же! Тогда я ухожу.

Турок поглядит на чудака равнодушно, как на скамеечку для ног, и отойдет в свой угол.

Тщетно будет покупатель топтаться у дверей, будто нашаривая запропастившуюся куда-то дверную ручку, а втайне ожидая, не вернет ли его хозяин?

Нет. Не вернет.

И просидит так дремлющий спокойный турок до заката солнца, т.е. до того времени, когда нужно закрывать лавку.

Кстати, солнце играет в турецкой жизни огромную роль. По солнцу едят, молятся, распределяют все свои занятия, женятся и умирают.

Часов из металла нет; турецкие часы для всех одинаковы и находятся так высоко, что ни заложить, ни вытянуть их из кармана у ближнего — никак нельзя.

А если солнце (что чрезвычайно редко) заходит за тучку, то все часы, таким образом, разом останавливаются и никто, кроме Господа Бога, не может снова пустить их в ход.

В Турции до сих пор принято лунное летоисчисление. Год состоит из 12 оборотов луны, т.е. из 354 или 355 дней.

Куда турки девают каждый год 11 дней — неизвестно. Вероятно, ничего в эти дни не делают. Пересиживают их в кофейне. Но так как они и все остальные дни торчат в кофейне, то эта неразбериха должна тяжело отражаться на турецком самочувствии.

Для тех легкомысленных и суетных читателей настоящего исследования, — читателей, которые не прочь щегольнуть в малознакомом обществе знанием иностранных языков и обычаев, — сообщаем, что турецкие месяцы носят такие названия: Мухарем, Сафар, Робигуль-Овааль I, Робигуль-Овааль II, Джумада I, Джумада II, Роджаб, Шагбан, Рамазан, Шавваль, Зуль-кагде, Зюльхидже... Ф-фу!..

Навести разговор на этот сюжет нужно осторожно. Спросишь, например:

— Какой у нас теперь месяц?

— Январь.

— Как странно. А у турок совсем иначе называется...

— А как? — вежливо спросят окружающие.

— Ну, как же: Мухарем!

— Что вы говорите?!

— Уж будьте покойны. Потом есть Сафар, Джумада, Зюльхидже...

Будьте уверены, что, возвращаясь из гостей домой, матери будут говорить своим дочкам:

— Какой умный человек Сергей Сергеич — все месяцы по-турецки знает.

А дочка согласится:

— Да. В нем есть что-то экзотическое.

Так достигается успех в обществе.

Если уж я начал говорить о турецких странностях, то от месяцев можно перейти к фамилиям.

У турок фамилий не существует. Например, называют человека так: Магомет, ага Таифский, т.е. Магомет, землевладелец из Таифы (см. Голобородько).

От этого никому не легче.

У нас бы такая система создала тысячу затруднений.

Например: имеем мы столичного клубного арапа Ваничку Лапа-Чумацкого.

Так весь Петроград его и знает: «а! Ваничка Лапа-Чумацкий».

А попробуйте переделать его на турецкий лад:

— «Иван, арап из Петрограда».

Ни одна душа по этой кличке не разыщет его, чтобы пригласить на ужин или просто намять бока за нечистую игру и распущенную сплетню о вашей жене.

Да и у турок, я думаю, эта путаница в именах создает тысячу недоразумений.

Приходит турок в военное министерство повидать своего брата, служащего в министерстве канцелярским писцом. Обращается к швейцару:

— Скажи, где я могу найти Абдула?

— Какого Абдула?

— А брата моего.

— Мало ли у нас Абдулов. На нем не написано, что он твой брат.

— Да он тут служит, в этом же министерстве. Писцом.

— У нас четыреста писцов.

— Ну... он же... Абдул.

— Восемьдесят Абдулов у нас!

— Такой черненький, маленький.

— Двадцать три из них черненьких, маленьких.

— Одет в синюю куртку!!

— Четырнадцать человек одеты в синие куртки.

Больше у брата никаких отличительных признаков не находится.

Обессиленный брат дает швейцару бакшиш и просит вызвать всех четырнадцать человек — для выбора.

От этого в делах происходит задержка, а у автора является мысль: не потому ли Турция так отстала от семьи других народов?

Турки гостеприимны.

В турецком доме никогда не услышишь «европейского» шепота в задних комнатах:

— Опять этот ничтожный слизняк притащился в гости?! Когда его, наконец, приберет могила, обжору разнесчастного!..

Турки всегда искренне рады гостю.

А албанцы даже говорят так: «Если бы ко мне в хижину явился заклятый враг, держа в руках голову моего сына, я и тогда должен был бы дать ему приют и позаботиться о его удобстве» (И.И.Г., стр. 22).

Не знаю, как читатели, а пишущий эти строки, доведись ему принять такого гостя, едва ли выдержал бы роль любезного хозяина.

В тюрьму бы автор отправил такого негодяя, а уж не позволил бы ему у себя в гостиной вести светский разговор, перебрасывая из руки в руку голову малютки...

Положим, албанцы, вообще, достаточно начудили за последнее время.

Развлечения турок

Если не считать резни армян — турецкая жизнь бедна развлечениями.

У турка есть три сорта клубов: кофейная, цирюльня и баня.

В кофейне, кроме систематического упорного питья кофе, есть еще одна приманка: рассказчики.

Где-нибудь в американских прериях прямолинейные решительные вакеро и ковбои давно бы уже повесили такого рассказчика в наказание за мучительное медленное выматывание жил из слушателя...

А турки неприхотливы. Молча сносят это. Да еще и деньги дают...

Мне перевели однажды такой турецкий рассказ. Вот это что:

«Однажды в Смирне жил богатый кожевенный мастер Керим, и у него была жена Зафара, что значит, взятая от солнца. И пришел к Кериму злой дух и говорит: Керим, Керим отдай мне твою жену», а Керим говорит: «не отдам». А тогда злой дух говорит: «ну, я тебя превращу в осла». Действительно, превратил, а жену забрал себе. Жена в скорости исчезла, а Керим так и остался ослом. Все».

Слушатели, которые тоже недалеко ушли от Керима довольны рассказом и осыпают рассказчика деньгами.

Цирюльня славится, главным образом, как место, в котором концентрируются сплетни. Бедны они и незатейливы... Нет в них европейского блеска и фантазии.

— Слышал, — говорит Ахмет Мамету. — Джавидка себе еще жену берет.

— Собака этот Джавидка, — мямлит Мамет. — А ты слышал, что Солеймана поймали у каймакама в то время, как он лошадь хотел украсть.

— Наверное, достанется ему за это.

— Достанется.

— А на базаре, говорит, нынче одному персюку голову отрезали.

— Персюку?

— Да.

— Угу... мм...

Дремлют, ожидая очереди.
Вот и все сплетни.
О турках поэт сказал так:
Создал сплетню, подобную стону,
И навеки духовно почил...

(Коран X1, 3–7, 22).

Семейные торжества

Главные семейные торжества — свадьба и рождение.

Не в пример европейским обычаям, турки тщательно сохраняют строгую последовательность этих двух событий: 1) свадьба; 2) рождение.

Таким образом, причина никогда не плетется в хвосте следствия.

Европейцы же часто считают свадьбу печальным следствием и прибегают к нему уже тогда, когда причина довольно твердо выговаривает: «папа» и «мама».

По турецкому обычаю муж до свадьбы не видит своей жены.

И опять происходит обратное европейским обычаям: европейскому мужу это выпадает после свадьбы...

Обряд венчания — гражданский, даже в том случае, если муж — военный.

Мужа просто спрашивают:

— Согласен ли он взять в жены такую-то?

Муж отнюдь не должен отвечать:

— Глупый вопрос! А зачем же я здесь?

Он кротко говорит трижды:

— Согласен, согласен, согласен!

— Ладно, — думает мулла, — тебе же хуже, — и тут же обращается к невесте:

— Согласна?

— Согласна, согласна, согласна.

Этот обряд называется по-турецки: «сварганить свадьбу».

После обряда невеста отправляется в гаремлык, а жених в селямлик, где с друзьями и напивается, хотя Пророк и запрещает пить вино.

Во время пира гости салютуют стрельбой из ружей и револьверов в воздух, хотя иногда дело ограничивается не одним воздухом.

А около невесты в это время толкотня, давка. Все женщины квартала и даже просто прохожие, набившись в комнату, осматривают и ощупывают невесту так, будто от этого зависит их жизнь.

Вечером, когда новобрачный отправляется к жене, по дороге его встречают друзья и «колотят его старой подошвой,

плетками и кулаками, чтобы (по свидетельству того же всезнающего Голобородько), предохранить от дурного глаза и выбить из него тоску».

И в третий раз турецкий обычай поколачивания мужа друзьями резко расходится с европейским обычаем, по которому это совершается наоборот и не до брака, а после...

Все у этих турок, как говорится, шиворот- навыворот...

Итак — за браком в турецком семействе последовательно идет рождение.

Снова комнаты набиваются соседками, которые радуются, сами не зная чему...

Новорожденный лежит под шелковым пологом, на шею ему вешается амулет со священными изречениями и кусочками чесноку (?!). В некоторых провинциях Турции новорожденного посыпают солью и обмазывают маслом.

Приготовляют младенца таким образом отнюдь не для еды, а скорее из соображений чисто религиозных.

У нас в России тоже существует старинный обычай обмазывания горчицей нерасторопных официантов, но обычай этот имеет, вероятно, другое происхождение, чуждое всякой религиозности.

К приготовленному впрок турецкому ребенку начинают подходить все соседки и знакомые, выражая ему всякие пожелания и тут же, во избежание дурного глаза сплевывают в сторону. Отец ребенка на этой стороне обычно избегает стоять.

После обряда плевания появляются именитые гости, которых хозяин встречает, кланяясь и касаясь, по обычаю, правой рукой сердца, губ и лба.

Значение этих жестов, вероятно, такое: сначала хозяин проверяет, на месте ли бумажник, потом, касаясь губ, намекает, чтобы гость не болтал, чего не надо, а прикосновением ко лбу выражает мнение, что в голове посетителя не все кажется ему, хозяину, в порядке.

Однако гость не обижается — ибо обычай есть обычай.

Примечательно то, что на Востоке празднуется только рождение мальчика. Девочку и за человека не считают. О числе детей женского пола не принято осведомляться. Если турок говорит, что у него трое детей, это значит — три сына, хотя бы они были дураки самые непроходимые.

Не потому ли турецкие девушки делают слабые попытки скрыть свой пол, закрывая лицо фатой?

Смерть

Ввиду того, что турку обещаны в раю семьдесят семь гурий и битье баклуш всю райскую жизнь — он смерти не боится.

И родные его относятся к этому событию с завидным равнодушием.

— Смотри, Наира, — говорит старая тетка хозяйке дома. — Никак твой муж умер.

— Да, да, с чего это ему вздумалось?

Легкое удивление. Потом покойника кладут головой к Мекке, обмывают и в тот же день хоронят.

Пророк, имея в виду жаркий климат, советует совершать погребение в тот же день, а так как турку нужно все разжевать и в рот положить, то этой скоропалительности существует остроумное объяснение.

— «Если покойник принадлежит к избранным, то его следует возможно скорее доставить по назначению, если же к отверженным, спешите от него избавиться».

Стащив покойника на кладбище и засыпав его землей, все окружают имама, который должен спросить по обычаю:

— «Скажите, какова была жизнь этого человека?»

В этом случае не принято искренне выражать свое мнение:

— Проходимец был ваш покойник и каналья первой степени!..

Или:

— Удивляюсь, как его не повесили за кражи и поджоги.

Эти ответы недопустимы. Нужно отвечать так:

— «Покойник был добродетелен».

Автор надеется, что если бы его хоронили в Турции, то на стереотипный вопрос имама — последняя формула ответа была бы дана окружающими с полной искренностью.

Турецкая женщина

Удивительная вещь: европеец может изучать Турцию, проникать во все ее места совершенно свободно, кроме од-

ного места — гарема. И о Турции, однако, европеец ничего не знает, ничего ему неизвестно — кроме гарема.

О турецком гареме любой встреченный вами европеец может рассказать целые тома.

Он все знает — и устройство гарема, и его быт, обычаи, национальность контингента, занятие жен и их времяпровождение.

Откуда это? Почему любому европейцу (держу пари, что и всякому из моих читателей) гарем известен не менее, чем турку? Ведь гарем — единственное место, которое турки облекли страшной таинственностью и тысячью запретов.

Неужели, запретный плод так сладок?

Поэтому о положении турецкой женщины и о ее жизни в гареме распространяться не стоит.

Скажу только несколько слов о евнухах.

Евнухами называется особое племя, разбросанное по всей Турции. Чистота нравов представителей этого племени такова, что турки без всякой боязни доверяют евнухам охрану своих жен. Не было еще случая, чтобы истинный представитель этого племени обманул доверие мужа! И все это несмотря даже на то, что своих собственных жен евнухи по закону племени не могут иметь.

Происхождение их загадочно и делается еще загадочнее, если обратить внимание на следующее обстоятельство: хотя евнухи не имеют жен, а, следовательно, и детей, — тем не менее, однако, племя это не вымирает.

Восток хранит много тайн и очень немногие из них — разгаданы.

Кроме евнухов, достойно пристального внимания читателя то, как в Турции происходит развод. Если бы автор не пользовался солидным источником — его могли бы упрекнуть в измышлении и мистификациях.

Знаете, что достаточно для турецкого развода?

Достаточно мужу сказать: «жена, уйди от меня», или: «я смотрю на тебя, как на спину моей сестры» — чтобы существенная часть развода была закончена.

Пусть-ка попробует европейский муж с помощью такой формулы развязаться со своей женой!..

Жена его выслушает: скажет: «дурак ты, братец» — чем вся попытка к разводу и кончится.

Народное образование

— Какое там в Турции, — проворчит читатель, — народное образование. Самая дикая, неграмотная страна!..

Читатель! В Турции уже около сорока лет существует всеобщее и обязательное начальное обучение.

То есть, в Турции уже давно осуществлено то, о чем в России только говорят.

И если, все-таки, турки очень косны и отсталы, то это вина их программы и преподавания в школах.

А мы русские — умные — и там, где нам не мешают, превосходно сами обучаемся и обучаем других.

Чтобы, вообще, не расстраиваться, — закончим на этом напрашивающиеся параллели и сравнения.

Да здравствует грядущая Россия!..

Науки и искусства

О турецкой науке серьезно говорить не приходится.

Разве что изредка турецкий родитель высечет своего сына, и скажет при этом:

— Вперед тебе наука!

На такой науке далеко не уедешь, юношей она досыта не напитает и отраду старцам не подаст.

Что касается искусства, то к скульптуре и живописи турки, например, относятся так: «кто изобразит человека, то того вечно будет преследовать и мучить это изображение, требуя дать ему душу».

С такими принципами в искусстве далеко не шагнешь... Кому действительно охота намалевать человека, который потом отравит художнику всю жизнь, требуя для себя души, хотя мог бы спокойно удовольствоваться простым сосновым подрамником.

Поэтому, в живописи на стенах дворцов можно видеть картину, изображающую лодку на воде с веслами, поднятыми вверх, но без людей... В крайнем случае, художник нарисует лодочника, но безголового, вводя, таким образом, зрителя в сомнение — не автопортрет ли это?

Поэтому, судить о турецком искусстве по таким образцам все равно, как по поступкам компании мальчишек, играю-

щих на одном дворе в войну — изучать военную тактику и стратегию.

Турецкое сельское хозяйство

Турки возделывают кофе и табак.

Турецкая торговля

Турки торгуют кофеем и табаком.

Главное занятие турок

Турки пьют кофе и курят табак.

Заключение

Автор надеется, что благодаря его исследованию — Турция стоит перед глазами читателя, как живая.

Незаметно, в легкой общедоступной форме, автор дал читателю множество ценных, малоизвестных данных и расширил кругозор читателя настолько, что вывеска с изображением турка или картинка из турецкой жизни на табачной коробке — уже не будут волновать читателя своей загадочностью и экзотичностью.

Читатель должен быть благодарен автору за его самоотверженный труд, и если читателю придется хоронить автора, пусть он с чистым сердцем ответит на стереотипный вопрос имама:

— Покойник был добродетелен и знал толк в турецкой жизни...



ИЗ КНИГИ «ПИСЬМОВНИК "НОВОГО САТИРИКОНА"» (1915)





О ПИСЬМОВНИКАХ ВООБЩЕ

I

Я обратился в одному из своих друзей.

— Скажи: ты когда-нибудь пользовался письмовником?

— Для чего?

— Не для бритья, конечно, письмовник предназначен, главным образом, для того, чтобы, пользуясь им, сочинять всякого рода письма, — любовные, дружеские и прочие.

Мой друг усмехнулся и пожал плечами:

— Воображаю, какие глаза сделала бы Кэт, если бы я ахнул ей письмецо из письмовника!..

Я обратился к другому:

— Письмовником пользовались?

Он горько улыбнулся.

— Вы пользуетесь тем, что у вас плечи шире, чем у меня, и мускулы выпуклее, потому и спрашиваете. Если бы я был сильнее вас — вы не рискнули бы задать такой вопрос.

— Да вы не обижайтесь. Книга эта разрешена духовной и светской цензурой и продают ее явно и гласно в любом книжном магазине.

Спросил третьего:

— Письмовником когда-нибудь пользовался?

Этот вопрос парировался крайне едко:

— Сам идиот.

Не знаю: может быть круг моих знакомых и друзей состоит из людей исключительно высокой духовной и умственной организации, но я путем опроса установил непреложный

факт — никто из окружающих меня — письмовниками не пользуется...

У меня есть кое-какие знакомства и между издателями.

Я спросил одного:

— Письмовники издаете?

— Ого!

— Много?

— Тысяч двести в год печатаем. «Общепонятного» к Нижегородской ярмарке заготовили 80 тысяч, да «Любовного» около полутораста. Не книга, а булка.

Из всего изложенного можно вывести такое заключение: существует в России громадный слой людей, о котором мы мало знаем и который все свои письменные сношения ведет, опираясь исключительно на могущественное крепкое плечо «Общеполезного» или «Любовного» письмовника. Письмовник для этого сорта людей — все равно, что костыль для безногого, слуховая трубка для глухого и очки для подслеповатого.

Представьте вы себе молодого господина в зеленом галстуке с шикарным зачесом на темя, с липкими руками и лоснящимся угреватым лицом... Господин этот пользуется головокружительным успехом у женщин.

Почему? Что такое?

Да очень просто: на столе под коробкой с гильзами у него небольшая магическая книжечка, благодаря которой он может отуманить, потрясти и расстроить Маню, Глашу, Катю или Сашу, так, что та, как безвольная бабочка, кинется в самый огонь...

Благодаря этой магической книжке приказчик галантерейной лавки Ильюша Трынкин может написать черным по розовому такое, например, письмо:

Многоуважаемая Мари! *

Сил моих не достало более терпеть и удерживать волнующую грудь с той минуты, как увидал Вас. Спокойствие мое исчезло, предо мною ежеминутно мелькают Ваши ангельские взоры.

---

* Целиком взято из книги «Любовный письмовник» изд. Т-ва И.Д. Сытина.

Ваш милый образ не исчезает из моих мыслей, далеко блуждающих и ищущих такое прелестное и милое создание! Зачем мне долее скрываться от Вас, зачем не признаться прямо, что я люблю Вас? Люблю до бесконечности, до безумства! Теперь никто не может и ничто не в состоянии заглушить моих признаний. Я упорно боролся с моими мучениями, я день и ночь бился с моими страстями, прибегал ко всем развлечениям жизни, но везде встречал ваши взоры. Неужели милосердная судьба, доставившая мне случай в первый раз увидеть Вас, ангельское созданье, Ваши незабвенные взоры, расторгнет все мои надежды и мечты?

Ужели сладкие грезы будущности рассеются подобно тучам? Нет! нет! Я решился любить и положил в своем сердце свято сохранить эту любовь!

Я уже сказал, незабвенная Мари, что потерял свое спокойствие с той минуты, как полюбил Вас, следовательно, одна Вы своею любовию можете возвратить его; но, о, Боже, если я получу отказ. О! тогда разверзись земля и поглоти меня, несчастного!

Хотя с грустною думою заключаю письмо, но и в полной уверенности получить от Вас «да». Пребываю с почтением Вас бескорыстно любящий

И.Т.

Можете вы себе представить, что сделается с Машей, Сашей или Катей, когда она получит такое письмо? «Сил моих недостало более терпеть и удерживать волнующуюся грудь!»

А и вся-то книжка стоит только 15 коп. в многокрасочной обложке!

Сколько красоты и благородства в этой, например, фразе!

«Я прибегал ко всем развлечениям жизни, но...»

Перед вашими духовными очами сейчас же встает образ молодого изящного безумца, проводящего вечера на первых представлениях в кругу золотой молодежи, или в шикарных ресторанах среди моря искристого шампанского или в раззолоченных залах игорных домов, среди красивейших женщин страны — увы! Ничто не может заставить безумца забыть образ той, которая и т.д.

А смелость первых строк какова! Мороз по коже! Мозги в потолок!

«Зачем мне долее скрываться от вас, зачем не признаться прямо, что я люблю вас — прелестное и милое создание!»

И образ Ильюши Трынкина вырастает до высоты какого-то титана, голова которого скрывается в тучах, а сердце мечется, как вольный орел в клетке.

Теперь попробуйте потихоньку вытащить из-под гильзовой коробки и спрятать заветную книжечку — как выкрутится Ильюша из тяжелого, безвыходного положения, если, скажем, другую книжку купить негде, а письмо нужно изготовить по ходу событий сейчас же, сию же минуту.

Такую дрянь нацарапает неуверенной рукой внезапно ослепший Ильюша Трынкин, что на десяти возах не вывезешь.

Приблизительно так напишет Ильюша Трынкин, если он будет обходиться своими силами:

Милостивая Государыня Мари!

Вследствие вышеизложенного и, как говорится, что ум хорошо, а два лучше и окромя того, что сердце мое бьется при виде вас, как овечий хвост, то я готов лишиться живота и всего прочего, потому как человек я скромный, и никаких качеств не имею. Если же кто и говорил вам, что я имею качества, то не верьте — подлец он и наплюйте ему в самые глаза, а я вас не только люблю, но даже и уважаю вот что. Что и видно из нижеизложенного.

Ваш любитель, готовый всегда

Илья Тры.

P.S. Любовь не картошка, Мари, и тоже это надо понять!!!!

Пусть читатель сравнит первое письмо со вторым. Можно разве их сравнивать?

II

Надеюсь, что настоящие строки я пишу для людей, которые никогда не пользовались письмовниками и знают о них только понаслышке. В противном случае — труд мой теряет всякую цену...

Ибо рассказывать хлебопашцу о том, как надо косить хлеб — или описывать белым медведям северное сияние — труд пустой и действующий слушателям на нервы.

Итак я, как Ливингстон, углубляюсь в дикую Африку письмовников и результаты своих наблюдений поведаю изысканной европейской публике...

Внешность письмовника

Это — небольшая книжка в многоцветной обложке, на которой изображен мужчина в красном галстуке с пышной копной волос на голове. Щеки у него розовые, губы красные, лицо глупое. Он сидит в роскошном желтом будуаре и пишет письмо. Или: сидит лиловая дама с носом, сведенным излишними стараниями художника на нет, и пишет эта дама письмо же. В волосах у нее роза, а на голой шее колье из бриллиантов такой игры, что на любой из бриллиантов можно нанять полдюжины личных секретарей или наперсниц.

Третья книжка: мужская рука в красном рукаве (кажется, это — цвет мундира аргентинского дипломатического представителя) держит в руках желтое перо и выводит на листе бумаги:

Дорогая Катя!
Я вас безумно люб...

Бумага, на которой напечатан письмовник, скверная, серая, но это неважно: главное, не внешность, а содержание.

Заботливость о читателе

Большинство письмовников сопровождает книгу предисловием, предназначенным для неопытного человека, впервые бросающегося очертя голову в кипящую пучину светской жизни.

«Общие понятия о составлении писем»

С кем мы встречаемся каждый день, мы можем о всем переговорить лично; но с тем, кто находится на более или менее далеком от нас расстоянии, мы можем сноситься только письменно. Отсюда понятна необходимость умения

передать на письме ясно и толково, а также и вежливо все то, что нужно.

Как уже сказано, каждое письмо должно быть кратко, ясно и вполне понятно изложено, но изложение, язык письма, пригодный для сношения с близким родственником или коротким приятелем, безусловно недопустим в письме к лицу высокопоставленному: в первом можно допустить и шутливый тон и менее почтительности, чего совсем уже не допускается во втором.

Самого жестокосердого читателя может тронуть та заботливость, с которой составитель письмовника оберегает неопытного человека от ложных шагов на скользком поприще светской и общественной жизни.

Последние четыре строки, цитированные мною, относятся очевидно к тому разряду людей, который способен просьбу, обращенную к министру народного просвещения о принятии сына в гимназию — составить в следующих выражениях:

Дуся!

Ну, как вы там себе поживаете в своем министерстве? Наверное, дел — до чертиков? Ну, да всего не переделаете. А у меня к вам просьба, дрожайший: хочу остепенить своего подлеца Ваньку — избаловался он до умопомрачения! Не можете ли вы, ваше благоутробие, распорядиться, чтобы его взяли в какую-нибудь гимназию, все равно в какую — Все они одним миром мазаны. Засим, обнимаю вас и крепко жму ваши лапки.

Любящий вас

Кузьма Дикообразов.

Вот от подобного неуместного тона и ложных шагов, очевидно, и хочет оберечь своих читателей составитель письмовника.

Заботится составитель письмовника и о других очень важных мелочах.

Письма, кому бы они ни были адресованы, обыкновенно пишутся на так называемой почтовой бумаге, большого или малого формата, смотря по размерам содержания письма. Почтовая бумага существует нескольких светлых цветов, по лицам с высоким положением и даже вообще пожилым письма пишут на белой бумаге. Людям близким можно писать

и на цветной бумаге, и лишь розовая бумага употребляется в переписке с молодыми девушками. Заготовленное письмо складывается или пополам или вчетверо.

Отнюдь не нужно складывать из письма петуха или сжимать его в компактный, но неудобный для пересылки мячик...

Вложенное в конверт письмо, если оно посылается простым, может быть заклеено или запечатано облаткою, но если оно запечатывается, в случае надобности, сургучом, то сургуч обычно употребляется красный. Черного цвета сургуч употребляется только тогда, когда извещается о смерти. Равным образом и бумага с черной каймой только употребляется для какого-нибудь смертельного (?) извещения.

И опять во всем этом сквозит тайная боязнь составителя за своих неопытных клиентов; что если который-нибудь из них подмахнет на траурном бланке просьбу родителям о присылке ста рублей.

Моральный багаж составителя письмовника

Я перелистал много письмовников и в конце концов вывел заключение, что этически и морально, характер одного составителя резко разнится от другого.

В то время, как один составитель — пресно-сентиментальная натура — перегружает свое произведение письмами «поздравительными к родителям», «поздравительными к брату», «соболезнованиями по поводу болезни жены друга» — другой составитель, — развратная беспринципная душонка — битком набивает свой письмовник такими легкомысленными, аморальными и фривольными образцами:

«Письмо к дяде, от которого жаждешь получить наследство».

«Письмо влюбленной старушки к молодому человеку».

«Письмо к жене приятеля, которая нравится».

«Письмо к богатой вдовушке».

Увы!.. Справки, которые я навел по поводу успеха того и другого письмовника — оказались всецело в пользу второго.

Таков наш испорченный век!

Круг лиц, пользующихся письмовниками

В этом вопросе мы резко расходимся с составителями письмовников.

В то время, как я установил категорически, что лица высшего и даже среднего круга ни в каких случаях не прибегают к услугам письмовников — составители письмовников пересыпают письма такими, не оставляющими никакого сомнения, фразами:

«С тех пор, как я имел удовольствие встретить вас на балу у баронессы фон-К.».

«Добрые друзья донесли мне, что вы, который так уверяли меня в своей вечной любви — женитесь на графине Б...»

Очень подозрительные, наводящие на размышления подробности: если письмовниками исключительно пользуется сердцеед Ваня Самотягин из парикмахерской «Альфред» или мастерица паровой прачечной Агаша Мымрина — то почему баронесса фон-К.? Почему графиня Б.?

Или мы стоим здесь перед страшной позорной тайной из жизни высшего общества, или составители письмовника допустили в своих трудах род невинного самоутешения и саморекламы: вот, дескать, что значит письмовник — граф, предки его о бок о бок с Грозным татар били, а он без нашего «самоучителя писем» ни на шаг.

Бог его знает, в чем истина.

Темное это дело.

Любовные письма

Письмовник в издании Н.И. Холмушина в предисловии ребром ставит наболевший вопрос. Что такое любовь?

Тут же, впрочем, этот вопрос и разрешается:

Что такое любовь? На этот вопрос, кажущийся на первый взгляд очень простым, трудно дать сколько-нибудь удовлетворительный ответ.

> *Величайшее благо жизни, как известно, сама жизнь, а потому чувство самосохранения и продолжения своего рода присуще всем, начиная с человека, одаренного разумом и кончая самым низшим классом животного царства природы.*

Вот что такое любовь, и трудно было бы спорить в этом случае с опытным автором, тем более, что в другом труде его коллега подтверждает это определение.

«Хотя любовь это нечто такое, что тебе, друг Горацио, и не снилось, но по нашему вся любовь стремится к тому, чтобы родить лишнего (?) ребенка».

О женщинах этот автор говорит прямо и резко:

Сделать характеристику женщин вопрос довольно трудный и почти неразрешимый, так как легче съесть пуд соли, чем проникнуть в тайники души «милого, но погибшего (?) создания».

Тот же автор (легкомысленный шалунишка) говорит дальше:

Положим, что и грешная любовь также имеет свою прелесть и, как все таинственное и неизведанное, она увлекает нас и нередко оставляет неизгладимые следы.

Последняя фраза не совсем ясна, но будем думать, что автор употребил ее в красивом смысле.

Углубляясь далее в содержание любовного письмовника я начинаю удивляться, до какой степени всякие случаи жизни и житейские комбинации предусмотрены составителями письмовников... Вот, наудачу, несколько заголовков писем.

1) Письмо к особе поэтической.

2) Письмо к особе с легким (?) огоньком.

3) Письмо к мечтательной девице.

(Мне никогда не забыть тех счастливых часов, которые я провел с вами и которое оставило неизгладимый след в моей наболевшей душе. Бывало злодейка грусть или хандра, как свинцовая пуля, ляжет на мое наболевшее сердце, но ваша милая улыбка, ваш добрый взгляд, как живительный бальзам, меня излечивали)

4) Письмо от мужчины, слывущего за ветреника и непостоянца:

Выслушайте мою исповедь. Я был молод и чувствовал избыток сил: с лихорадочною жаждою капля по капле испивал я чашу жизни, не щадя ни сил, ни здоровья. Да и к чему было щадить их? Кому я был нужен? Но вдруг лучезарная звезда осветила темный мой путь. На дороге моей бурной жизни попались вы.

5) Письмо к вдовушке в шутливом тоне:

Знаете ли, о чем я думал? Пари держу, что не отгадаете. О том, что часто второй номер бывает лучше первого, по крайней мере нисколько не хуже. Ваш первый Номер в объятиях хладной земли, не будем тревожить его мирный сон. Любовь что луна.

(Действительно, очень похоже!)

Кто место в небе ей укажет,
Промолви: там остановись:
Кто сердцу юному прикажет:
Люби одну, не изменись!

Вы думаете, что составитель предусматривает только счастливую жизнь во всех видах?

О, нет. Он смотрит глубже и видит своим духовным оком даже тот момент, когда человек охладевает к предмету своей страсти и, выражаясь вульгарно, не прочь был бы отвязаться от надоевшей любовницы. В этом случае составитель с готовностью мефистофельски диктует остывшему любовнику:

Милостивая государыня
Анна Львовна.

Хотя и поздно сознавать свои ошибки, но лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что вы и сами успели убедиться, что мы не годимся друг для друга, что не любовь связала нас, а мимолетное увлечение, а потому самое лучшее, что мы можем предпринять, это расстаться друзьями, расстаться без гнева и желчи, и сохранить не отравленное воспоминание о тех днях, которые дарили нам мимолетным блаженством.

Прощайте и простите уважающего вас

Виолетова.

Жестоко, но — ничего не поделаешь.

Сама жизнь жестока, а составитель решил шагать с ней нога в ногу, не отставая.

И, однако, тот же автор отечески снисходителен к ближним своим. Он прекрасно понимает, что

Любви все возрасты покорны.

И поэтому составляет

Письмо старухи к юноше

Дорогой мой Ваня!

Позволяю себе называть тебя этим именем, с одной стороны, по праву старшинства, с другой, потому, что знаю тебя с раннего детства, когда я имела счастье носить тебя на своих руках. В летах наших есть разница, нет спора, но эта разница не мешает мне любить тебя искренно и нежно и стремиться приобрести с твоей стороны сочувствие. Прежде всего мною руководит желание спасти тебя от случайностей несчастного брака, которые столь возможны в молодом поколении, с другой стороны, я не утратила еще способности любить нежно. Подумай об этом, ангел мой, всесторонне и напиши мне чистосердечно. Ты знаешь мои материальные средства, которые будут, конечно, к твоим услугам и избавят тебя приобретать таковые едва для посредственного существования.

Много ли юношей устоят перед этим убедительным дурманящим неопытный мозг образчиком эпистолярного стиля?

Письма безнравственные

Если предыдущее письмо можно было бы с натяжкой объяснить тем именно, что «любви все возрасты покорны», то нижеследующим двум письмам с точки зрения нравственности — нет никакого оправдания:

Успокоительное письмо к жене от мужа, желающего пожуировать на свободе.

Дорогая несравненная моя! Представь себе, что наше заседание затянулось и продолжится, вероятно, до поздней ночи, если не до утра. Пишу тебе, чтобы ты не беспокоилась о моем отсутствии. Нас не отпустят даже обедать!.. Не беспокойся же и в особенности не жди меня. Я не могу понять, что за безбожные люди председатели, назначающие такие длинные заседания! Разве можно отрывать человека от его спутницы жизни, данной самим Богом? Разве позволительно отрывать меня от моего бутончика, розанчика, ненаглядной моей? Зовут! Не дают понежничать даже в письме: Варвары! Крепко крепко обнимаю тебя — Твой

(Подпись)

Успокоительное письмо к мужу от жены, желающей... побыть на свободе.

Милый мой!

Не удивляйся, если я приеду поздно или, может быть, вовсе не буду ночевать дома. За мной прислала моя давнишняя знакомая (Лидочка! – товарка по институту – ты не знаешь) Только вчера приехавшая из провинции и заболевшая в гостинице. Я встретила ее мужа на улице, он шел к нам с просьбой от бедной жены своей навестить ее. Я хотела было дождаться твоего возвращения, но так как ты часто опаздываешь, то я решилась ехать, не дожидаясь тебя. Впрочем, по нижеприложенному адресу гостиницы ты можешь, если хочешь, разыскать меня. Извини за неразборчивость письма, я так спешу, так спешу! Обнимаю тебя – Твоя

(Подпись)

Примечание: Обещанный в письме адрес гостиницы второпях забывают написать*.

Полюбуйтесь: какую ядовитую струю отравленной лжи и фальши источает составитель письмовника, в первом случае – на жену, во втором – на мужа. Это негодование на несуществующего председателя это возмущение тем, что его, мужа, отрывают от «его спутницы, данной самим Богом», это фальшивое: «бутончик, розанчик, ненаглядная моя!»... И как апофеоз лжи – «зовут! Не дают понежничать даже в письме».

О-о... Большой талант дан от Бога составителю письмовника, и во зло употребляет его составитель...

Он – психолог! Он – знаток быта! Он – знаток женщин!

Он знает, что товарка по институту Лидочка – святое дело, что муж ничего не заподозрит, а если и заподозрит, то как он разыщет жену, если она прибегает к дьявольски хитрому приему, подсказанному беспринципным составителем.

Страшный человек – составитель письмовника и страшные семена бросает он в семью – этот верный и прочный оплот государства.

Грех ему, составителю.

Нет, что касается меня, то я безусловно предпочитаю составителя другого письмовника – нежного и кроткого, как незабудка...

---

* Оба образца целиком из «Общеполезного письмовника» 1902 г.

Он пишет, как журчащий ручеек, как шелестящая травка:

Милый мой!

Не видала я тебя другой день, а как тягостны были эти дни и часы! Я извиняла тебя и уверяла себя, что завтра ты готовишься к великому делу. Ах, как бы я желала успокоить тебя в эти минуты: я воздвигла бы каменную ограду вокруг тебя, чтобы защитить от всех встречных бурь и невзгод, окружающих тебя. Поверь, что я постоянно вижу перед собой милый твой образ. На прошлой неделе, когда я была у вас и играла с тобою в карты, ты был так весел, что душа моя радовалась, и, пришедши домой, я не знала, как благодарить судьбу и всех, кто только был причиною твоего спокойствия. Будь здоров и весел всегда.

Твоя Н.

P.S. Зайди на минуточку ко мне, я ожидаю тебя с большим нетерпением.

Вот это — нравственность, вот это — чистое сердце!

Очень странное впечатление производят те письма, в которых подробно изложены обстоятельства и поступки пишущего, отнюдь не случившиеся в действительности, а измышленные творческим напряжением автора письмовника:

Дорогой ты мой Лизок!

Дрожащими руками (а если они не дрожали!) распечатал я твое письмо и долго, долго не решался читать его. Оно было для меня вопросом жизни или смерти. То ужасное состояние, которое я переживал в эти минуты нерешимости, останется мне памятно, кажется, на всю жизнь. Тут я понял состояние человека, ожидающего услышать свой смертный приговор от неумолимых судий. С письмом твоим в руке я долго ходил (ходил ли?) по комнате. Если ты меня спросишь, что я думал в это время, то я наверное не сумею тебе ответить.

Наконец, решаюсь читать письмо твое, коего первые строки совершенно воскресили меня. Я говорю: воскресили, право, я похож был на мертвеца, что сказало мне зеркало, против которого я сидел! (Ой, не сидел!) Как видишь, мой ангел, и я страдал не меньше, как и ты. Употребляю все зависящее от меня, чтобы обнять тебя поскорее, моя ненаглядная крошка.

До гроба твой Валентин.

Конечно, что и говорить — письмо складное: но можно ли так лгать любимой женщине, насчет зеркала, беганья по комнате и прочего.

Нехорошо.

В том же духе составлено письмо мужа, уехавшего по делам:

Было бы варварством с моей стороны взять тебя сюда в этот маленький захолустный городишко. С другой стороны, сидя дома, я провожу иногда целые часы, зарывшись в пыльных, грязных бумагах, ищу, как говорится, подчас в поле ветра. Имею основание думать, что это пришлось бы тебе не по душе. Единственно, что здесь хорошо, так это воздух, особенно на берегу реки, где устроен маленький сквер, куда по вечерам выползает разношерстная городская публика считаться с мелочными жизненными вопросами, мелочными до того, что становится тошно слушать их. Вот тебе поверхностная характеристика настоящего местопребывания.

В особенности странно будет, если муж напишет такое письмо из Петрограда, адресуя его жене, сидящей где-нибудь в Тарнополе или Дубосарах...

Конечно, составитель письмовника может оправдываться тем, что все несовпадающее можно заменить другим, но для человека, который рабски привязан к письмовнику — это не так легко.

Писал же один из героев Брет-Гарта Бен Добней такое послание: «Письмо ваше от 12-го числа получил и содержание оного принял к сведению»... А когда адресат, отроду ему не писавший, спросил, что значит эта загадочная фраза — Бен Добней конфузливо ответил, что так написано в образцах писем, и — как нужно было начать иначе — он не знал...

Еще о предусмотрительности составителя.

Конечно, «нельзя объять необъятное», но составитель письмовника пытается это сделать...

Я уже приводил те многочисленные и своеобразные комбинации, которые предусмотрел составитель в любовном отделе.

Той же предусмотрительностью и многообразием форм щеголяет составитель и в прочих отделах.

Разве не заслуживают благодарности насыщенные заботливостью такие заголовки:

1) Письмо к двоюродной тетке, которая намекает, что племянник нравится ей не по-родственному.

2) Письмо с извещением, что сын Ваш заболел скарлатиной, и журфикс, поэтому, не может состояться.

3) Письмо старого мужа к сбежавшей от него молодой жене. (Письмо это изумительно по тому духу подлинного аристократизма корреспондента, каковой аристократизм исключает, по-нашему, всякую необходимость в пользовании письмовником:

«Елена Григорьевна!

Ваше письмо убеждает меня, что Вы не хотите переломить своего упрямства, которое всегда было причиною нашего семейного разлада. Пусть будет по-Вашему. Живите врозь со мною, но для этого Вам нужны средства, а я, как Вам известно, не могу давать много, тем более, что Вы изгоняете меня из краев родных за границу. Возьмите все то, что Вы получили в приданое и в дополнение этого я прикажу своему управляющему высылать Вам ежемесячно посильную для меня сумму. Бог с Вами. Прощайте.

В. Г.»)

4) Письмо с подозрением, что данное лицо поцеловало в темной гостиной вашу дочь...

5) Письмо о пособии несчастному.

6) Письмо с отказом давать средства на воспитание ребенка.

7) Письмо с намеком о неотданном долге.

8) Письмо с вызовом противника на дуэль за увоз любимой жены.

Не трогательна ли эта готовность составителя откликнуться на всякий случай жизни. И не облагородит ли вся эта литература Ильюшу Трынкина, сознающего, что у него в каждую данную минуту под руками есть средство вызвать великосветского противника на дуэль или послать баронессе Ф. приглашение на файф-о-клок ти?

Поистине составителем письмовника упущены лишь весьма немногие случаи жизни, которые мы, по мере сил, постараемся восстановить:

1) Письмо к доктору, с приглашением осмотреть сынишку, проглотившего нитку бус.

2) Письмо к знакомому брандмайору с доносом на изменяющую ему содержательницу трикотажного заведения.

3) Письмо с извещением, что ваш дедушка сварился на мыльной фабрике в котле с раствором.

4) Письмо с приглашением гостей на пирог из молодых котят (ибо приглашений на обыкновенные пироги имеется в письмовнике — семь штук).

5) Письмо с сообщением полиции, что вы собственноручно зарезали свою жену и спрятали ее труп в рояле.

И, наконец, — 6) Письмо с извещением о рождении у вас и у вашей жены маленького негритенка с перьями, вместо волос (белый цвет и обычный вид ребенка, конечно, уже предусмотрен письмовником).

Заключение

Я большой утилитарист и смотрю на вещи трезво.

Поэтому, если бы кто-нибудь из моих читателей заинтересовался письмовником и ввел бы его в свой обиход, то я предлагаю этому последнему устроить так, чтобы его адресат имел такой же письмовник.

Тогда сложное дело переписки упрощается до смешного.

Предположим, вы находите в письмовнике: № 34. Письмо молодого человека после взаимного признания... В нем 65 строк и начинается оно так: «Воспоминания о нашем последнем свидании и той торжественной минуте, когда мы признались в любви, наполняет мое сердце неизъяснимым восторгом. Сколько счастья! Сколько блаженства и проч.»

Что же делаете вы? Вместо того, чтобы переписывать все это длиннейшее письмо, вы пишите объекту страсти просто:

«Дорогая Валя! Смотри № 34. Издание торг. дома Коновалова. Твой Петя».

И на другой день получаете ответ:

«Смотри 38, и 11 последних строк в 41-м. Целую столько, сколько там указано. Валя».

Вы берете книгу и по номеру отыскиваете дорогой вашему сердцу ответ.

Впрочем, мое дело — предложить.

Может быть, оно почему-нибудь и неудобно.



ИЗ КНИГИ "ФИЗИОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА" (1916)

о маленьких – для больших



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(*Благожелательная критика настоящей книги*)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как-то у нас в России всегда бывает, что люди, наиболее способные, наиболее знающие — оказываются позади, оказываются всегда затертыми.

Например — я.

Физиология человека для меня открытая книга: разбудите меня ночью и я сейчас же расскажу вам, почему человек кушает, что заставляет его дышать, сообщу вам тысячи таких вещей, которые известны только узким специалистам.

А анатомия... Смешно мне даже говорить об анатомии. Короче сказать, я знаю ее, как свои пять пальцев, которые тоже входят в эту любопытную область. Попробуйте, например, отрезать чью-нибудь ногу и показать ее мне — я сейчас же скажу вам — правая это нога, или левая, мужская или женская, взрослого человека или ребенка. И все это без сложных медицинских аппаратов, без термометра, пульса и проч... Единственно — знание и опытность.

Опытность, как говорится, города берет.

Что же касается моих познаний по психологии, то они даже действовали на нервы моим друзьям...

Приходит один из них ко мне; губы у него пересохли, глаза сверкают.

— А я к вам на минутку. Что за чудесный, что за гениальный рассказ в журнале прочел я. Конечно, ваш рассказ. Прочтешь — и Толстой с Гоголем делаются такими жалкими...

— Да, Толстой, — угрюмо говорю я, — а вот сейчас пришел каналья управляющий, и все деньги, которые были, я ему за квартиру отдал. Это вам не Толстой...

— Неужели и 25-ти нет?! — испуганно спрашивает гость...

— А что? Разве вам нужно? — удивляюсь я.

— Ну, конечно... Экая жалость!..

— Да, да... Даже то, что было отложено в жалованье горничной, и то пришлось отдать.

— Так-с. Ну, я, знаете, пошел. Нечего тут рассиживаться.

Психолог я или не психолог?

Психолог.

Однажды на окраине Одессы, в 2 часа ночи, ко мне подошел неизвестный человек и попросил прикурить. Хотя у меня папиросы в зубах не было, но он держал в руках папиросу, которой хватило бы на целый полк: была она длиной около полутора аршина, деревянная, со свинцовым наконечником.

— Прикурить? — добродушно улыбнулся я. — Сейчас.

Ударил его кулаком под ложечку, отчего он согнулся дугой, — и быстро пошел вперед.

Читатель должен сознаться, что так быстро раскусить совершенно незнакомого человека может только профессионал-психолог.

* * *

К чему я все это говорю?

Когда мне пришла в голову идея настоящей научной и полезной книги, я решил привлечь к участию в ней Аркадия Бухова, Георгия Ландау и Тэффи.

Предполагал я так:

Я напишу «Физиологию», а они пусть разделят между собой «Анатомию» и «Психологию».

Когда собрались, и я ознакомил всех с содержанием и целью книги, Тэффи сказала:

— Я буду писать «Физиологию».

«Лопнула моя «Физиология», — горестно подумал я, — «ну, все равно. Напишу «Анатомию».

— В таком случае я беру на себя «Анатомию» — сказал Ландау, энергично поглядел вокруг.

— Значит, нам с вами остается «Психология»? — с дружеской улыбкой обратился я к Бухову.

— Зачем же вам затрудняться, — хихикнул Бухов. — Я и сам с ней справлюсь.

Я очутился в положении хозяина, который радушно пригласил гостей на обед, а они жадно съели и свои и его порции, оставив этого добряка голодным.

— А что же... я буду делать... — пролепетал я.

— Зато ваша идея, — утешила меня Тэффи.

— Прекрасная идея! — подхватил Ландау.

— А мне бы тоже хотелось написать о чем-нибудь несколько строчек.

— Знаете что, — промямлил Бухов, оглядывая меня, как банкир оглядывает назойливого просителя, явившегося к нему в деловые часы за пособием. — Напишите вы заключение — вот и все.

Хозяина оставили без обеда. Но в утоление его аппетита предоставили ему вылизать тарелки и подвести итоги съеденному и выпитому.

— Хорошо, — добродушно усмехнулся я. — Заключение, так заключение.

* * *

Надеюсь, что читатель перешел к «Заключению», предварительно прочтя все три части настоящей книги.

Надеюсь, что он это сделал. В таком случае он меня поймет.

Я тоже прочел все три части...

Грустно!

Большей неряшливости, ненаучности и самого (да простят мне товарищи — пишу, что думаю) самого беспардонного невежества мне не приходилось встречать ни в одной научной книге...

Один мой приятель, помещик, поручил испечь куличи, ввиду отсутствия женской прислуги — кучеру. Кучер разрешил вопрос просто: насыпал в ведро муки, яиц, шафрану, сахару, налил масла, поболтал своей лопаткой и поставил

в печь. Когда же «кулич» извлекли из ведра, то помещик только раз ударил этим куличом кучера по голове, а пролежал кучер в земской больнице целых полтора месяца, как раз до зеленой Троицы...

«Труды» моих товарищей, напечатанные в этой книге, очень напоминают мне произведение трудолюбивого, но неудачливого кучера.

Начнем с Ландау... Он взялся написать «Анатомию» — благороднейшую, прекраснейшую, интереснейшую науку.

Как же он к ней подходит?

Очень просто: «я», говорит он, должен описать человека всего, с головы до пяток и поэтому, первым долгом, начну сверху, «с волос». Очевидно, если бы ему подвернулся человек, одетый для выхода на улицу, он начал бы с шапки; если бы объектом его анатомических наблюдений оказался мороженщик, он начал бы его анатомическое описание с банки сливочного мороженого...

И этого жалкого ненаучного метода г. Ландау упорно, с усердием, достойным лучшей участи, придерживается до самого конца.

Кроме того, я горячо протестую против того общего легкомысленного тона, которым проникнута вся «Физиология» г. Ландау. Автор даже в некоторых (правда, очень редких случаях) пытается острить!

Недостойные попытки. В храме науки канкана не танцуют и из анатомического театра — театра миниатюр не делают.

Единственное достоинство книги г. Ландау (если он и тут не смошенничал) это те редкие труды и источники, которыми он пользовался для своей «Физиологии».

Означенные труда настолько редки, что пишущий эти строки, несмотря на все старания, ни одной из указанных книг не нашел ни в Публичной Библиотеке, ни в Музее Александра Ш (последнее место пишущий эти строки находит, пожалуй, слишком перегруженным картинами — в ущерб памятникам печатного слова...).

В общем же, я думаю, на читателя труд г. Ландау должен произвести тягостное впечатление... Прочтешь — и будешь знать себя, свое тело еще меньше и бестолковее, чем до чтения.

* * *

Не менее сумбурное впечатление производит и «труд» г-жи Тэффи:

«Физиология человека».

Тэффи слишком просто подходит к сложнейшим органам человека и слишком примитивно разрешает все сложнейшие задания мудрой природы.

Свою «Физиологию» она сопроводила собственноручными рисунками — и, Боже ты мой, что это за наивность и простодушие, чтобы не сказать более!..

Коленную чашечку она представляет себе чайной чашкой!..

Бант на туфле — считает частью ноги!

Сказано: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...

Не очень-то такая наука сократит опыт!

Грудную жабу та же Тэффи представляет в виде обыкновенной жабы, сидящей на груди, а сердце, как известно в научных кругах, представляющее собою бесформенный пульсирующий мешок, г-жа Тэффи рисует в виде червового туза, да, кроме того, протыкает стрелой, забывая, что это не постоянное состояние сердца, а временное, да и притом аллегорическое.

Так же просто подходит Тэффи и к такой части организма, как грудная клетка: слышала она отовсюду — грудная клетка, грудная клетка, а что такое грудная клетка, представляет она себе очень смутно или, вернее, очень просто: рисует проволочную клетку, в которой, как птица на шестке, болтается на какой-то нитке (?) сердце...

Идя по такому пути, Тэффи должна, рисуя надбровные дуги, украшать их колокольчиками, а лопатки изображать детскими деревянными лопаточками для рытья песка...

Да! Таких лопаток нужно избегать, ибо так легко зарыть ими свой талант и свое уважение к чистой науке!!.

* * *

Поистине жалкое впечатление производит и Аркадий Бухов.

Если труд г. Ландау спасают те серьезные редкие источники, которыми он пользовался, то «источники» г. Бухова

не вплетут в него новых лавров, если это, вообще, ему нужно.

Он пишет о психологии, а источники, на которые он ссылается, таковы:

«Отчеты Олонецкого Земства» (при чем тут психология?).

«А вот и она живая струна — сборник куплетов». (Ну, и источничек! Впрочем, по Сеньке и шапка)...

«Влияние окисляющих веществ на осадки цинка». Здесь — циническое неприкрытое желание щегольнуть техническими знаниями, совершенно не идущими к делу).

И наконец –

«Лошадь и уход за ней» (Томск).

Последний источник, впрочем, объясняет ту, казалось бы, непонятную на первый взгляд примитивность и скудость «психологических» выводов автора.

В самом начале своей «Психологии» Арк. Бухов пытается оправдать себя:

«Автор сознательно (сознательно ли? Откуда?..) уклоняется от программы, рекомендованной для прохождения в старших классах средне-учебных заведений»...

Еще бы! Внедрение в ученическую голову Буховской «психологии» навсегда выпрямило бы все мозговые извилины в голове ученика, и ошарашенный ученик с тихим стоном, быстро покатился бы в убежище для людей с навсегда расшатанной психикой.

И однако, отказываясь благоразумно от учеников, Бухов в другом месте ничтоже сумняшеся заявляет:

«Настоящий труд предлагается читателю в качестве пособия для самообразования».

Нет, г. Бухов! «Лошадь и уход за ней» одно, а психология другое. Лошади и уходу за ней не место в храме науки. Пусть лошадь уйдет из храма науки, а уход за ней совершит и автор разбираемой мною макулатуры.

Единственное достоинство Буховского труда — это, что автор отнесся к нему серьезнее двух предыдущих авторов, избегая остроумничанья и «юмористики». Читая «Буховскую психологию», читатель ни разу не улыбнется, а это для научного труда, хотя бы и столь несовершенного — уже шаг вперед.

* * *

Не мое дело учить и наставлять людей, запутавшихся слабыми ногами в длинной мантии медика и психолога.

Я слишком скромен для «метра».

Но не могу удержаться, чтобы не привести тех нескольких строк из «Анатомии и Физиологии человека», которые я начал еще в то время, когда не знал, что эти две отрасли науки будут выхвачены моими «товарищами» буквально из под самого носа.

Я, конечно, ничего не говорю, но, по-моему — вот как надо писать:

ЧЕЛОВЕК

Его анатомия и физиология.
Соч. Аркадия Аверченко.

Глава 1
Что такое человек?

Случалось ли вам, читатель, видеть когда-нибудь человека (Homo)?

Это очень любопытное существо представляет собою тело высотой до 2½–2¾ аршина в зрелом состоянии, а в незрелом меньше. Ходит человек, как некоторые сорта обезьян, на нижних конечностях, держа все тело в вертикальном положении. Голова чел. покрыта волосами, а иногда и нет (т.н. лысые); любопытнее всего, что чел. не мычит, не ржет и не лает, как все другие, а, так называемое, разговаривает. Чел. существо всеядное, отличаясь от свиньи (ит. — porco) лишь тем, что есть даже ее, чего она лишена (т.е. есть человека).

Человек любит умеренный климат, избегая по возможности как сильных морозов, так и пожаров своих логовищ (фр. maison).

Человек разделяется на мужчину и женщину; мужчина, в свою очередь, на мальчика и взрослого; потом, впрочем, это все смешивается.

Женщина приносит в год не менее одного детеныша, мужчина — наоборот. Живут семьями, а иногда и так, на холостую ногу, как говорится.

Женщина кормит детеныша грудью, отец собственным горбом, что лишний раз доказывает полную полярность (словцо-то. Обратили внимание? Это вам не Тэффи)... мужчины и женщины ....

Вот вам несколько строк, которые мне удалось написать, но и по ним виден тот поистине научный разумный метод, с которым я подхожу к человеку ....

Что ж, — не удалось.

Мало ли нас гибнет, самородков, молча и безропотно.

Аркадий Аверченко.



КОММЕНТАРИИ



о маленьких – для больших



Настоящий том по своему содержанию как бы разделяется на две части. Объясняется это переломной эпохой в истории России. Вступление России в Мировую войну не могло не сказаться на творчестве писателя, который в своем творчестве всегда откликался на мельчайшие нюансы исторической эпохи.

Не нужно было обладать особой интуицией, чтобы понять, что нельзя писать по-прежнему. Войну нельзя было игнорировать.

И потому столь много в этом томе произведений так или иначе освещающих события военных лет. Но Аверченко оставался по-прежнему жизнелюбом, и многие его рассказы эпохи войны вовсе ее не касаются, а посвящены общечеловеческим проблемам, сюжетам, конкретным характерам.

«Дешёвая юмористическая библиотека “Нового Сатирикона”» Свинцовые сухари (1914)

Один из первых сборников, выпущенных в серии «Дешевая юмористическая библиотека» Нового Сатирикона после начала Первой мировой войны в 1914 г. Все рассказы и фельетоны публиковались в нем впервые.

Печатается впервые после первой публикации.

Восточная политика.

С. 5. Примечание — сноска к этому фельетону принадлежит самому автору.

Война началась 28 июня 1914 г. военными действиями Австро-Венгрии против Сербии. Турция присоединилась к австрийско-германскому блоку 29 октября 1914 года. Следовательно, фельетон написан в середине октября 1914 года.

С. 6. *Селям Алейкюм!* — приветствие, общее для большинства тюркских народов.

С. 7. *Закройте проливы!* — По русско-турецкому союзному договору 1799 г. Россия получала право проводить свои суда через черноморские проливы (береговая зона которых принадлежала Турции). Это право подтверждено в договоре 1905 г. По Ункяр-Искелесийскому договору 1833 г. Турция обязалась закрыть проливы для прохода иностранных судов.

С. 9. *...по отношению к державам тройственного* согласия. — Имеется в виду Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и Италия), созданный в 1882 г. и направленный против Франции, Англии и России.

Румынская музыка.

С. 13. *...русские уже забрались в Трансильванию.* — Трансильвания — историческая область на севере Румынии. С XI–XII вв. подчинялась венгерским королям (с 1541 г. под сюзеренитетом турецкого султана. На Карловицком конгрессе 1698–1699 гг. признания власти над Трансильванией, входившей в состав венгерского королевства, добились Габсбурги. Трансильванским мирным договором 1920 г. Трансильвания была закреплена за Румынией.

...Бессарабию бы отдали. — Бессарабия — историческая область между Прутом и Днестром. В X–XII вв. входила в состав Киевской Руси. В 1513 г. подпала под власть Турции. В 1812 г. по мирному договору между Россией и Турцией вошла в состав России, образовав Бессарабскую губернию.

С. 15. *Играй «Куколку»!!* ...Играй «Танец Анитры»! — имеются в виду популярные мелодии начала XX в., исполнявшиеся на эстраде.

«Специалисты».

С. 18. *...генерал Лиман фон-Сандерс...* — Отто Лиман фон Сандерс — германский генерал, военный советник в Османской империи во время Первой мировой войны.

С. 19. *Аллах Керим...* — Господь милостив (арабск., тюркск.).

...Иль-Алла, Россул-Алла! — Нет бога, кроме бога и его единственного пророка! (арабск., тюркск.).

С. 21. *... штирборта от бакборта не отличит.* — Штирборт (голладск.) правая сторона судна, если смотреть с кормы на нос. Бакборт (голландск.) — левая сторона корабля.

...часть пушек навели на Айя-Софию. — Один из наиболее значительных памятников архитектуры и истории храм св. Софии (532–537 гг.), построенный еще в Византии. Позже во времена владычества Турции превращен в мечеть. В настоящее время используется как религиозное сооружение и христианами и мусульманами. Находится в центре Стамбула.

Конец.

С. 24. *...тут на реке Марне, Клук зашел сюда, а Жоффр предпринял движение налево...* — На французской реке Марне во время Первой мировой войны с 5 по 12 сентября 1914 г. произошло сражение, во время которого англо-французские войска остановили наступление немецких войск в районе между Парижем и Верденом и вынудили их к отступлению, сорвав германский стратегический план быстрого разгрома Франции.

Жозеф Жак Жоффр (1852–1931) — маршал Франции (1916); в Первую мировую войну главнокомандующий французской армией (1914–1916), именно он добился победы в Марнском сражении.

Александр фон Клук (1846–1934) — германский генерал, командующий 1-й армией во время Марнского сражения.

Стратегический план

С. 33. *...русские взяли Галич.* — Галич — древнерусский город, столица Галицкого княжества с 1144 г. В XIX в. Входил в состав Австро-Венгрии.

С. 36. *...Пржемышль отдадим.* — В XII–XIV в. — город в составе Галицко-Волынского княжества. Во время Первой мировой войны — австрийская крепость; в сентябре 1914-марте 1915 гг. осаждалась русскими войсками и капитулировала 9 марта 1915 г.

С. 38. *...А как же Франц-Иосиф? — Франц-Иосиф (*1830–1916*)* — император Австрии и король Венгрии с 1848 г. Один их инициаторов Первой мировой войны.

«Дешёвая юмористическая библиотека “Нового Сатирикона”» Выпуск 17 (1914)

Впервые книга вышла в Петрограде в конце 1914 г. В настоящем издании все рассказы и фельетоны из этой книги печатаются впервые после первой публикации.

Суффражистки.

Суффражистки (современное русское написание — суфражистки; от англ. suffrage — избирательное право) — участницы движения за предоставление женщинам избирательных. Движение распространилось во второй половине XIX — начале XX вв. в Великобритании, США и других странах.

С. 42. *Поколотить Асквито!* — Асквит граф Оксфорд и Асквит Герберт Генри (1852–1928), в 1908–1916, лидер либеральной партии. Правительство Асквита способствовало развязыванию Первой мировой войны, подавило Ирландское восстание 1916 г.

Мисс Панкхерст за избиение Асквита арестована. — Имеется в виду лидер британского движения за права женщин — суфражистки Эммелин Панкхерст (1856–1928). В 1999 году журнал «Тайм» включил Панкхерст в число самых выдающихся людей XX в.

Впервые Эммелин Панкхерст была задержана полицией в феврале 1908 года, когда она пыталась ворваться в парламент и подать петицию от протестующих премьер-министру Герберту Асквиту. Ее приговорили к 6 неделям тюремного заключения за оказание препятствий деятельности публичной власти. В июле 1908 г. она умышленно нанесла две пощечины офицеру полиции, чтобы гарантировать себе очередной арест. Всего Эммелин арестовывали шесть раз, пока женщины не добились права участвовать в выборах.

...изрежу картину Веласкеза — «Венера с зеркалом»... — Аверченко описывает реальное событие. Знаменитая картина испанского художника Диего Веласкеса (1599–1660) «Венера с зеркалом» (1647–1651), находившаяся в Лондонской национальной галерее, подверглась нападению суфражистки

Мэри Ричардсон, которая 18 февраля 1914 года разбила стекло, закрывавшее картину, и порезала ее для разделки мяса тесаком в нескольких местах.

С. 45. *Например, тульский губернатор Лопухин.* — Виктор Александровичч Лопухин (1868–1933) — русский государственный деятель, действительный тайный советник. Тульский губернатор в 1912–1914 гг. В эти же годы вел большую общественную деятельность.

... *вскрикнул Марков седьмой.* — В Государственной думе был известен депутат Марков 2-й, отличавшийся своими антиеврейскими речами. Аверченко здесь дает как бы обобщенный образ антисемита, ибо Маркова седьмого ни в Думе, ни в правительстве не было.

Смоленский губернатор Кобеко... разрешает лекцию Шингарева...

Дмитрий Дмитриевич Кобеко (1867–1916), с 1913 г. губернатор Смоленской области, действительный статский советник.

Андрей Иванович Шингарев (1867–1918) — врач, член Союза Освобождения, член ЦК партии кадетов, депутат II и IУ государственных дума, министр земледелия, финансов Временного правительства; был убит в январе 1918 г. в Мариинской больнице (Петроград) в январе 1918 г. вместе с профессором Федором Федоровичем Кокошкиным (1871–1918) матросами-анархистами.

С. 46. *Воронежский губернатор Голиков* — Сергей Иванович Голиков (1866–1929), русский государственный деятель, деятель монархистских организаций. В 1909–1914 — занимал пост Воронежского губернатора, действительный статский советник.

... *заявил... Крупенский.* — Павел Николаевич Крупенский (1863–1939), русский общественный и политический деятель, один из лидеров Всероссийского национального союза, член Государственной думы от Бессарабской губернии.

С. 47. ... *Скажите о Суковкине...*— Николай Иосифович Суковкин (1861–1919) — русский офицер и государственный деятель, сенатор.

... *напомнил Замысловский.* — Георгий Георгиевич Замысловский (1870–1920), надворный советник, политический и общественный деятель, член правой фракции Государс-

твенной Думы третьего и пятого созывов, активный участник правомонархического движения.

С. 48. *Архангельский губернатор С.Д. Бибиков больше занимается географией...* — Сергей Дмитриевмч Бибиков (1912–1917), последний архангельский губернатор в Российской империи, действительный статский советник. С его именем связаны постройка железной дороги, основание порта в Кольском заливе и города Мурманска.

... *Бессарабский губернатор М.Э. Гильхен...*— Михаил Эдуардович Гильхен (1868-?) — российский чиновник, бессарабский губернатор в 1912–1915 гг., действительный статский советник.

Казанский губернатор П.М. Боярский... Петр Михийлович Боярский (1870-после 1917) — русский общественный и государственный деятель, казанский губернатор в Российской империи (1913–1917), действительный статский советник.

... *Могилевский губернатор А.И. Пильц...*— Александр Иванович Пильц — (1870–1944) — русский государственный деятель, могилевский губернатор (1910–1916), в марте 1916 г был назначен иркутским генерал-губернатором; действительный статский советник.

... *Ставропольский губернатор Б.Н. Янушевич...*— Бронислав Мечиславович Янушевич (1861–1916), российский государственный деятель, действительный статский советник, Ставропольский губернатор (1906–1916).

... *Витебский губернатор М.В. Арцимович...*— Михаил Викторович Арцимович (1859–1933), юрист, государственный деятель, действительный статский советник, сенатор, шталмейстер императорского двора, витебский губернатор (1911–1917).

... *недостаточно энергичный борец с «полонизмом».* — Во второй половине XIX в. — начале XX в. в западных губерниях России проявлялись довольно сильные стремления польской части населения к приобретению самостоятельности и ведению собственной политики, которые русская администрация всячески пресекала.

Ярославский губернатор гр. Д.И. Татищев...— Дмитрий Николаевич Татищев (1867–1919), граф, Ярославский губернатор (1909–1915), действительный статский советник, шталмейстер императорского двора.

С. 49. *Прошу о Кассо не говорить...*— Лев Аристидович Кассо (1865–1914) — министр народного просвещения с 1910 г., богатый бессарабский помещик.

Улита едет.

С. 51. ... *делает значки для филаретовского общества?* — Какое именно общество имеется в виду — неясно. В 1820 гг. существовало подобное тайное общество в Виленском университете. Однако сомнительно, что здесь имеется в виду эта организация. Скорее всего подразумевается общество, связанное с именем митрополита Филарета (Дроздова, 1783–1867), в свое время пользовавшегося широким нравственным авторитетом и политическим влиянием; он является автором окончательной редакции манифеста 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права в России.

Русская лента.

С. 56. ... *переспросил Скобелев.* — Матвей Иванович Скобелев (1855–1938) — депутат IV Государственной думы, меньшевик; министр труда Временного правительства; после революции — на хозяйственной работе.

... *встал Чхеидзе.* — Николай Семенович Чхеидзе (1804–1926) — депутат III и IV Госдум, один из лидеров меньшевиков, впоследствии председатель Петросовета (1917), после революции председатель Учредительного собрания Грузии, с 1921 г. — в эмиграции.

С. 58. ... *приезжает градоначальник Сосновский...*— Иван Васильевич Сосновский (1868–?), последний градоначальник Одессы (1911–1917); в январе 1917 г. стал товарищем министра иностранных дел.

С. 60. ... *это будет целая мексиканская война!* — Имеется в виду революция 1910–1917 гг. в Мексике, в результате на смену клерикально-помещичьей диктатуре к власти пришло правительство национальной буржуазии.

С. 61. ... *Не Брандес, а Бейлис.* — Георг Брандес (1842–1927) — датский литературный критик; боролся за правдивость и реализм литературы. Широко был известен в России; оказал влияние на современную европейскую литературу.

Записки театральной крысы (1915)

Книга вышла в Петрограде в 1915 г. и включала лишь незначительную часть рассказов и фельетонов автора, связанных своими сюжетами и темами с искусством и жизнью театра, работой актера, обстановкой околотеатральной среды. Часть рассказов и фельетонов ранее была напечатана в «Сатириконе» и других журналах и сборниках.

Самое большое предприятие.

Впервые — в сб. Театральная пыль. СПб. — Москва, книгоиздательство «Освобождение», 1913 под названием: Постановка — moderne.

С. 66. *Шекспиро-бэконовский вопрос прошел два фазиса.* — Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — английский философ и естествоиспытатель, один из самых образованных людей своего времени. На определенном этапе изучения творчества Шекспира именно Бэкону стали приписывать авторство большинства его пьес на том основании, что малообразованный актер, каковым считали Шекспира, вряд ли мог подняться до столь высокого уровня обобщений, столь глубоких произведений искусства, столь мощных характеров.

Завтра я уезжаю в Стратфорд. — Стратфорд — родина Шекспира.

Актеры.

С. 69. ... *она является... memento mori...*— Memento mori (лат.) напоминание о смерти.

Данные для успеха.

Впервые в сб. Театральная пыль. 1913.

В летних садах.

С. 76. ... *Я в Вилла-Родэ видал...*— Вилла-Родэ — ночной ресторан в дореволюционном Петербурге, с цыганским хором и отдельными кабинетами; хозяином был румын А. Родэ, после революции он стал работать завхозом в Доме ученых.

С. 80. ... *пока оркестр играет ритурнель...*— Ритурнель — небольшой инструментальный отрывок, предшествующий,

заключающий или заполняющий паузу вокального произведения (арии, оратории).

Народный дом.

Впервые: Новый Сатирикон, 1913, № 5. Подпись: Фома Опискин.

Народный дом — огромное увеселительное заведение, открытое в Петербурге в 1913 г. Здесь был большой зал для театрально-эстрадных представлений, большой парк для прогулок и массовых развлечений: игр, танцев на танцевальной веранде, тир, небольшой зоопарк и т.п.

С. 81. *Когда Мифасов и я собрались ехать...* — Мифасов — под этим псевдонимом Аверченко во многих рассказах выводит художника Сатирикона Ре-Ми (Николая Владимировича Васильева, 1887–1975). После революции — в эмиграции, где часто выступал как сценограф, оформлял балеты в театрах Нью-Йорка, Вашингтона, Голливуда.

... к нам пристал художник Крысаков. — Под псевдонимом Крысаков в произведениях Аверченко выведен его соратник по Сатирикону Алексей Александрович Радаков (1879–1942), художник и поэт, редактор первых номеров Сатирикона.

С. 83. *Ни в каком Луна-парке не встретишь...* — Луна-парк — общественный парк с различными увеселениями и развлечениями.

С. 84. *... я думал, что он Нижинский...* — Вацлав Фомич Нижинский (1889/90–1950) — выдающийся русский танцовщик, с 1907 г. — в балетной труппе Мариинского театра, с 1911 г. — ведущий танцовщик в заграничной антрепризе С.П. Дягилева; с 1913 г. выступал также в качестве балетмейстера. В 1917 г. тяжело заболел и навсегда оставил сцену.

«1812 год».

Вариант этой пьесы по рукописи опубликован в т. 8 настоящего издания под названием «Наполеон Бонапарт (Дамское вышивание по бумаге)».

С. 90. *Парафраз.* — Передача иными словами чего-либо.

Наполеон со штабом. Вся его свита: Марат, Дантон, Мей, Бонапарт, Барклай-де-Толли...— Из перечисленных

персонажей к свите Наполеона можно условно причислить лишь его маршала Нея (1769–1815) (драматург у Аверченко называет его Меем). Остальные имена относятся к французской истории (погибли до Наполеона), а Барклай-де-Толли (1761–1818) — русский генерал фельдмаршал и один из героев Отечественной войны против Наполеона.

С. 92. ... *перед ним... выстроились русские полководцы Куропаткин, Каульберг, Гриппенберг, Штакельберг...*— Драматург называет генералов из разных эпох. Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925), генерал от инфантерии; в 1898–1904 г — военный министр. В русско-японскую войну командовал войсками в Манчжурии, потерпел поражение под Ляояном и Мукденом. В Первую мировую войну командовал армией и Северным фронтом (1916); в 1916–1917 гг. — туркестанский генерал губернатор.

В русской военной истории существуют по крайней мере два Каульбарса:

Николай Васильевич Каульбарс (1842–1905) — барон, начальник штаба Финляндского военного округа, генерал русской службы. В 1881–1886 гг. — военный агент в Австро-Венгрии. В качестве начальника штаба 1-й гв. Пех. Дивизии принимал участие в турецкой компании 1877 г.

Александр Васильевич Каульбарс (1844–1925), барон, русский военный деятель и ученый географ, генерал от кавалерии.

Оскар-Фердинанд Гриппенберг (1838–1915), русский генерал от инфантерии, участник Крымской войны.

... *седанский разгром...*— Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. германские войска под командованием генерала Х. Мольтке-старшего окружила и разбила французскую армию маршала П. Мак-Магона, что явилось толчком к падению Второй империи (4 сент. 1870 г.).

Музыка в Петергофе. Концерты придворного оркестра по управлением Г.И. Варлиха.

С. 93. ... *под управлением Г.И. Варлиха.* — Гуго Иванович Варлих (1856–1922) — немецкий и российский дирижер, альтист. Попав во время гастролей в Россию, так

и остался в ней. Жил в Петербурге. Автор обработок для духового оркестра отрывков из балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», оркестровых переложений русских народных песен.

После октябрьской революции 1917 г. из состава бывшего придворного оркестра был создан первый государственный симфонический оркестр, дирижером которого был выбран всеми уважаемый маэстро. С 1919 г. он согласился руководить красноармейскими оркестрами Петрограда.

В интервью корреспонденту газеты «Речь» он говорил: «Я навсегда полюбил русскую музыку и считаю, что лучше всего она должна звучать именно в России».

... Петроний в то время уже умер...— Гай Петроний (ум. в 66 г.н.э.) — римский писатель, автор сатирического романа, посвященного римским нравам «Сатирикон». Название этого романа было взято для сатирического журнала «Сатирикон» (1908–1918).

С. 94. — *Когда играли «Лунную сонату»...*— «Лунная соната» — одна из 32 фортепианных сонат немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770–1827), которая пользовалась большим успехом во время концертных исполнений.

«Смерть Азы» Грига...— Эдвард Григ (1843–1907) — норвежский композитор и пианист, автор многочисленных произведений для скрипки, фортепиано, виолончели.

... под аккомпанемент увертюры к «Тангейзеру»...— «Тангейзер» (1844) — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883), реформатора в области гармонии и оркестровки.

С. 95. *... мне больше нравится вторая часть его «Венгерских песен Брамса»...*— Персонаж Коля несет полнейшую чепуху.. Ясно, что Бетховен не мог написать никаких песен Брамса, хотя бы потому, что немецкий композитор Иоганнес Брамс (1833–1897) родился через шесть лет после смерти Бетховена. К тому же у Брамса были сочинения «Венгерские танцы», а не «Песни».

С. 96. *... под звуки Сибелиуса...* - Ян Сибелиус (1867–1957) — финский композитор, автор многих симфоний, инструментальных пьес и песен. Музыка Сибелиуса широко была известна в России с начала XX в.

Из сборника «Волчьи ямы» (1915)

Сборник впервые вышел в Петрограде в 1915 г. и больше не переиздавался. Некоторые рассказы из этого сборника были напечатаны в Собрании сочинений Арк. Аверченко в 6-ти томах в 2000 г.

В настоящем издании содержимое сборника воспроизводится в полном виде.

Старческое.

Новый Сатирикон, 1914, № 46.

С. 104. *Да что это такое водка?* — В период, когда был написан этот рассказ, в России существовал сухой закон, введенный с началом Первой мировой войны. Он сохранялся до первых послереволюционных месяцев. Сухим законом навеяны темы и других рассказов этого сборника.

С. 108. *Тоже вы скажете — пост.* — Посты — религиозные запреты или ограничения на пищу вообще или на некоторые ее виды. В православии существуют однодневные и многодневные посты. По словам богословов, посты — «действенное средство очищения и обновления человеческой души». Во время поста запрещается совершение таинства брака, участие в каких-либо светских увеселениях.

Спиртная посуда.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914, № 43.

С. 113. *«В немногом многое», как говорил еще Герострат.* — Разумеется, ничего подобного эфесец Герострат (известный лишь тем, что в 356 г. до н.э. сжег храм Артемиды Эфесской) не говорил.

С. 115. *Настоящая, казенная водка.* — Подразумевается водка, выпущенная на государственных заводах с учетом всех требований к качеству. После введения сухого закона появилась поддельная водка, самогон и т.п. подобные подделки.

Рюмочку политуры! — Политура — спиртовый лак, применяемый для полировки дерева. В период сухого закона из-за отсутствия водки начали пить политуру и другие спиртосодержащие вещества: лаки, денатурат, мазь вежеталь, одеколоны — цветочный, тройной.

На большой дороге.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914, № 39.

С. 117. *У меня, в Шенбрунне...*— Шенбрунн — дворец в Вене.

С. 118. ... *для человека с Габсбургской фамилией...*— Габсбурги — династия, правившая в Австрии (1282 г. — герцоги, с 1453 — эрцгерцоги, с 1804 — австрийские императоры). Присоединив в 1526 г. Чехию и Венгрию (где титуловались королями) и другие территории, стали монархами обширного многонационального государства (в 1867–1918 — Австро-Венгрии). Габсбурги были императорами «Священной Римской империи» (постоянно в 1438–1806 гг., кроме 1742–1745, а также королями Испании (1516–1700).

С. 119. *Когда мы у Марны завязали бой...* Марна — река на Севере Франции. 5–12 сентября 1914 г. во время Первой мировой войны англо-французские войска (командующий генерал Ж. Жоффр) остановили наступавшие германские армии (нач. штаба генерал X. Мольтке-младший), а затем вынудили их к отступлению.

Отцы и дети.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 44.

С. 126. ... *появилась на лице султана...* — Имеется в виду султан (правитель) Турции. Мехмед V (1844–1918), 35-й султан Османской империи.

... *вторая на лице Энвера...*— Энвер-паша, (1881–1922) — турецкий госуд. деятель, генерал, один из вождей младотурок, в 1915 г. военный министр, активный участник Первой мировой войны.

С. 127. ... *не футляр, а пушка, эфенди.* — Эфенди (турецк.) — вежливая форма обращения в Турции.

Кандидат в венгерские короли.

С. 129. ... *явилась к венгерскому графу Тиссе...*— Имеется в виду граф Иштван Тиса (Тисса) (1861–1918), в 1903–1905 и 1913–1917 гг. — глава правительства Венгрии; сторонник укрепления военного союза с Германией.

С. 132. ... *он микроцефал.* — Микроцефал — человек с малой величиной черепа и мозга при относительно нормальных размерах других частей тела.

У него череп дегенерата. — Дегенерат — человек с признаками вырождения.

Карьера певицы Дусиной.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 50.

С. 134. ... *под молчание... фраппированной* публики...— Фраппировать (фр.) — изумлять, поражать, удивлять.

С. 135. ... *живет девушка на черной половине*...— Черная половина в избе — людская, где живет дворня.

... *в чудесных туалетах от Пакена* -... Жанна Пакен (1869–1936), французская художница-модельер. Совместно с мужем Исидором Пакеном создала в Париже Дом моды (1891–1956), имевший в первой трети XX века всемирную известность и высочайшую репутацию. Филиалы фирмы существовали в Англии, США, Испании, Аргентине.

Особенно знаменитой стала коллекция Жанны Пакен «Танго» (1914), совершившая переворот в высокой моде.

Язва.

С. 157. *Племянник лорда Китченера*...— Горацио Герберт Китченер (1850–1916) — граф, брит. фельдмаршал (1909); в 1914–1916 гг. военный министр.

Тайна зеленого сундука.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 52.

Из сборника «Осиновый кол на мигилу зеленого змия» (1915)

Сборник рассказов сатириконцев впервые выпущен в Петрограде в 1915 г. как отклик на введение сухого закона во время войны.

Плач на могиле.

С. 168. *Старый казак Дорош*...— далее следует почти дословное цитирование повести Н.В. Гоголя «Вий» до слов «перед каждым шинком».

С. 172. «... *расстаться настало нам время*». — Цитата из «Песни о вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина, строфа 9.

С. 178. *Чего, брат, зажурился?* — Зажуриться (укр.) — опечалиться.

... *помьянемо родителей.* — Помянем (укр.) родителей.

Непонятное.

С. 193. *Открой мне всю правду,*

не бойся меня! — Здесь и далее цитируется (не вполне точно) «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина, в которой в форме старинной песни поэт пересказал древнюю легенду смерти князя Олега в 912 г.

... *Весь Дрюри... риленский театр с ума сойдет.* — Друриленский театр — огромный лондонский театр (вмещает более 4 тыс. зрителей), всемирно известный своими постановками опер, балетов, драматических представлений, концертов.

С. 194. *Пантеона нет в России...* - Пантеон — усыпальница знаменитых людей. Наиболее известны Римский и Парижский. Первоначально Римский Пантеон был посвящен богам.

С. 195. ... *у французов и Золя там, Мопассаны всякие, Гюго, консоме...*— Писатели Эмиль Золя (1840–1902) и Виктор Гюго (1802–1885) действительно похоронены в Парижском пантеоне, Ги де Мопассан (1856–1893) был похоронен в провинции. Консоме (фр.) — крепкий мясной бульон.

Дешёвая юмористическая библиотека "Нового Сатирикона" Пять чемоданов (1915)

Сборник впервые вышел в Петрограде в 1915 г. и с тех пор не переиздавался.

Все рассказы в нашем собрании сочинений печатаются по этому изданию.

Чемоданами в Первую мировую войну называли крупнокалиберные снаряды.

Материалы по истории новой Польши.

С. 215. ... *костюмы времен... Яна Собесского ...*— Ян Собесский (1624–1696) — король и польский герой; в 1673 г.

разбил турок при Хотине, в 1675 — при Львове и в 1678 г. заключил Константинопольский мир. Освободил Вену от турецкой осады в 1683 г.

С. 217. ... *сунешь ему в руки монте-кристо...* — Монте-кристо — мелкокалиберное ружье.

История одного брачного союза.

С. 224. ... *прибор был... крупповский.* — Имеется в виду, что прибор был изготовлен на заводах Круппа, крупнейшего немецкого металлургического и машиностроительного магната XIX–XX вв.

Дешёвая юмористическая библиотека "Нового Сатирикона" Человеки (1915)

Перескокин.

С. 234. *Как говорят итальянцы — меццa воче.* — Mezza voce — итальянский музыкальный термин — пение вполголоса.

С. 238. *...видел вас... на Иматре.* — Иматра — водопад (водоскат) на реке Вуокса в Финляндии (до революции — в Выборгской губернии). Протяженность 1,5 км, высота падения воды 18,4 м. Шум водопада слышен на расстоянии более 10 километров.

Роковой выигрыш.

Позже рассказ вошел в сборник «Рассказы циника». Прага, 1925.

С. 240. *Вниманию... публики будет предложена лотерея-аллегри.* — Лотерея-аллегри, устраиваемая в общественных собраниях, разыгрывалась тотчас при покупке билета.

Май, зеленый месяц май.

С. 248. *Управляющий министерством вн.дел А. Хвостов напечатал в петроградских газетах письмо в редакцию по поводу своей беседы с Савенкой.* — Алексей Николаевич Хвостов (1872–1918) — черносотенец, один из лидеров правых в! У Гос. думе, министр внутренних дел в сент. 1915-марте 1916.

Анатолий Иванович Савенко (род 1874) — помещик, основатель клуба националистов в IV Государственной думе (1908); после революции в эмиграции.

С. 250. — *Парле ву франсе?*

— *Вуй.*

— *Кескесе си?*

— Вы говорите по-французски?

— Да.

— Что бы это значило? (фр.)

Мальчик Казя.

Впоследствии рассказ был напечатан в сборнике «Рассказы циника». Прага, 1925.

С. 252. *Вечер был, сверкали звезды...* приводится цитата из стихотворения Валентина Ивановича Горянского (1887–1949); незаконный сын князя Эдмонда Сулина Грудзинского, он отказался от узаконения и титула отца; носил фамилию Иванов, а псевдоним взял себе Горянский; был активным сотрудником журнала «Сатирикон», «Новый Сатирикон»; после революции эмигрировал: Константинополь, Югославия, с 1926 г. — Париж. Сотрудничал в газете «Возрождение».

А то еще есть слово «сковородить»!... — Сковородить — закреплять бревна друг с другом (в плотницком деле, при строительстве плотов, барок).

С. 255. ... *зачем вам анисовка?* — Анисовка популярный в России сорт яблок; водка, настоянная на анисе, семенах растения из семейства зонтичных (к яблокам не имеет никакого отношения).

... *А вёдро как?* — Вёдро — ясная, солнечная, сухая погода.

Шалуны и ротозеи
(1915)

Сборник вышел в Петрограде в 1915 г. Больше не переиздавался. Некогторые рассказы из него печатались ранее в жрунале «Галчонок». Рассказ «Японская борьба» впоследствии вошел в сборник «Рассказы циника» под заглавием «Джиу-Джитсу», во избежание повторения в нашем издании он не включен в состав более позднего сборника.

Предводитель Лохмачев.

С. 206. *Около Капштадта, в Южной Африке.* — Капштадт — старое название Кейптауна, крупного города и порта в Южно-Африканской Республике.

Был он боэром. — Старое наименование буров, потомков голландских колонистов; их называли также африканерами.

С. 268. *Каррамба!* — Проклятье, испанское ругательство.

Мы... были... в Зоологиш-Гартен. — Зоологиш-Гартен — зоопарк (нем.).

С. 269. *... все племена: сиуксы, шавнии, гуроны и апачи — говорят на одном языке.* — Перечисляются названия различных индейских племен.

С. 274. *... ведут... битвы с гверильясами.* — Гверильясы — испанские ополченцы 1812 г., восставшие против Наполеона.

Синее одеяло.

С. 301. *... есть двенадцатый выпуск Ната Пинкертона...* — В конце XIX — начале XX в. в США и Англии выпускалось множество книжек о похождениях сыщика Ната Пинкертона. Дешевые выпуски пользовались огромным успехом у городских низов. Авторами книжек были неизвестные авторы, но все они стремились наполнять свои сочинения преступлениями, убийствами, кражами и т.д.

С. 302. *... достал «Фантомас, убийца детей»...*— Роман о Фантомасе придумали французские писатели Пьер Сувестр (1874–1914) и Марсель Аллен (род. в 1885). Персонаж неуловимого преступника, воюющего с полицией (комиссар Жюв), настолько пришелся по душе невзыскательной публике, что после первой книги (вышла в 1911 году), последовали многочисленные продолжения и подделки, к которым приложили руку многие писатели (в том числе Леон Доде (1881–1942). Вышли сотни книжонок с зазывающими заглавиями. А уже в середине XX в. было выпущено несколько кинофильмов, где в роли Фантомаса снимался Жан Марэ, а комиссара Жюва играл Луи де Фюнес.

О маленьких — для больших
(1916)

Впервые книга вышла в Петрограде в 1916 г. В нее Аверченко включил большинство напечатанных ранее рассказов о детях. В данном томе не помещен рассказ «Славный ребенок», он был напечатан в 1 т. в составе сборника «Рассказы юмористические».

Книга печатается по изданию 1916 г.

По оценке многочисленных критиков, сборник относится к числу лучших книг писателя.

О детях.

Материал для психологии. — Впервые: Сатирикон, 1912. № 45.

День делового человека. — Впервые: Новый Сатирикон, 1915. № 45.

С. 320. ... *посыльный — «Красная шапка».* — «Красная шапка» — так до революции называли солдат или разжалованных в солдаты.

Грабитель.

Впервые: Дешевая юмористическая библиотека Сатирикона. Вып. 61. 1912.

Вечером.

Впервые: Сатирикон, 1909. № 7.

С. 331. ... *углубился в «Историю Французской революции».* — «История Французской революции» — книга князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921), теоретика анархизма, революционера, путешественника, географа, автора многих исследований по истории, географии, этике, социологии; с 1876 г. находился в эмиграции. Его «История Французской революции» была издана впервые за границей.

... *читаю... о тактике жирандистов.* — Жирондисты во время Французской революции политическая партия (названа так по депутатам от департамента Жиронда), считавшая конституционную монархию необходимым переходом к идеальной республике; их несправедливо обвинили в заговоре, и многие были казнены.

Детвора.

С. 336. *Секрет полишинеля!..* — Полишинель — комическое лицо итальянской кукольной комедии и народных празднеств в Италии. Под выражением «Секрет Полишинеля» подразумевается, что этого секрета не существует, он всем известен.

Ресторан «Венецианский карнавал». — Впервые: О маленьких — для больших. Пг. 1916.

Галочка.

Новый Сатирикон, 1915. № 15.

Страшный мальчик.

Впервые: Новый Сатирикон, 1914. № 51.

С. 359. *... по растрепанной книжке «Родное слово» Ушинского...* — Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870/71) — русский педагог, основоположник научной педагогики в России. Он создал несколько книг для первоначального детского классного чтения, в том числе «Родное слово» (1864), где собраны лучшие образцы произведений русских писателей того времени.

С. 361. *... в поисках ягод шелковицы...* — Шелковица (тутовое дерево; шелковицу на юге России культивировали ради вкусных плодов. Листья шелковицы — основной корм тутового шелкопряда.

... «пустить юшку»...— Пустить юшку — разбить нос до крови.

С. 364. *... идут пить бузу...*— Буза — самодельный напиток из перебродившего винограда, слив и других фруктов.

Рассказ для «Лягушонка».

Впервые: Сатирикон, 1911. № 40.

Красивая женщина.

Впервые: Сатирикон, 1909. № 29.

Человек за ширмой.

Впервые: Сатирикон, 1911. № 50.

Маня мечтает.

Впервые: О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 383. ... *а ты халява моя.* — Халява — многозначное слово, обозначающее и столярный процесс, и пасть, и хайло, и неряху, растрепу, и непотребную женщину, и ленивого, дрянного, неопрятного и т.п. человека.

С. 385. *На мне корсажи из узорчатого светлого шелка, воротник из тонкого линобатиста.* — Корсаж — верхняя часть женского платья от плеч до талии, за исключением рукавов. Линобатист — тонкий льняной батист.

Юбка в три волана, клеш. — Волан — пришивная полоска из легкой ткани или кружев в виде свободно лежащей поперечной складки. Юбка-клеш — вариация юбки-годе из клиньев трапецевидной формы.

Спереди корсажа складки-плиссе. — Плиссе — рубчатая обшивка дамских платьев.

На шее сверкает кулуар. — Очевидно Маня, не понимая значения некоторых слов перепутала кулуар с кулоном.

Застежка... без басонных пуговиц...— Басон — узорчатая тесьма.

Из сборника «Теплая компания (Те, с кем мы воюем)» (1915)

Турция.

Сборник, в который включены произведения сотрудников и авторов Нового Сатирикона, вышел в Петрограде в 1915 г. Больше не переиздавался. Текст печатается по этому изданию.

В сборнике перу Аверченко принадлежит очерк «Турция».

С. 391. ... *жонглируют такими загадочными словами, как вилайет, редиф, низам, Новобазарский (?), Санджак...*— Вилайет (с 1866-ил) — административно-территориальная единица в Турции; редиф — термин поэтики народов Востока; Низам — название турецких регулярных войск, обученных по-европейски; санджак — основная административно-территориальная единица в Османской империи, составная часть вилайета.

С. 393. ... *нарисован толстый человек... с какой-то кишкой в зубах, другой конец которой прикреплен к замысловатому кувшинчику.* — Имеется в виду курительный прибор наргиле, сходный с кальяном, только вместо трубки у него используется длинный рукав.

С. 395. *Впервые свою прыть турки показали тогда, когда еще их называли не турками, а сельджуками.* — Сельджуки — ветвь племен турок-огузов, названных по имени их предводителя Сельджука в X — начале XI вв. В 40-х — начале 80-х XI в. завоевали часть Средней Азии, большую часть Ирана, Азербайджана, Курдистана, Ирак, Армению, Малую Азию, Грузию и некоторые другие территории.

Наибольшего могущества достигли при Мелик-шахе (конец XI в.).

Впоследствии стали распадаться на отдельные султанаты. Часть территории у них завоевали крестоносцы.

Первым и самым знаменитым полководцем-победителем был Отман или Осман. — Султан Осман I стал основателем Османской династии турецких султанов, которая просуществовала более пятисот лет — с 1300 по 1922 гг. В результате турецких завоеваний в Азии, Африке, Европе весь балканский полуостров, Месопотамия, территории на Севере Африки оказались под властью турок, образовав Османскую (или Оттоманскую) империю, которая распалась после поражения в Первой мировой войне.

С. 396. ... *сочинил войско-янычар.* — Янычары — турецкая регулярная пехота, созданная в XIV в. Первоначально комплектовалась из пленных юношей, позже путем насильственного набора мальчиков из христианского населения Османской империи. Ликвидирована в 1826 г. Махмудом II.

О... Баязете историк говорит...— Баязет (правильно: Баязид I) Молниеносный (1360–1403), турецкий султан в 1389–1402; завоевал обширные территории на Балканах и в Малой Азии; был разбит и взят в плен Тимуром (1336–1405), среднеазиатским полководцем и эмиром.

С. 397. ... *Селим I был юношей с богатыми задатками...*— Селим I (1470–1520) — турецкий султан с 1512, завоевал Восточную Анатолию, Армению, Курдистан, Северный Ирак, Сирию, Палестину, Египет, Хиджаз.

С. 399. ... *какой-то Патрон-Халил...* — Патрон-Халил, предводитель городских низов Стамбула, которые в сент. — ноябре 1730 г. свергли султана Ахмеда III.

С. 400. ... *принцип «патронов не жалеть»...*— Петербургский генерал-губернатор Дмитрий Федорович Трепов (1855–1936) 14 октября 1905 г. в предвестии массовых беспорядков издал распоряжение, в котором говорилось, что в случае сопротивления толпы «холостых залпов не давать и патронов не жалеть».

С. 401. *Абдул-Гамид II, ни более, ни менее.* — Абдул-Гамид (Хамид) II (1842–1918) — турецкий султан 1876–1909 гг.; установил деспотический режим. Турция при нем превратилась в полуколонию империалистических держав. После Младотурецкой революции 1908 г. султан был низложен.

С. 403. ... *до новой ослиной встречи (Элизе Реклю).* — Жан Жак Элизе Реклю (1830–1905) — французский географ, социалист. Издал труд «Земля и люди» в 19 томах (1876–1894), в котором попытался дать общую картину развития человечества и описание страны.

... *так велит шириат.* — Шариат — свод норм мусульманского права, морали, религиозных предписаний и ритуалов, призванный охватить мусульмана от колыбели до могилы. Действует в Иране, Афганистане, в Чечне и т.п.

С. 411. *Если не считать резни армян...* — Существует несколько различных версий причин турецкой резни армян. По одной из них в 1893–1896 гг. турецким султаном была спровоцирована резня армянского населения, в результате которой погибло от 100 до 200 тысяч армян. Согласно другой версии в сентябре 1918 г. турки, заняв Баку, организовали резню армянского населения, уничтожив более 30 тыс. человек.

С. 415. ... *турку обещали в раю семьдесят семь гурий ...*— Гурии — черноокие девы, услаждающие, согласно Корану, праведников в раю.

... *покойника кладут головой к Мекке...* — Мекка — священный город мусульман, родина основателя ислама Мухаммеда.

... *все окружают имама...* — Имам — глава общины мусульман-шиитов; почетное звание религиозных деятелей.

Из книги «Письмовник “Нового Сатирикона”» (1915)

Книга вышла в Петрограде в 1915 г. В нее вошли очерки, написанные сотрудниками и авторами «Нового Сатирикона» Аркадием Буховым, Евгением Венским, Евграфом Дольским и Георгием Ландау.

Сборник заключила научная статья Аркадия Аверченко «О письмовниках вообще».

Эта статья и помещается в нашем издании.

О письмовниках вообще.

Очерк, заключающий книгу, написанный Аверченко.

С. 425. *... как Ливингстон...* — Давид Ливингстон (1813–1873) — английский исследователь Африки. Совершил ряд длительных путешествий по южной и Центральной Африке. Открыл озеро Виктория, исследовал озеро Танганьика, исследовал бассейн реки Замбези.

С. 428. *Письмовник в издании Н.И. Холмушина...* — А. Аверченко цитирует вышедший в 1906 г. в Петербурге в издательстве А.А. и Н.И. Холмушиных «Полный любовный письмовник для молодых людей всех возрастов, желающих одержать победу над женским сердцем».

С. 430. *Любви все возрасты покорны* — Цитата из «Евгения Онегина» (1832) А.С. Пушкина, гл. 8, строфа 29.

С. 434. *Писал же один из героев Брет-Гарта...*— Френсис Брет Гарт (1836–1902) — американский писатель, автор многочисленных новелл о жизни золотоискателей, прозаических пародий, стихов.

С. 435. *... журфикс... не может состояться.* — Журфикс — прием гостей в установленный день недели.

... приглашение на файф-о-клок ти...— Файф-о-клок ти — пятичасовой чай (англ.), имеется в виду английский обычай пить чай в пять часов дня.

Из книги «Физиология и анатомия человека» (1916)

Книга вышла в Петрограде в 1916 году. Печатается по этому изданию.

Состав авторов примерно такой же, как и в книге «Самоновейший письмовник». Аверченко в своем «Общем заключении» подробно об этом говорит.

С. 443. *Сказано: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...* — Цитируются слова Годунова из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1831) (сцена «Царские палаты»).



Содержание

«Дешёвая юмористическая библиотека "Нового Сатирикона"» Свинцовые сухари (1914)

Восточная политика 5
Румынская музыка 11
Редкое отличие 15
«Специалисты» 18
Конец 23
Пуговица 27
Стратегический план 32

«Дешёвая юмористическая библиотека "Нового Сатирикона"» Выпуск 17 (1914)

Суффражистки 41
За кофеем (*Воспоминания салопницы*) 45
Улита едет (Новые, еще нигде ненапечатанные, отрывки из произведений Гоголя) 51
«Русская лента» 55

Записки театральной крысы
(1915)

Самое большое предприятие 65
Актеры 69
Данные для успеха 72
В летних садах 76
Народный дом 81
Чемпионат борьбы (*Очерк*) 85
«1812 год». Пьеса Аркадия Аверченко 89
Музыка в Петергофе. Концерты придворного оркестра под управлением Г.И. Варлиха 93

Волчьи ямы
(1915)

Специалист по военному делу (*Из жизни малой прессы*) 99
Старческое 103
Корни в земле 107
Спиртная посуда 113
На большой дороге (*Вариант «Леса» А.Н. Островского*) 116
Ужасы войны 120
Отцы и дети 125
Кандидат в венгерские короли 129
Карьера певицы Дусиной 133
Булавка против носорога 139
Счастье солдата Михеева 145
Язва 154
Тайна зеленого сундука (*Рождественский рассказ*) 159

Из сборника «Осиновый кол на могилу зеленого змия»
(1915)

I. Плач на могиле 167
II. Барельеф на могиле 173
Сухой праздник (*Неорождественский рассказ*) 180
Гипнотизм (*Очерк*) 187
Непонятное 192

Дешёвая юмористическая библиотека "Нового Сатирикона" Пять чемоданов (1915)

Сила убеждения ... 201
Материалы к истории новой Польши ... 209
Куклы (*Рождественский рассказ*) ... 213
История одного брачного союза ... 218
В холодной постели ... 225

Дешёвая юмористическая библиотека "Нового Сатирикона" Человеки (1915)

Перескокин ... 233
Роковой выигрыш ... 240
Май, зеленый месяц май! ... 248
Мальчик Казя ... 252

Шалуны и ротозеи (1915)

Предводитель Лохмачев ... 263
Индейская хитрость ... 272
Преступление Голубого Шакала ... 276
Японская борьба ... 280
Деловой мальчик ... 286
Сережкин рубль ... 293
Синее одеяло ... 301

О маленьких — для больших (1916)

От автора ... 311
О детях (*Материалы для психологии*) ... 312
День делового человека ... 314
Грабитель ... 321

Вечером 331
Детвора 334
Блины Доди 338
Ресторан «Венецианский Карнавал» 343
Галочка 355
Страшный мальчик 359
Рассказ для «Лягушонка» 367
Красивая женщина 372
Человек за ширмой 376
Маня мечтает 382

Из сборника «Теплая компания (Те, с кем мы воюем)» (1915)

Турция 391

Из книги «Письмовник “Нового Сатирикона”» (1915)

О письмовниках вообще 421

Из книги «Физиология и анатомия человека» (1916)

Общее заключение (*Благожелательная критика настоящей книги*) 439
Заключение 439
Человек. Его анатомия и физиология. Соч. Аркадия Аверченко 445

Комментарии 447

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
Собрание сочинений

Том 6

О МАЛЕНЬКИХ – ДЛЯ БОЛЬШИХ

Редактор Е.Б. Егорова
Художественный редактор И.А. Шиляев
Технический редактор Т.В. Иванникова

Подписано в печать 20.11.2013.
Гарнитура «Petersburg». Формат 84×108 1/32
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2.
Тираж 1000 экз. Заказ № ВЗК-06913-13.

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. 8(985)995-79-70
E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru
E-mail: order@gipp.kirov.ru

ISBN 978-5-904962-31-9

